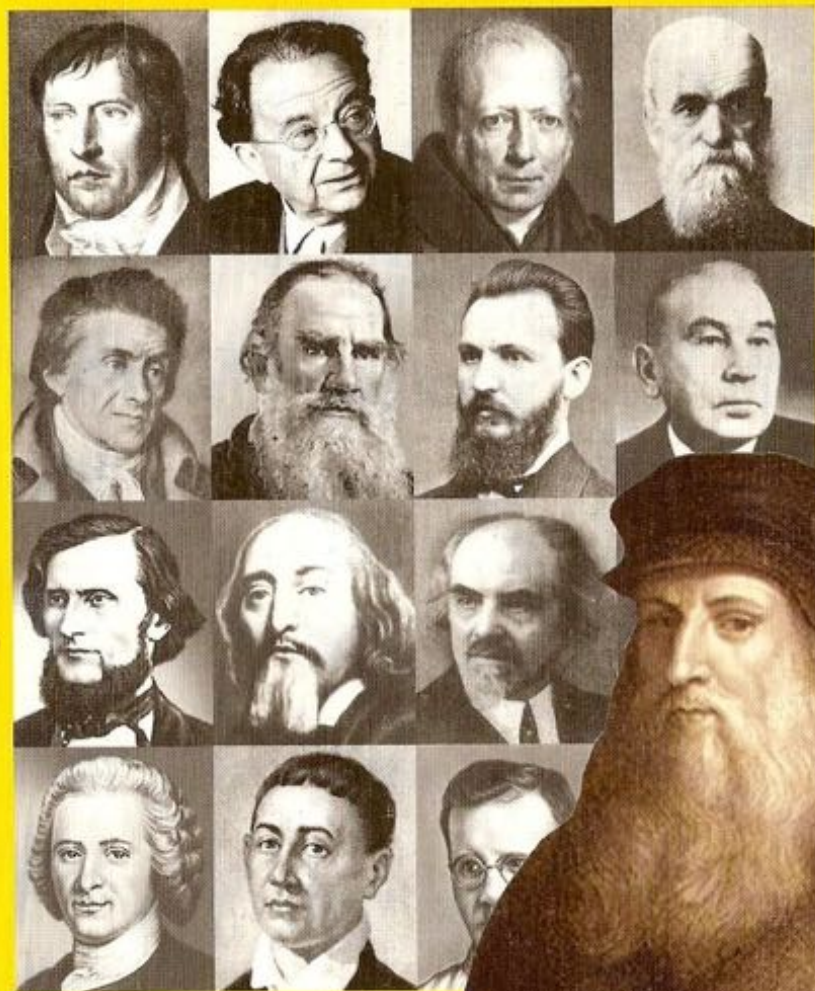


АНТОЛОГИЯ
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Амонашвили Ш.А. - глава Издательского Дома

Асмолов А.Г.

Бордовский Г.А.

Дарчия М.Д.

Загвязинский В.И.

Зуев Д.Д. - главный редактор

Кезина Л.П.

Матросов В.Л.

Неменский Б.М.

Никандров Н.Д.

Ниорадзе В.Г.

Петровский А.В.

Рябов В.В.

Сартания В.Ш.



**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ**

МОСКВА

СОСТАВИТЕЛИ И
АВТОРЫ ПРЕДИСЛОВИЯ

ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ



**Фомина
Наталья
Николаевна**
доктор педагогических
наук член-корр Р.А.О.



**Мелик-Пашаев
Александр
Александрович**
Доктор
психологических наук,
Главный редактор
журнала
"Искусство в школе"



**Бирич
Инна
Алексеевна**
кандидат философских
наук, доцент,
зав. лаборатории МГПУ
г.Москва

АНТОЛОГИЯ
ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
ШАЛВЫ АМОНАШВИЛИ
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

МОСКВА
2005

ББК 74. 03(2)
Л 472

Федеральная целевая программа
“Культура России”
(подпрограмма “Поддержки
полиграфии и книгоиздания России”)

Леонардо. — М.: Издательский Дом Шалвы Амонашвили,
2005. — С. 224 (Антология гуманной педагогики).
ISBN 5-89147-051-9

В томе представлены труды гуманистов, великих мастеров и педагогов итальянского Возрождения. Впервые собраны вместе статьи и книги, принадлежащие разным представителям итальянской культуры XV—XVI веков: философу Пико делла Мирандола и епископу Э.С.Пикколомини, знаменитому архитектору Л.Б.Альберти и гениальному ученому-живописцу Леонардо да Винчи, монаху-философу Т.Кампанелле. Они воссоздают общую атмосферу эпохи, направленную на воспитание творческого человека, свободного в проявлении своих талантов и готового к служению красоте и отечеству.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ: ГУМАНИСТЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА — ТВОРЦА

«Тогда согласился Бог с тем, что человек — творение неопределенного образа, и, поставив его в центре мира, сказал: «Я не сделал тебя, о Адам, ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие, божественные!»

Дж. Пико дела Мирандола

Эпоха позднего европейского средневековья (XIV—XVI вв.), прошедшая под знаком гуманистических идей Возрождения, по-разному оценивается в разных мировоззренческих системах. Диалектический и исторический материализм (Л.Фейербах и К.Маркс), с его интересом к развитию социальных систем, видел в ней свои методологические корни. Современная история науки свое начало также выводит отсюда (Г.Галилей, Н.Коперник, Дж.Бруно). С этой точки зрения исторический потенциал эпохи Возрождения оценивается очень высоко. А вот в русской религиозно-философской традиции считалось, что именно с эпохи Возрождения началось очень быстрое обмирщение европейской культуры, приведшее ее к феномену масскультуры и дегуманизации искусства в середине XX века. С данной точки зрения, эпоха Возрождения — это начало конца Европы. Эта идея, кстати, была поддержана и европейскими философами (Г.Шпенглер, Тойнби). Примирить эти точки зрения невозможно, но... очень нужно разобраться в этой исторической загадке, так как мы в России переживаем сейчас нечто сходное с концом средневековья.

У истории нет сослагательного наклонения, но есть наличие объективных фактов. На них надо взглянуть непредвзято, что мы и попытаемся сделать.

Движение гуманизма в эпоху Возрождения возникло как следствие перемен в средневековом мировоззрении. В противо-

положность учению католической церкви о том, что человек в земной жизни по причине своей греховности никогда не сможет достичь божественного идеала и потому в деле своего спасения должен уповать только на церковь, новое мировоззрение, как это было и в раннем христианстве, возвращало в центр мироздания человека (*homo*), сотворенного Богом по Его образу и подобию. Но теперь этот человек добровольно брал на себя ответственность перед Богом за свою судьбу. Человек рассматривался как деятельная, целеустремленная личность, своим трудом, умом и энергией способная реализовать творческий потенциал, заложенный в ней Творцом, реализовать потребность в постижении тайн мироздания, созданного тем же Творцом.

Эпоха Возрождения (она же — эпоха географических открытий) вывела на историческую арену активную личность, широко образованного человека, оставила уникальное философское наследие, никогда более не повторявшееся. В нем человек был провозглашен главной пружиной истории и загадкой на земле; подчеркивалась его способность творить, то есть находиться в гармонии с природой, сообществом себе подобных, с небесным высшим идеалом — Богом. Лучшие умы Европы разрабатывали новые направления воспитания и обучения, стремясь раскрыть в человеке все лучшее. В философско-педагогической мысли в обновленном виде появился идеал образованной, духовно и физически развитой личности, которому должны были соответствовать иные политическая система, социально-экономическое пространство. Но самое главное — в центре интереса педагогики, наконец, появился ребенок.

Смелыми для своего времени были предложения испанского мыслителя, философа, теолога, основателя каталонской литературы, поэта-лирика Раймонда Луллия (1235—1316). Будучи миссионером в Северной Африке, он проповедовал религиозное учение на каталонском и арабском языках. Им написано около 300 работ. Касаясь вопросов образования и воспитания, Луллий считал, что начинать обучение надо на родном языке (в ту эпоху латынь была альфой и омегой обучения), поскольку он более доступен и понятен ребенку, следовательно, знания закреплялись бы значительно быстрее и эффективнее. Отдавая должное арабо-мусульманской системе образования, он считал, что следует приучать ребенка к труду, с детства прививать навыки той или иной профессии («я нахожу весьма привлекательным обычаем мусульман учить детей профессии»).

Гуманизм эпохи Возрождения зародился в Италии совсем не случайно. На берегах Средиземного моря в те века сошлись три культуры и три религиозные системы: европейская (на основе западного и восточного христианства), арабская (на основе ислама) и ставшая посредником между ними античная (на основе метафизики Платона и Аристотеля). Отсюда совершенно особое отношение гуманистов Франческо Петрарки, Марсилио Фичино,

Джованни Пико дела Мирандола к религии, не имеющее аналогов в истории. Они писали и учили о Едином Творце мира. Его личное имя у разных народов звучало по-разному, но одинаковым у всех было чувство любви к Творцу, выражаемое в поклонении идеальной красоте — природы, человека, ребенка, нравственной жизни, мудрости, общественного устройства. Именно здесь, считали они, была точка схождения всех религиозных систем.

Образованность стала насущным требованием времени. Это было тесно связано с интенсивным развитием искусства, литературы, научных знаний. После Великих географических открытий XV—XVI веков мир стал для европейца более широким и многоцветным. Распространению новой культуры и образованности способствовало изобретенное в середине XV века книгопечатание. Идеейные представители Возрождения, являясь сами мастерами искусства, эталонами мудрости, учености, нравственности, духовности, стремились и в своей повседневной жизни приблизиться к идеалу.

Гуманисты, стремясь подражать народам Греции и Рима античной эпохи, называли свое время Возрождением (Ренессанс), т.е. восстановлением античной традиции. Это выявилося в громадном интересе к филологии и философии как особым видам мирозерцания, универсальная методология которых многих тогда поразила. С параллельного изучения и переводов древних текстов началась история гуманитарных наук. В греко-римской культуре гуманистов привлекали свобода, выразительность и красота эллино-римской литературы и искусства, а также отражение всего лучшего, что было в человеке и природе. В классическом наследии античности они стремились черпать то, что было утеряно в образовании человека в средневековье, — традицию воспитания физически и эстетически развитого человека, способного на самостоятельные и полезные обществу действия. Влияние античной культуры было столь велико, что Флоренция в XV веке становится «столицей» гуманизма благодаря созданию в этом городе Марсилио Фичино (1433—1499) платоновской Академии, просуществовавшей более 10 лет.

Оригинальная философия гуманизма эпохи Возрождения смогла остаться в истории европейской культуры только потому, что была реализована в жизни целой плеяды гениальных мастеров и мыслителей, продемонстрировавших миру творческую мощь универсальной личности, проявивших себя в искусстве, прежде всего в живописи и литературе. Их философия жизни выражалась в стремлении достичь гармонии в духовном, умственном и физическом развитии свободного человека, приносящего пользу обществу. Под духовным, несомненно, подразумевались эстетическое развитие, особая восприимчивость человеком красоты, тяга к таинственному переживанию гармонии

мира, божественное происхождение которой утверждалось во всех религиях.

Эстетическое чувство в прежние эпохи всегда шло рука об руку с чувством религиозным, соединенное в храмовом искусстве, но в эпоху Возрождения оно выплеснулось за стены церкви и стало носить универсальный религиозный характер, одухотворяя профессиональное искусство и придавая эстетический характер самой философии гуманизма. Так Разум (Логос) платоновского Космоса и Божественный Педагог Климента Александрийского трансформировались в педагогическую силу искусства и философии, а Мастер, имеющий много учеников в конкретной области деятельности, — в посредника между Богом и людьми.

В Италии на протяжении XV века появляются трактаты о воспитании, написанные педагогами-гуманистами: Паоло Верджерио — «О благородных нравах и свободных занятиях», Маттео Веллио — «О воспитании детей и их добрых нравах», Джанноццо Манетти — «О свободном воспитании», Леонардо Бруни Аретино — «О научных и литературных занятиях», Баттисто Гуарини — «О порядке обучения и изучения», Энео Сильвио Пикколомини — «Трактат о свободном воспитании», Леона Баттиста Альберти — «О семье» и др.

Интересный опыт воспитания предпринял известный гуманист Витторино да Фельтре (1378—1446). В 1423 году он приезжает в Мантую по приглашению маркиза Франческо Гонзаго, где в загородном доме, получившем название «Радостный дом», на практике проверяет педагогические представления итальянских гуманистов.

Система образования Витторино строилась на преподавании так называемых «свободных дисциплин». Обучая своих воспитанников грамматике, поэзии или музыке, Витторино считал, что поэзия и риторика должны воспитывать в учениках способность самостоятельно и хорошо говорить, музыка — чувствовать музыкальную гармонию, гимнастика должна научить гармонии и грации движений. В системе воспитания Витторино получили отражение представления об идеале гармоничного и всесторонне образованного человека. Система обучения базировалась на принципе одновременного и равномерного развития ума, тела и духа. В мантуанской школе, наряду с изучением древних языков, истории, грамматики и математики, большое внимание уделялось занятиям на открытом воздухе, физическим упражнениям — борьбе, бегу, плаванию, игре в мяч, стрельбе из лука. Занятия были продиктованы практическими потребностями, необходимостью воспитания у будущих государственных и общественных деятелей навыков к войне. Но вместе с тем Витторино видел в этих занятиях и средство развития грации и гармонии, способности легко и свободно владеть своим телом. (Текстов Витторино да Фельтре не сохрани-

лось, зато его благодарные ученики и современники оставили прекрасные воспоминания о своем учителе, которые читатель найдет в этом томе.)

В трактате «О благородных нравах и свободных занятиях» падуанский педагог Пьетро Паоло Верджерио (1370—1444) содержится объяснение понятия «свободные занятия» и раскрывается их воспитательный смысл. Это понятие очень важно для выяснения характера педагогических теорий Ренессанса. Во многом оно идет от Аристотеля, который, возражая против профессиональных занятий музыкой, говорил, что цель музыки содержится в ней самой. И потому музыкой нужно заниматься не ради денег или чего-то внешнего, а исключительно ради нее самой. Аналогичную мысль развивает и Верджерио, утверждая, что «свободные занятия» свободны от пользы. Они не дают никакой непосредственной выгоды, но зато приносят человеку наслаждение. Свободные науки, говорил Верджерио, рождают в душах людей удивительное наслаждение и со временем приносят обильные плоды.

Эта мысль чрезвычайно характерна для эпохи. Писатели Возрождения верят в то, что «свободные науки» обладают большой воспитывающей силой. Марсилио Фичино пишет о значении истории в образовании: «История необходима нам не только для услаждения, но и для того, чтобы понять моральный смысл жизни. Посредством изучения истории то, что само по себе смертно, становится бессмертным, то, что отсутствует, становится явным; все древнее омолаживается, и юноша приобретает такую же зрелость, что и старик. Если семидесятилетний старец считается мудрым благодаря его огромному опыту жизни, то как мудр тот, чья жизнь охватывает тысячу или тысячи лет! Действительно, можно сказать, что человек прожил столько тысячелетий, сколько он охватил посредством своего знания истории» (см.: «Мастера искусства об искусстве»).

Идеи, высказываемые в трактате Верджерио, получают развитие в сочинениях других итальянских гуманистов. Трактат Леонардо Бруни Аретино (1374—1444) «О научных и литературных занятиях» посвящен вопросам образования и воспитания женщин. Аретино стремится раскрыть эстетическое значение занятий «свободными науками». Говоря о пользе грамматики, Аретино пишет, что наука эта открывает не только правила и законы языка, но и «всю красоту и изящество речи. Благодаря ей мы познаем многое из того, чему едва ли могли бы научиться у наставника: звук, изящество, гармонию, красоту». Эстетический подход к вопросам воспитания проявляется у Аретино и в отборе писателей, рекомендуемых для чтения. Он с сомнением говорит о пользе религиозных авторов и считает, что женщина должна довольствоваться священными книгами и приобщаться к светским знаниям. Являясь горячим поклонником античной литературы, Аретино включает в список

рекомендаций сочинения античных историков, философов, ораторов и поэтов.

Энео Сильвио Пикколомини (1405—1464) — писатель и гуманист раннего Возрождения привнес проблему индивидуального развития в воспитание детей. Им был написан трактат «О воспитании детей». «Природа, обучение и опыт — вот три источника всякого воспитания. Однако же дух и тело, эти две стихии, образующие человека, должны развиваться одновременно», — писал он.

Педагогические идеи вызревали в его деятельности параллельно с литературным творчеством, которому были свойственны самоанализ и рефлексия. Он внес много нового в развитие такого литературного жанра, как автобиография. В своих «Комментариях» он, отмечая малейшие колебания своих настроений, стремился познать самого себя, продолжая, таким образом, процесс «открытия мира и человека», начатый Петраркой.

В сочинениях гуманистов идеал гармонической личности находил воплощение в образе представителя «верхнего» общественного слоя — дворянина, придворного, пришедшего на смену средневековому рыцарю. Трактат известного итальянского писателя Бальдассаре Кастильоне (1478—1529) «О придворном» написан в эпоху наиболее интенсивного расцвета духовной и общественной жизни Ренессанса. В форме живого диалога в нем обсуждается вопрос о том, каким должен быть «совершенный» придворный, каковы должны быть его манеры, одежда, поведение, походка, занятия. Настоящий придворный должен владеть многими умениями: ездить верхом, сражаться на шпагах, владеть разного рода оружием, хорошо говорить, танцевать, играть на музыкальных инструментах, обладать познаниями в области наук и искусств.

Но наиболее значительной особенностью, отличающей настоящего придворного, Кастильоне считал грацию. По его мнению, все поступки, все поведение, все манеры придворного должны быть грациозными. Грация же — это все то в поведении человека, что производится легко, свободно, естественно, без каких-либо затруднений. На вопрос, в чем проявляется грация, Кастильоне дает следующий ответ: «... Универсальное правило, которое... относится ко всем областям человеческой деятельности: нужно избегать, насколько это возможно, как самого большого порока, неестественности или, говоря иначе, надо совершать все дела непринужденно, без какой-либо искусственности, так, будто это не представляет никакого труда и об этом не стоит даже думать. В этом, я полагаю, и заключается основной секрет грации, потому что когда трудное действие совершается с неожиданной легкостью, это вызывает всеобщее восхищение, и наоборот, видимое усилие... вызывает неприятное впечатление и уменьшает значение совершаемого действия» (см.: «Идеи эстетического воспитания»).

Писатели эпохи Возрождения уделяют много внимания воспитанию художника. Они требуют от него всестороннего образования. Предшественник Леонардо, известный архитектор и художник Альберти (1404—1472), излагая свое учение о живописи, писал, что живописец должен быть «как можно больше сведущ во всех свободных искусствах, но прежде всего... изучить геометрию». Леонардо просто повторяет этот принцип, когда говорит: «Пусть не читает меня в моих основаниях тот, кто не знает математики». Живопись выступает у него как «наука живописи», стоящая выше всех других видов искусства и наук. Даже музыку, которая в средние века рассматривалась, прежде всего, как наука о звуках и числовых отношениях и допускалась в сонм «свободных искусств» наряду с математикой, арифметикой и астрономией, Леонардо ставит ниже живописи, называя ее всего лишь «младшей сестрой» живописи.

Системы художественного образования, обучения художника искусству строятся на всестороннем усвоении художником целого ряда научных дисциплин. По мнению Боккаччо, настоящий поэт должен владеть грамматикой, быть знаком с историей, археологией. Великий скульптор раннего Возрождения Гиберти считал, что художник должен быть образованным в геометрии, истории, латыни, оптике, черчении, философии, музыке, праве, медицине, астрономии, арифметике. У Альберти сформулировано требование разумного ограничения в образовании художника: «Я не поверю тем, кто говорит, что архитектору подобает быть доктором прав; и меня не интересует, чтобы он был законченным астрономом; далее, я не считаю необходимым, чтобы он был музыкантом; также мало меня беспокоит, будет ли он оратором, так как мысль, знание, разум и прилежание будут для него достаточны, чтобы выразить словами то, что свойственно предмету».

В трактате «О семье» Альберти убедительно показал, что основа образования и воспитания любого гражданина страны закладывается в детстве. Рассуждая о системе образования детей, Альберти говорит о пользе изучения математики, астрономии, географии. Но главную роль в воспитании он отводит все-таки искусству. Альберти много пишет о воспитательном значении музыки, уделяет много внимания играм детей.

От эпохи Возрождения сохранилось огромное количество достоверных фактов, свидетельствующих о поощрении художественного творчества детей и подростков с самого раннего возраста. Можно вспомнить скульптурные, живописные и графические изображения детей и подростков за творческими занятиями, за приобщением к искусству и в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства Египта, Древней Греции и Древнего Рима. Но особо многочисленны изображения детей и подростков — поющих, музицирующих, рисующих, читающих, представляющих сценические образы, оставило ис-

куство, начиная с эпохи Возрождения, когда расширились границы детства, определилась новая роль ребенка в семье, формировалось уважение к его самостоятельным занятиям искусством.

Яркой иллюстрацией этих процессов является портрет мальчика с рисунком работы Д.Ф.Карото (ок. 1480—1546). Исследователи считают его новаторским для своего времени, отмечая, что он выполнен без всякого намека на символизм, аллегоррию или религиозный смысл. И далее: «В картине отсутствует какой-либо скрытый смысл. Зритель будет совершенно прав, рассматривая ее просто как портрет, не пытаясь прочесть некий подтекст, так как его просто нет... Мальчик с распущенными рыжими волосами, изображенный без всякого намека на принадлежность к какому-либо старинному роду, возможно, сын художника, а может, это ретроспективный портрет самого Карото? Взволнованный и довольный, он демонстрирует нам собственный рисунок. А может быть, это шутовское соревнование? Предполагается, что мальчик соревнуется с портретистом. И кто же вышел победителем? Ну, конечно же, мальчик; к такому заключению нас приводят его широко открытые лукавые глаза. Темой портрета стало стремление творить и творчеством своим доставлять радость» (см.: «Искусство итальянского Ренессанса»).

На портрете ребенок изображен в возрасте 10—14 лет, когда в Италии начиналось обучение «грамотному рисунку» с целью познания природы. Художник же увековечил на картине «спонтанный», условно-схематический рисунок: его не смутила наивно-детская форма изображения человека. В определенной степени Карото предвосхитил педагогические взгляды Яна Амоса Коменского (1592—1670), исходившего из принципа: «Человек есть самое высшее, самое совершенное и превосходное творение». А потому его развитие должно совершаться естественным путем.

От эпохи Возрождения сохранились созданные в отрочестве и юности произведения великих мастеров (Микеланджело и Дюрера, например), которые совершенно невозможно причислить к разряду не только «детского рисунка», но даже ученических работ. Таковы рельеф «Мадонна у лестницы» Микеланджело, изваянный в мраморе в 15 лет, «Автопортрет» и «Портрет матери» Дюрера — рисунки, исполненные им в 12—13 лет. Подлинные произведения искусства, созданные подростками в эпоху Возрождения, раскрывают границы художественных возможностей развивающейся личности: от детского рисования до самостоятельного творческого видения, обогащающего культуру своего времени. В эпоху Возрождения раскрылся широкий диапазон творческих и духовных возможностей человека в детстве и отрочестве. Естественно думать, что эстетическому воспитанию и художественному образованию способствовали получавшие распространение педагогические идеи гуманистов.

Исключительно велико значение Альберти как первого теоретика нового итальянского искусства. Прекрасное знание ан-

тичных источников, и прежде всего Витрувия, изучение древних построек и собственный опыт были использованы им в сочинении «Десять книг о зодчестве» (1452). Результатом общения с живописцами и скульпторами явились «Три книги о живописи» (1435) и небольшой трактат «О статуе» (1464), в котором излагается система математических пропорций человеческого тела.

Многие свои сочинения Альберти посвятил основоположникам раннего Возрождения — Брунеллески, Донателло, Гиберти, Лука делла Роббиа. Влияние «Трех книг о живописи», по мнению исследователей, проходит через все XV столетие и прямо ведет к гигантскому замыслу Леонардо. В органической взаимосвязи формируются теория и практика живописи Возрождения: теория предполагает практику и существует для нее.

Одной из ведущих проблем, на протяжении нескольких поколений являвшейся темой обсуждения среди художников и гуманистов, был статус художника, его место в обществе. Дело в том, что на протяжении нескольких столетий скульпторы и живописцы, а также архитекторы находились в цеховой зависимости от ремесленников и каменщиков, а данные виды искусства относились к «механическим», связанным с ручным трудом. Такое отношение определялось сложившейся традицией образования, которое ограничивалось обучением у конкретного мастера. Опыт, уровень интеллектуального развития учителя, к которому начинающий художник поступал в качестве подмастерья, определял, как правило, перспективу развития ученика, проходившего все стадии освоения, прежде всего, ремесленной стороны искусства. В эпоху средневековья в редких случаях сохранялось имя мастера — создателя произведения.

Идеалы эпохи Возрождения обусловили новый уровень требований к художникам. Претворение и переосмысление в творчестве античного наследия было возможно в результате освоения латыни и греческого, философии, литературы, мифологии, искусства великих предшественников. Художники Возрождения изучали античные произведения, открывавшиеся в процессе раскопок. Рафаэль руководил ими в Риме. Другой школой мастерства провозглашалось изучение природы, что требовало знания анатомии, ботаники, астрономии, геометрии и других «свободных наук». В своих литературных сочинениях художники (от Ченнино Ченнини, Альберти до Леонардо) утверждали необходимость огромной аналитической работы, которая предшествует определению замысла произведения искусства. Раскрывались интеллектуальная ценность труда художника, его творческий потенциал, ценность индивидуального видения.

Знаменитая «Книга об искусстве» (конец XIV в.), написанная тосканским художником Ченнино Ченнини (род. ок. 1370 г.), замечательна не столько собранными в ней предписаниями обо всем многообразии техник живописи, сколько заявленным в ней историческим подходом к изучению искусства. Он отмеже-

вался от вневременного и анонимного понимания творчества, заявляя: «Нет ничего, кроме пользы, в том, чтобы ты создал твою собственную манеру». Ченнини резюмирует свои эстетические воззрения в следующих словах: «Природа, фантазия и разум художника делают возможным художественное творчество, соблюдая собственную манеру посредством рисунка» (см.: «Мастера искусства об искусстве»).

«Фантазия» — понятие, выработанное святым Августином на основании идей Платона, синоним творческого воображения. Что же касается чрезвычайно распространенного в XVI веке понятия «рисунок», то оно уже для Ченнини имеет два значения: «esterno», внешний рисунок (кoему обучают посредством упражнений и практических занятий), и «interno» — внутренний, то есть существующий в воображении. В 1607 году художник Федерико Цуккари придаст термину «внутренний рисунок» философский смысл: он увидит в нем «знак присутствия Бога в нас».

Общая мысль, преобладающая во всех трактатах XV века, заключается в том, что художнику надлежит подражать природе, но иметь при этом в виду осуществление классического идеала красоты, который достигается за счет отказа от воспроизведения всего, что не соответствует представлению о красоте — свидетельнице Божьего Творения.

Универсальным средством отражения нового «космического» мировосприятия явилась перспектива, изучение которой и открытие многообразных ее возможностей объединило архитекторов, скульпторов, живописцев, художников сцены. Исследователи считают, что для понимания сути эпохи Ренессанса весьма символично открытие художниками «перспективы» (то, что расширяется в пространстве в обозримое время), то есть искусства передачи объемного мира на холсте.

Индивидуализация творчества нашла выражение не только в самих произведениях искусства, хранящих имена огромного количества художников, работавших в разных городах и районах Италии, но и в литературных формах осмысления их творческого пути. Первая автобиография была написана скульптором Лоренцо Гиберти в его «Комментариях» в 1450 году. Первая монография о творчестве архитектора написана также в XV веке, она посвящена великому создателю купола Флорентийского собора — Брунеллески. В этом томе публикуется анонимная биография Альберти, приписываемая самому архитектору. В ней раскрывается поистине титаническая работа Мастера над собой, и в этом ее несомненный интерес для нас.

В этом контексте самым ярким представителем итальянского гуманизма эпохи Возрождения предстает личность Леонардо да Винчи (1452—1519) — гениального во всех областях культуры и искусства, науки и изобретательства, заложившего традиции художественного самообразования и самовоспитания, актуальные по сию пору. Леонардо был той точкой Ренессанса, в кото-

рой все стремления и интересы передовых европейцев во всех областях знания и искусства слились воедино. В этом его исключительность и полнота, но в этом же и трудность восприятия его творчества, определенная загадочность, которую отмечали его и наши современники.

Учился Леонардо у известного мастера живописи Флоренции Вероккио, у которого в это время учились будущие гении Италии Боттичелли и Перуджино, и так же учил сам. Это была не только профессиональная школа, а школа жизни, когда ученики делили с учителем кров, хлеб, хозяйственные заботы, но самое главное, были свидетелями рождения художественных замыслов и участниками их реализации, во всем слушая и помогая своим наставникам. Вероккио был многообразен: живописец, скульптор, ювелир. Он и сам менял традицию в живописи: играл ритмом линий, вносил плавность в движения и жесты, нарядность в декор одежды. До поры до времени ученики копировали мастера, а тот, в свою очередь, не ограничивал их самостоятельные поиски.

«Выпускным экзаменом» для учеников являлось выполнение большого заказа, когда под руководством мастера, который создавал общую композицию, они выполняли отдельные фрагменты картины. Сохранилась легенда о том, как Вероккио чуть не отказался от авторства своей картины «Крещение Христа», на которой двадцатилетний Леонардо нарисовал всего лишь одну фигуру ангела, признав тем самым гениальность молодого художника. Так закладывались традиции художественного образования в Европе — традиции художественных мастерских. Однако Леонардо развил эту традицию дальше.

Особое место Леонардо среди художников обуславливалось тем, что для него художественность и научность были тождественными понятиями. Он был не живописец плюс математик, плюс естествовед, плюс инженер и т.д., а именно художник-ученый. Он был неделим. Одно вне другого им не мыслилось. Вся его многосторонность была лишь разными поворотами одной целостности, или универсальности.

Для Леонардо искусство выполняло совершенно особую задачу в обществе: оно не отражало мир, а его постигало в некоем гносеологическом синтезе и творческом напряжении, и самым лучшим инструментом познания он считал живопись. Совершенное живописное исполнение природы, людей есть и высшее научное их постижение. Универсализм Леонардо весь выражался в его живописи как центр и венец его стремления познать смысл природы, истории, освоить законы мироздания, творения.

На основаниях математики воздвигнуто здание леонардовского мышления и художественной интуиции. Интеллектуализм, научный метод, математика не просто уживаются рядом с непосредственным и убедительным изображением природы, с

трепетным отношением к ней, а входят в самую сердцевину искусства мастера, составляют основу его художественной теории и практики.

Леонардо активно включился в спор о праве живописи войти в союз «свободных наук», которое ей не принадлежало еще со времен античной традиции. Великий итальянский поэт Петрарка находит доводы, чтобы поэзия вошла полноправным членом в этот союз. То же самое делает Леонардо в отношении живописи. До этого художественное творчество (art) составляло промежуток между свободными и механическими «науками», так как не имело своего теоретического обоснования. Мастер настойчиво указывает на математическую основу «науки живописи» — перспективу и пропорции, — ту самую, из-за которой музыка заняла свое твердое место среди «свободных наук-искусств» еще со времен Пифагора.

Глаз, зрение оказывались для Леонардо верховным орудием, главным методом, последним критерием познания вселенной, потому что они охватывают природу в целом и вместе с тем распознают мельчайшую крупницу естества. И тогда наглядность — решающее мерило достоверности. Картина есть совершеннейшее подобие законов строения мира, отражение его гармонии. Картина есть зеркало мира или окно в мироздание, где остановлено время или повернуто вспять. Можно себе представить потрясение верующих, когда они впервые увидели в миланском соборе фреску Леонардо «Тайная вечеря» и почувствовали себя свидетелями этого вселенского события. Можно сказать, что, беря кисть, он становился философом, а беря карандаш, был только исследователем.

Если искать сопоставлений для Леонардо, его можно сравнить с другим великим флорентийцем — поэтом Данте, автором «Божественной комедии». Он так же велик, так же сложен, — и так же труден для понимания, требуя от воспринимающего всей полноты внимания: интеллекта, чувства и духовного благоговения.

Художник нашел новую форму композиционного синтеза, архитектонику картины как вида искусства. Впервые в истории живописи он сделал картину организмом. Это не просто окно в мир, это микрокосм. У него свое пространство, своя объемность, своя атмосфера, свои существа, живущие полной жизнью, но жизнью иного качества, чем скопированные люди и предметы натуралистического искусства. Леонардо был первым создателем «картины» в том смысле, как ее позднее понимало классическое искусство Европы. Именно это сделало Леонардо основоположником новой живописи. С помощью Леонардо и открытой им традиции, поддержанной другими художниками, происходит теоретическое и практическое размежевание между живописью и ремеслом, что позволит ей в XVII веке получить название «изящного искусства», продержавшегося до XX века.

Как пишет современный исследователь Р. Уоллэйс, вопрос об учениках Леонардо чрезвычайно запутан. В Милане у него было много учеников, среди них Джованни Антонио Больтраффио, Марко д'Оджоно, Чезаре да Сесто, Франческо Мельци и испанец Фернандо де Льянос. Все они были усидчивы и плодовиты, следовали советам Леонардо и использовали его сюжеты. Обожание их было беспредельно, но ни один из них не стал выдающимся художником. И не потому, что Леонардо проявлял мало интереса к преподаванию: его «Трактат о живописи», хотя так и не приведенный в порядок, все же представляет собой внушительного размера учебник, который с благоговением и пользой изучался художниками всех веков после его смерти. Но среди своих непосредственных последователей он не мог найти тех, кто хотя бы приблизительно был способен воспринять все, чему он мог научить. И он держал в благоговейном страхе даже лучших своих учеников. Нередко в их руках тончайшие приемы Леонардо превращались в нечто вымученное и банальное, его таинственность и двусмысленность оборачивались неуклюжестью и грубостью.

Из всех молодых учеников Леонардо, его почитающих, только один — Франческо Мельци — достоин упоминания. Мельци стал учеником Леонардо в Милане. Это случилось приблизительно в 1507 году, когда Мельци было четырнадцать лет. Восприимчивый, интеллигентный подросток вскоре понял, что за внешней сдержанностью Леонардо скрывается безмерное одиночество, и стал для стареющего и все более теряющего иллюзии мастера по существу сыном. Он происходил из благородной семьи, и хотя не мог приблизиться к своему учителю ни интеллектом, ни художественным мастерством, все же одарил его глубокой, благодарной привязанностью. Мельци делал все, что мог, чтобы смягчить тяготы последних лет Леонардо, и оставался с ним до последней минуты его жизни. Из всех личных привязанностей Леонардо, кажется, только к одному Мельци испытывал настоящую любовь. Почувствовав приближение смерти, он написал завещание, в котором примирился со своими сводными братьями: им он оставил все свои деньги. А Мельци он завещал все свои бумаги и рисунки.

То обстоятельство, что от Леонардо остались лишь разрозненные записки на научные и живописные темы, а не систематический труд, еще не значит, что его не было. Есть данные, что он придумал план грандиозной системы знаний. Он отчетливо представлял ее себе. Он знал место каждой дисциплины в общем ряду: это 113 книг о природе, 120 книг об анатомии, книги о летании и передвижении в пространстве и т.д. В центре его системы мыслились 17 книг о живописи. Он искал объединения частных, верховного единства знаний, но он обрета единство мира именно как живописец.

После смерти Леонардо убитый горем Франческо Мельци оказался владельцем «бесчисленного количества томов» рисунков и записей учителя. Он взял их к себе домой, в Ваприо д'Ада близ Милана, где через много лет, в 1566 году, их видел Вазари. Он записал, что Мельци хранил их так, как будто это были священные реликвии. До смерти Мельци в 1570 году записи и рисунки Леонардо находились в очень надежных руках. Мельци отобрал и скопировал некоторые материалы, стараясь из огромного «собрания без порядка» составить хотя бы одну книгу — «Трактат о живописи», над которым Леонардо работал последние двадцать пять лет своей жизни и который так и не закончил. Если взглянуть на это из нашего времени, то работа Мельци должна быть признана бесценной. Однако в остальном он вел себя как простой хранитель. Он не написал воспоминаний о Леонардо, не сделал никаких комментариев к его бумагам, несмотря на то, что они находились в его руках полвека... Но факт остается фактом: Мельци хранил бумаги и рисунки Леонардо в неприкосновенности и завещал их своему приемному сыну Орацио в полной уверенности, что тот будет обращаться с ними столь же бережно. К сожалению, Орацио этого не сделал, и вскоре бумаги Леонардо пошли на расхват...

И все же, как убеждены историки искусства, мы должны благодарить судьбу за счастливое обстоятельство — усилия Франческо Мельци по спасению «Трактата о живописи». Как написал Мельци в послесловии, он использовал материал из восемнадцати «книг» Леонардо. Из этих книг две трети исчезли. Таким образом, только благодаря Мельци, — а мы можем предположить, что преданный ученик очень точно копировал записи учителя, — сегодня нам известно множество мыслей Леонардо по поводу живописи. В другом случае они могли бы быть утрачены. Труд Мельци не был упорядоченным: он листал бумаги Леонардо и группировал близкие по смыслу выдержки под такими заголовками, как «Студийная практика», «Драпировка», «Свет и тень», «Облака и горизонт», — словом, делал то, что считал нужным. «Трактат» очень трудно читать, и безнадежны усилия издателей, которые хотели бы его научно упорядочить. Тем не менее это самый драгоценный документ во всей истории искусства. В мире нет работы, в которой бы великий мастер обращался с такими подробностями к своим последователям.

Известно, что в то время, когда Леонардо делал свои разрозненные записи к «Трактату», он не раз перелистывал работы своих предшественников, таких, как Леон-Батиста Альберти и Ченнино Ченнини, чей «Учебник мастера» был хорошо известен Леонардо в молодости. Леонардо добавлял к уже известному свои собственные мысли и давал советы, которые только он один мог дать. Например, задолго до того, как начали заниматься психологической мотивацией работы художника, Леонардо предупреждал учеников, чтобы они не слишком субъективно

смотрели на мир, — в противном случае им придется рисовать всегда одно и то же: собственную персону, которую они будут любоваться, как Нарцисс, и не смогут ничего увидеть.

Самое раннее печатное издание «Трактата о живописи» на итальянском и французском языках датируется 1651 годом. По неизвестным нам причинам оно основывается не на труде Мельци, а на каком-то сокращенном варианте, происхождение которого неясно. И только в 1817 году вариант Мельци был обнаружен в Ватиканской библиотеке и «Трактат о живописи» напечатан в том виде, в котором известен теперь. Он переиздавался множество раз на многих языках, и каждая новая публикация вызвала волнение и всплеск интереса к нему. Так продолжается и доныне.

Первый перевод избранных произведений Леонардо на русский язык был сделан плеядой блестящих отечественных искусствоведов в 30-е годы XX века и опубликован издательством «Academia» в 1935 году. Именно этот текст приведен в данном томе.

В развитии педагогической мысли эпохи Возрождения участвовали представители утопического социализма. Вслед за Платоном они мечтали об идеальном государстве, в котором люди воспитываются для счастливой жизни, наполненной трудом и творчеством. Таким представителем явился итальянский гуманист Джованни Доменико Кампанелла (1568—1639). В работе-диалоге «Город Солнца» он показывает образец устройства общества экономического и политического равенства. Его философия образования личности сводится к широкому спектру овладения знаниями, энциклопедизму и универсализму образования, отрицанию слепого подражания и книжности, к единению с природой, отказу от узкой специализации.

В диалоге говорится об учениках — юных соляриях, которые представляют идеал воспитанности. Они свободны от таких пороков, как лень, хвастовство, хитрость, вороватость, плутовство. Поощряются занятия наукой, изучение истории и народных обычаев. В Городе Солнца заботятся об улучшении «породы людей», так как убеждены, что это — основа общественного блага. Население города отличается отменным здоровьем и привлекательностью, так как жителям с детства прививают любовь к искусству, к прекрасному, к стремлению достигать естественной красоты человека. Глава государства — наиболее образованный гражданин.

Совместный процесс обучения и воспитания девочек и мальчиков проводится в специальном заведении. В программы входят чтение, письмо, математика, история, география, естествознание, медицина, а также занятия гимнастикой, бегом, метанием диска, играми. Солярии обучаются ремеслам. В мастерских и на полях они получают практические навыки, знакомятся с орудиями труда, работают вместе со взрослыми.

При обучении дисциплинам используется наглядность: городские стены разрисованы «превосходнейшей живописью, в удивительно стройной последовательности, отражающей все науки... Дети без труда и как бы играя знакомятся со всеми науками наглядным путем до достижения десятилетнего возраста». Широко применяется принцип состязательности. Учебником служит пособие «Мудрость», в котором кратко и доступно излагаются основы изучаемых наук. Религия соляриям объясняется «как закон природы». Каждый вправе выбирать любую конфессию.

Однако у Кампанеллы отчетливо проявляется уравнилельная тенденция, приводившая по существу к отрицанию эстетических ценностей. В Городе Солнца искусство, украшающее стены города, допускается только как средство усвоения знаний: геометрии, истории, географии, математики. Поэзия, по мнению Кампанеллы, должна служить единственной цели — прославлению героев. «Однако же тот, кто что-нибудь при этом присочинит от себя, даже и к славе кого-нибудь из героев, подвергается наказанию. Недостойн имени поэта тот, кто занимается ложными вымыслами, и они считают это за распушенность, гибельную для всего человеческого рода». Более того, Кампанелла предусматривает смертную казнь всякой женщине, которая наденет роскошное платье, чтобы скрыть свои физические недостатки.

В утопии сказанся свойственный для уравнилельного коммунизма плебейский аскетизм, который был формой протеста против растущего общественного неравенства и роскоши имущих классов.

* * *

Свойственная раннему Возрождению теория красоты, достигаемая за счет подражания природе по античному образцу, оказалась поставлена под сомнение уже самим обоснованием своей истинности, призванным укрепить теоретические принципы. Значение античного образца стирается в результате появления нового авторитета, авторитета «учителей», которые как раз и рассматриваются как художники, осуществившие идеал: это Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, несколько позднее Корреджо и Тициан. Итак, подражание природе сменяется подражанием мастерам Возрождения.

В период высокого Возрождения художники в результате упорной борьбы получают признание в качестве привилегированной части общества. Историки искусства считают, что необъятный гений Микеланджело заставил папу Павла III выступить с двумя энцикликами (от 3 марта 1539 г. и от 14 июня 1540 г.), дабы навечно избавить скульптуру от юрисдикции каменотесов; при этом глава Римской Церкви особо выделяет Микеланджело. Чтобы порвать всякую связь с ремеслами, художникам придется

отделиться от цехов и объединиться заново в академии, утвердив, таким образом, свой статус людей интеллектуальных занятий. Тем самым они берут пример с гуманистов, которые в предшествующем столетии воскресили понятие «академия» (коим обозначался сад Академа близ Афин, где занимался со своими учениками Платон).

Настанут времена, когда быть художником окажется весьма почетно. Папа Пий VI в своем послании (оно имело место в 1795 году) пожалует президенту Академии художеств святого Луки в Риме титул пфальцграфа.

Основной задачей академий искусств являлось и является поддержание на высоком уровне изобразительного искусства и профессиональное обучение. Теперь уже не учитель-одиночка готовит учеников, а целая академия, предлагая ученикам множество дисциплин, способствующих общему, эстетическому развитию и специальному образованию будущих художников.

Теоретические основы академического образования разрабатывались в результате изучения как художественного, так и литературного наследия учителей, чье творчество было признано в качестве своеобразного эталона, образца для подражания. Место Леонардо в этом ряду на протяжении веков остается неколебимым. А значение его «Трактата о живописи» как педагогического завещания трудно переоценить. «Трактат» адресован будущим поколениям художников.

Несмотря на огромное влияние «Трактата» на художественный мир, вклад Леонардо в искусство имеет более широкое основание. Речь идет не о композициях Леонардо, законченных и незаконченных, а о том, что «его персонажи принадлежат к новой породе или даже расе, которая крупнее и грандиознее, чем старая, представленная у таких художников, как Боттичелли или Поллайоло. Они массивнее, весомее, мощнее, чем у художников Раннего Возрождения», — пишет Р.Уоллэйс. Новая концепция величия, впервые явленная в «Тайной вечере» (начатой, когда Микеланджело было двадцать лет, а Рафаэлю всего двенадцать), бесповоротно изменила западное искусство. С нее началось Высокое Возрождение, и каждый художник, который следовал времени, становился должником Леонардо.

*И.А.Бирич,
Н.Н.Фомина*

ОТ ПЕРВОГО ЧИТАТЕЛЯ

Когда становишься первым читателем тома, входящего в Антологию гуманной педагогики и посвященного гуманистам эпохи Возрождения, то поневоле задумаешься о смысле слов. Кого именно и почему впервые назвали гуманистами? И какое отношение имеют их тексты к педагогике в современном ее понимании?

Поначалу кажется, что никакого, но это неверно. В основание любой образовательной практики закладывается тот или иной образ человека (хотя учитель в классе может об этом и не подозревать). А уже в зависимости от этого происходит отбор учебных дисциплин, авторитетных источников, методик, форм общения и т.п. А если так, то богословие, философия, психология, искусство — все становится питательной почвой для педагогической теории и практики. Это, конечно, относится и к гуманистам.

Главное, что говорят о гуманистах: они поставили человека в центр мироздания. Как с этим не согласиться? Достаточно вспомнить Мону Лизу или рисунок Леонардо — фигуру идеального человека, вписанную в круг и в квадрат. Впрочем, такие люди, как Леонардо да Винчи, сами не вписываются в «квадрат» своей эпохи или направления, даже если они их и олицетворяют! Нам следует лишь непредвзято прочитать тексты, включенные в этот том. Ведь самое главное — как именно тот или иной автор представляет себе истинного человека, достойного быть «в центре мироздания». В конце концов, и Священное Писание отводит человеку центральное место в мире, созданном Творцом.

А.А.Мелик-Пашаев

ЭНЕО СИЛЬВИО ПИККОЛОМИНИ 1405—1464

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ*

Если кому и надлежит стремиться к добродетели и всего себя отдать добрым искусствам, так это тебе, славнейший государь Владислав, никто здравомыслящий не будет отрицать этого. Ведь, став совершеннолетним, ты надеешься обладать величайшим государством и блестящей верховной властью, которыми не сможешь долго владеть, если не будешь преисполнен совершенного благоразумия. Царства повинуются добродетели, сопротивляются порокам. Как некогда Рим не вынес праздности императора, так сегодня Венгрия ненавидит бездействие короля. Правителю, более чем кому-либо другому, нужна мудрость. Как будет правильно управлять другими тот, кого сокрушает собственное заблуждение? Царь неразумный и себя губит, и народ, для мудрого все идет к лучшему. С моей помощью, говорит мудрость, цари правят и законодатели принимают справедливые решения. Итак, пока ты ребенок, а став старше, начнешь проникаться наилучшими наставлениями. Побудить тебя к этому должны будут и примеры твоих предков, которые с величайшей славой руководили Римской империей, предки с отцовской и материнской стороны и тот, кто тебя породил, божественной и незабвенной памяти отец Альберт, не походить на которых будет в высшей степени стыдно. Тот, кто воспринимает власть предков, должен соответственно воспринять и их добродетели. Ты наследуешь благородство, постарайся стать наследником и нравов. Благородство, облаченное в покровы чистых нравов, достойно хвалы. Нет никакого благородства в том, что порочно. В самом деле, кто назовет родовитым того, кто недостойн рода и отличается только славным именем [предков]? Как среди безгласных животных, сколь бы ни были они рождены от достойных хвалы родителей, никто не пожелает породистых, если они не крепкие, так и среди людей не могут называться благородными те, кто не славится собственной добродетелью... Но в завоевании добродетели большой поддержкой слу-

* Печатается по: Образ человека в зеркале гуманизма. — М.: Изд-во УРАО, 1999.

жат занятия науками... Сократ, по свидетельству Боэция, полагал, что государства были бы счастливы, если бы их правителям случилось обрести мудрость. Ведь, действительно, совершенны только те люди, которые стараются сочетать гражданские обязанности с философией и требуют для себя оба блага. И жизнь тех, кто служит общей пользе, идет благодаря наукам и мудрости с высшим спокойствием, не подверженная никакому смятению. В таком случае правителям и тем, кто будет властвовать, надо всеми силами пытаться и государственные дела исполнять, и заниматься философией...

1. О природных способностях детей и о том, каким образом природа слепа без науки

У всех детей, которых требуется привести к вершине добродетели, должна быть добрая и способная к науке природа. Но

NB Как видно, разумные мысли о способностях детей приблизительно те же в разные века:

— во-первых, человек приносит в жизнь нечто главное, чего не может вложить в него учитель;

— во-вторых, без старания человека и помощи учителя этот дар не может развиться и проявить себя;

— в-третьих, практически каждому что-нибудь да дано; надо это найти и развивать со старанием.

В сущности, все это можно вычитать уже в евангельской притче о талантах. И сегодня едва ли найдется чуткий и опытный педагог, который отверг бы эти положения.

Меняется другое: понимание того, что именно в качестве таланта (или кем?) и в какой

форме «дано» человеку от рождения. Меняются акценты, методы: на что в первую очередь должны быть направлены усилия развития, какова роль и «доля» учителя и ученика в этом процессе, как лучше помочь растущему человеку найти именно свой путь, или не надо

дать ее не зависит ни от тебя, ни от человеческого старания, это дар и небесное благо одного Бога. Найдется немного людей, чья природа не способна к обучению. Ибо, по словам Квинтилиана, как птицы рождены для полета, лошади для бега, собаки для свирепости, так человеку свойственна [от природы] деятельность ума и понятливость. Тупые же и неспособные рождаются в таком же противоречии с природой, как и те, кто имеет странные и отмеченные уродством тела. И хотя один другого превосходит умом, не найдешь никого, кто ничего не достиг бы старанием. Но ты одарен хорошей и способной к науке природой, значит, тебе остается заняться наукой и упражнением. Ибо как слепа природа без науки, так без природы слаба наука, обе будут мало значить, если устранить упражнение. Совершенство же достигается с помощью этих трех условий. Итак, приступай с Божьей помощью и, восприняв принципы науки, посвяти себя упражнениям в добродетели.

об этом заботиться («талант пробьется») — в подобных вопросах педагогическая мысль и практика разнообразны и изменчивы. А основные «оси координат», видимо, меняются мало.

2. О том, что в детях надо воспитывать прежде всего две вещи

В детях надо воспитывать тело и душу. Скажем прежде всего о воспитании тела. Затем присоединим к этому воспитание души, иногда, однако, будем говорить вперемешку. Ведь, согласно одним, в материнском лоне сначала формируется тельце, в которое внедряется душа. Другие считают, что то и другое образуется одновременно. Итак, воспитание ребенка надо начинать с детства, как говорится, с первых ноготков. Но для тебя эти времена пройдены (о, если бы не без пользы), надо поспешить к твоему возрасту. Ты еще ребенок, послушай наставления, которые мы даем тебе как ребенку. Пока я говорю с тобой и тебя увещаю, я говорю одновременно со всеми твоими наставниками, которые заботятся о тебе, и увещаю и их. <...> Глупцы и безумцы те, кто воспитание своих детей поручает кому попало и без всякого разбора. Что до меня, то я бы хотел, чтобы учителя были либо образованны (это было бы лучше), либо знали, что они необразованны... Ведь ничего нет хуже тех, кто, продвинувшись ненамного за рамки начального образования, пребывает в ложной уверенности, что он великий знаток, если воспользоваться словами Квинтилиана. В таком случае правильно поступил Филипп Македонский, пожелав, чтобы сыну его Александру начальные основы знания дал Аристотель, величайший философ того времени. Не знаю, какое заблуждение привело его к выбору Леонида. Правильно также Пелей доверил Ахилла заботе Феникса, так как тот был и в словах, и в делах наставником и учителем. Действительно, необходимо, чтобы жизнь наставника не была запятнана никакими проступками, чтобы нравы были безукоризненны и служили наилучшим примером, чтобы учителя не имели и не распространяли пороков. Учителя не должны быть ни жестокими в своей строгости, ни развязными в чрезмерной общительности, дабы не мог ты их ни ненавидеть, ни презирать по праву. Пусть речь их будет по большей части о нравственных вещах, чтобы от них ты не научился порокам, которым после надо будет разучиваться, а освободиться от них очень трудно, и бремя разучивания труднее, чем научения. Поэтому, говорят, известный флейтист Тимофей обычно требовал двойную плату от тех учеников, которых обучал другой учитель, нежели от того, кто приходил в его школу необученным. О тебе, несомненно, позаботились наилучшим образом; ты получил таких учителей, что, соблюдая их предписания, можешь достичь славы замечательного мужа и

славнейшего государя. Их обязанность состоит в том, чтобы, подобно земледельцам, ставящим вокруг своих саженцев изгороди, окружить тебя подобающими тебе наставлениями в похвальном образе жизни, откуда произрастут прямейшие побеги нравственности. Ибо справедливая наука — источник и основание нравственности. На тебя, однако, пусть они воздействуют увещеваниями, а не побоями, ибо, хотя принято бить детей и Хрисипп с этим согласен, и приводят слова Ювенала:

Взрослый уже Ахилл боялся розги, когда он
Пенью учился в родимых горах,

однако у меня больший вес имеют Квинтилиан и Плутарх, которые говорили, что детей надо вести к честным занятиям не тумаками или розгами, но увещеваниями и разумными доводами. Побои рабам подобают, а не свободным. Благородным детям и более всего детям государей похвалы и порицания старших больше приносят пользы, чем побои. Первые побуждают к честному, вторые удерживают от позора. Однако и в том и в другом надо соблюдать меру, чтобы ничего не делать слишком. Ведь дети, неумеренно хвалимые, важничают, а если их чрезмерно наказывают, надламываются и слабеют духом, с другой стороны, побои рождают ненависть, которая сохраняется вплоть до взрослого состояния. Но для того, кто учится, нет ничего более враждебного, чем ненавидеть наставников, которых, пожелай поступить справедливо, ты полюбишь не менее, чем сами занятия, и посчитаешь родителями не тела твоего, но духа. Такая любовь очень помогает занятиям.

3. Забота о теле и как должно кормить детей

О наставниках сказано достаточно. Теперь, на наш взгляд, надо посмотреть на то, сколько заботы следует уделить твоему телу. Тело ребенка стремится сохранить в последующее время те привычки, которые оно усваивает. Поэтому надо наблюдать, чтобы ребенка не кормили слишком изысканно, чтобы не разрешали ему спать или отдыхать более, чем необходимо. Мягкое воспитание, каковое мы называем снисходительностью, разрушает все силы души и тела. Надо избегать мягких перин; я бы не хотел, чтобы шелк облегал тело, иногда даже следует пользоваться грубой полотняной одеждой, — от всего этого члены тела становятся крепкими и более выносливыми к труду. Так как ты от природы красивый ребенок, достойный скипетра, надо стремиться к тому, чтобы красоте отвечали жесты, чтобы в лице была сдержанность, чтобы не кривил рот, не высовывал язык, чтобы не изображал из себя пьяного, не подражал грубости слуг, чтобы нос не задирал вверх, а глаза не опускал долу, шею не склонял на ту или другую сторону, чтобы не держал ру-

ки как крестьянин и поза была достойной, а манера сидеть не вызвала насмешки... Итак, надобно при движении и в любой позе соблюдать достоинство. К этому проявляли много внимания греки, так что даже издали закон о жестах, который назвали хиромомия. Его одобрял Сократ, полагал среди гражданских добродетелей Платон, и Хрисипп не забыл в своих наставлениях о воспитании детей.

Не стоит пренебрегать также некоторыми состязаниями, но надо выслушать наставников в этом деле, чтобы трудиться в них столько, сколько будет достаточно, дабы приобрести и соразмерное строение членов тела, а заодно и его крепость. Ведь хороший телесный облик в детях закладывает и хорошие основы старости. И так как правителю надлежит не раз участвовать в сражениях, мальчику, которого ожидают бразды правления, следует упражняться в состязаниях... В таком случае не будет неуместно, чтобы ты, кому часто придется сражаться с турками, научился натягивать в детстве лук, метать пращу, пускать стрелу, бросать копье, бегать, прыгать, участвовать в охоте, приобрести умение плавать. Послушай, что говорит Вергилий о детях италийцев:

Крепкий от корня народ, мы зимой морозной приносим
К рекам младенцев-сынов и водой закаляем студеной;
Отроки ухо и глаз изощряют в лесах на охоте,
Могут, играючи, лук напрягать и править конями.

Учиться тому, что можно делать честно, никак не позорно. Впрочем, я не запрещаю бы мальчику игр, которые не являются непристойными. Хвалю и одобряю игру в мяч с ровесниками. Есть еще игра в обруч, есть и другие детские игры, которые не содержат в себе ничего позорного, их тебе иногда должны позволять наставники, чтобы таким способом сделать перерыв в работе и восстановить бодрость. Детям не следует всегда предаваться науке и серьезным делам, и не надо возлагать на них безмерные труды, от которых они падали бы обессиленные и к тому же, задавленные тяжелым грузом, не безропотно воспринимали бы науку. Ведь и растения питаются водой, даваемой в умеренном количестве, а если в большем, то они погибают. Тебе надо знать, что жизнь наша разделена на две части — на занятия и отдых: к примеру, бодрствование — сон, мир — война, лето — зима, трудовые дни и праздничные, облегчением труда служит отдых. Стало быть, не надо ни чрезмерно перенапрягаться в труде, ни излишне предаваться досугу. Ибо недруги наук, по словам Платона, — чрезмерные труды и сон.

4. О заботе о теле и о том, как надо питаться мальчику

Каковы должны быть телесные упражнения и игры мальчиков, которых ожидают бразды правления, ты знаешь. Теперь скажем о пище и питье. Скромная и умеренная пища, как пишет Иероним к Рустику, и телу и душе полезна. Итак, пусть налицо будут соображения принимать такую пищу и в таком количестве, чтобы и тело ею не обременялось, и свобода души не угнеталась. И хотя надо отказаться от пищи, которая может трудно перевариваться, однако следует предусмотреть, как бы ребенок, привыкнув к изысканной пище, не отвергал с презрением обычной... Тебе ведь не всегда придется оставаться в городах, надо будет бывать и в лагерях, в лесах, в пустынных местах, где придется питаться более грубой пищей. Мальчик так должен питаться, чтобы, когда потребуют обстоятельства, не отвергал мясо вола. К тому же такому будущему воину подобают обеды, которые могут сделать тело не изнеженным, но крепким. А если кто всегда ест за обедом сушеный виноград, миндаль, пишу, изготовленную из сахара, пишу из птичек, козлят, ягнят и вообще более легкую пишу, то благодаря каким именно кушаньям он сможет подняться и выздороветь, если начнет болеть? <...>

6. О том, чтобы дети были умеренны в питье, и о том, как позорно жаждать вина

Так как многих привлекает наслаждение от питья вина не менее, чем от еды, тебе следует остерегаться [его], дабы не стать любителем выпить или знающим толк в вине. Избегай всякого питья, которое может опьянить. Пусть питье будет умеренным, таким, чтобы оно не отягощало дух, но устраняло жажду. В детях много жидкости, наполненные молоком и кровью, они редко испытывают жажду. Нет ничего позорнее мальчика, жаждущего вина. Употребление вина, как сообщает Валерий, некогда было неизвестно римским женщинам. А что сказать о детях? Неужели мы потерпим, чтобы души детей безумствовали, неужели погубим растущий ум чистым вином? Хотя, по обычаю немцев, нельзя смешивать вино с водой, меня, однако, не убедить никакими доводами, что детям надо давать за обедом вино, не смешанное с водой. Мне известно, что некий человек из богемской знати приучал своих детей с детства, с самой колыбели поглощать много и часто одну лишь мальвазию и ривольти [вина чистые и высоких сортов]. Он так говорил: после того как дети станут мужами и будут много пить, никакое вино своим воздействием не лишит их разума. Возможно, так был воспитан Кир младший, который, убеждая лакедемонян вступить с ним в союз, говорил, что сердце у него гораздо крепче, чем у брата, ибо он и пил больше чистого вина, чем тот, и легче пе-

реносил. Глупая и пустая осторожность — напиваться всегда, чтобы иной раз не быть пьяным. Те, кто так воспитан, когда очень много пьют, не теряют ума, но ум сохраняют глупый и находятся в постоянном состоянии опьянения. Нет у них памяти, нет пылких дарований, жажды добрых искусств, нет стремления к славе и чести. Но чтобы не казалось, что мы боремся с теми животными, которым дано место среди людей, на наш взгляд, преступно, обратимся к Платону и послушаем суждение этого божественного мужа о вине и питье вина. Платон мудро считал, что для восстановления трезвости вина не следует поглощать без разбора, но что души восстанавливают силы и приводятся в прежнее состояние умеренными и достойными перерывами во время питья. Всецело избегать питья вина не следует, так как никто не может достаточно надежно стать вполне воздержанным и умеренным, если жизнь его не испытана опасностями заблуждений среди недозволенных наслаждений. Ведь если тот, кому неизвестны все прелести и удовольствия застолий и кто вообще не принимает в них участия, случайно узнает эти наслаждения, придя по собственной воле, или приведенный случаем, или вынужденный необходимостью, он в скором времени неизбежно увлечется, плененный, и разум его и душа не сумеют устоять. Поэтому мальчика надо защищать от зла вина не отказом от него, как делали египтяне, и не поглощением его допьяна, как нравилось богемцам, но силой и постоянным присутствием духа, и потребление его пусть сдерживается соблюдением меры. В таком случае пусть пиршества, происходящие в твоём присутствии, и в кушаньях и в питье сдерживаются и ограничиваются своими правилами. Умеренные без разнузданности, пусть они не мешают обязанностям души и тела. Пусть не будет там печали, нахмуренных лиц, пусть будет иной раз смех. Не одобряю Красса, который, как пишет Цицерон, смеялся в жизни один раз; Спаситель же, никогда не смеявшийся, был иного свойства, нежели человек. Пусть будет на пирах серьезность, но пусть она не исключает радости. Пусть будут наслаждения, но не ведущие к распущенности. Пусть будут удовольствия от музыки, но не несущие с собой ничего позорного.

7. Какие телесные удовольствия надо обуздывать

Впрочем, поскольку мы до сих пор рассуждаем относительно заботы о теле, следует привести на этот счет сжатое суждение Платона. Он желает уступать [желаниям] тела только для того, чтобы оно могло служить философии. Сказано, на наш взгляд, благоразумно, если в стремлении к философии содержится и забота о государстве. <...> Те, кто старательнее всего заботятся о теле, а душой, которая должна пользоваться услугами тела, пренебрегают, ничем не отличаются от тех, кто со всей

тщательностью ищут повсюду возможность приобрести музыкальные инструменты, а искусство же, ради которого приобретают музыкальные инструменты, презирают. [Душу же] напротив, надо оберегать: в самом деле, страсти тела надлежит сдерживать и укрощать как некоего бешеного зверя и безрассудные порывы его, направленные против души, смирять уздой разума. <...> В еде надо заботиться только о том, чтобы телу доставлять необходимое, дабы могло оно заниматься какой-то работой. Словом, желудку надлежит давать пищу не для наслаждения, а для питания. А те, кто думает всегда об обеде и поварях и ради пиров обшаривает земли и моря, угнетен жалким рабством и платит тяжелейшую дань господину. Надо следить, чтобы ты не старался воздавать больше телу, чем благу души; и позорно будет правителю из-за чрезмерной заботы о теле казаться изнеженным. Потребно соблюдать во всякой одежде опрятность, которая не была бы неприятна и слишком тщательна; избегай, однако, дикой и бесчеловечной неаккуратности.

8. О том, что нет на земле ничего ценнее и превосходнее, чем просвещенный интеллект

Завершив кратко то, что мы считали необходимым высказать о теле, поспешим сказать о воспитании души. В отношении этой вещи мы хотим убедить тебя, что из того, чем владеют люди на земле, нет ничего более ценного, чем интеллект. Прочие блага человеческой жизни ничтожны, даже недостойны горячего к ним стремления. Прекрасно благородство, но это благо чужое, ценны богатства, но ими владеет судьба, привлекательна слава, но непостоянна, красота пристойна, но брэнна и длится малый срок. Желанно здоровье, но всецело подвержено переменам, жаждают сил, но из-за болезни или старости они легко приходят в упадок. Нет ничего превосходнее интеллекта и разума. Их не уничтожат никакие нападки судьбы, не разрушат никакие козни. И хотя все остальное со временем убывает, знание и рассудительность к старости умножаются. Война отнимает и уносит все вещи одну за другой, но она не может похитить образования. Когда Деметрий, захватив Мегару, разрушил ее до основания, он спросил у философа Стыльпона, рожденного там, не лишился ли он чего-то из своего имущества. Совершенно ничего, ответил ему Стыльпон, ведь добродетель не может быть добычей на войне. И Сократ считал так, когда его спрашивал Горгий, счастлив ли был персидский царь: «Не знаю, — говорит, — насколько он добродетелен и образован. Потому что именно в этих качествах, а не в благах судьбы, должно заключаться блаженство». Обрати внимание на это высказывание и запомни его, король Владислав, богатейший в будущем; сколь бы величайшее государство тебе ни причиталось, ты, однако, не сможешь называться счастливым, если не будешь наделен добродетелью.

тельно и богат благами души больше, чем судьбы. Ведь царства и богатства принадлежат их обладателям не более, чем каждому, но, как в мирской игре, переходят то туда, то сюда. Только добродетель и для живущего, и для умершего постоянна. В неблагоприятных либо в благоприятных делах мы должны прибегать к философии, которая есть наука о добродетели; ее ревнителями подобает быть прежде всего правителям. Многие вещи потребны правителю, который, по мнению Аристотеля, есть как бы одушевленный закон. Велико бремя власти, поскольку властитель должен заботиться не только о себе, дабы пребывать в благополучии, то также и о народе, дабы надлежащим образом управлять доверенным ему множеством людей — посредством справедливости, на пути благоденствия и мира. Ибо написано, что царь неразумный разорит народ, мудрый же обогатит государство...

9. О том, что изучение философии полезно наряду со всеми и королям

Полагаем, ты уже убежден, что занятия философией будущему правителю необходимы. Философия же — мать всех искусств (Платон называет ее даром, Цицерон — изобретением [людей]) — вряд ли может быть легко воспринята без обучения. Она наставит тебя прежде всего в богопочитании, затем в человеческом праве, которое положено в основу человеческого общества, душу твою наставит в скромности и удалит с нее, словно с глаз, пелену, дабы ты видел все — высочайшее, первое, среднее, низшее. Кто в таком случае не пожелает старательно заниматься наукой, из которой воспринимается столь великий плод, в которой есть знание добра и зла, которая нам сообщает о прошлом, руководит настоящим, представляет будущее! Без науки всякий возраст слеп. И невежественный государь не может обходиться без чужого руководства. И так как дворы королей полны льстецов, кто скажет правителю истину? Разве не полезно властителю знать науку, чтобы в книгах философов самому для себя установить истину? В самом деле, Деметрий Фалерей советовал царю Птолемею приобретать и прочитывать книги о государстве и власти. Ибо то, о чем не дерзают увещивать царя друзья, можно отыскать написанным в книгах.

ЛЕОН БАТТИСТА АЛЬБЕРТИ 1414—1472

О СЕМЬЕ*

Книга первая:

об обязанностях взрослых по отношению
к молодым и младших по отношению к старшим
и о воспитании детей

Когда наш отец Лоренцо Альберти находился в Падуе, прикованный к постели болезнью, которая унесла его из жизни, он многократно высказывал настойчивое желание повидать Ричардо Альберти, своего брата; узнав, что вскоре тот должен приехать к нему, он весьма приободрился и против обыкновения несколько приподнялся и сел на кровати, всем своим видом показывая, что очень доволен сим известием. Нас, бывших все время рядом, вместе с ним ободрила его радость; и мы почувствовали себя счастливыми от доброй надежды, право на которую нам, казалось, давало лицезрение Лоренцо, расположившегося [в кровати] выше обычного. Там присутствовали Адовардо и Лионардо Альберти, люди благороднейших нравов и великого ума, к коим Лоренцо обратился почти что с этими словами:

<...> — Возможно, Адовардо и Лионардо, я скажу о том, чего нет в действительности; но да будет позволительно, чтобы отцу добродетели сыновей казались большими, чем они есть на самом деле, и да не приписывают моему безрассудству, если в стремлении восстаменить в детях любовь к добродетели я в их присутствии обнаружу, насколько мне было бы приятно и по душе видеть их людьми очень добродетельными, раз уж всякая небольшая похвала в их адрес покажется мне огромной. Действительно, всеми способами и всегда старался, чтобы меня скорее любили, нежели боялись; мне никогда не хотелось в глазах тех, кто считает меня отцом, выглядеть также и господином. И поэтому они всегда были послушными, почтительными, очень внимательными ко мне и следовали моим наставлениям; никогда я не замечал в них никакого упрямства или скольни-

* Печатается по: Образ человека в зеркале гуманизма. — М.: Изд-во УРАО, 1999.

будь значительного порока. Я находил удовольствие в добрых нравах, ими усвоенных, и думал, что могу день ото дня ожидать и надеяться на [еще] лучшее. Но кто не знает, сколь неверен путь юноши: всякий порок, ему присущий и из страха или стыда сокрытый и замалчиваемый его родителями и старшими, открывается и станет явным со временем. И чем менее в молодых людях страха и почтения, тем больше в них произрастают и укрепляются различные пороки, и причиной этому то ли собственный ум, ими самими развращенный и испорченный, то ли дурные знакомства и привычки, его повредившие и укрепившие в пороке, то ли многие другие вещи, способные какого угодно хорошего человека сделать злодеем: мы видели в наших краях и в других местах, что сыновья самых достойных граждан, сызмалу выказывавшие замечательные наклонности, выделявшиеся своим прекрасным обликом и поведением, исполненным кротости и благонравия, впоследствии становились людьми бесчестными из-за нерадивости, полагаю, тех, кто не смог их как следует направить. Поэтому здесь мне приходит на память наш отец мессер Бенедетто Альберти, человек мудрый, авторитетный и репутации необыкновенной, ревностный во всех своих делах и чрезвычайно пекущийся и радеющий о благе и чести нашей семьи, который в беседах с другими некогда жившими у Альберти, поощряя их быть усердными и расторопными в делах, — какими они, конечно же, были, — частенько говаривал следующее: «В обязанности отца семейства входит не только забота о том, чтобы, как говорится, были полны амбары и кладовые; ибо много больше должен глава семьи наблюдать и присматривать за всеми и каждым, выведывать и проверять все товарищеские связи, разузнавать их нравы в доме и вне, а всякую дурную привычку кого бы то ни было из членов семьи поправлять и врачевать речами скорее увещательными, чем негодующими, употреблять прежде свой авторитет, нежели власть... быть также, когда необходимо, строгим, суровым и твердым и во всем, что он замышляет, иметь в виду благо, тишину и покой всей своей семьи в качестве как бы цели, к которой он устремлял бы все свое благоразумие и сообразительность, дабы управлять семьей как следует, [или же] добродетельным и похвальным образом; уметь на волне народной любви и признательности, стяжав благодарность своих сограждан, достичь гавани почета, славы и уважения и там остановиться, на время свернув и убрав паруса, дабы и в ненастьях, и в невзгодах (*fortune*), и в тяжелых испытаниях, подобных тем, которым вот уже двадцать два года несправедливо подвергается наш дом, заниматься нравственным закаливанием молодежи, не давая ей падать духом и пребывать в растерянности под ударами фортуны, но и никогда не позволяя ей покушаться на какие-либо дерзостные и безрассудные предприятия с целью то ли отомстить, то ли осуществить некую свойственную юному возрасту и легкомысленную идею (*opinione*);

и в периоды затишья и удачливой фортуны, и куда больше в ненастные времена не отходить от кормила разума и от распорядка жизни, быть бдительным, издавек замечая всякое облачко зависти, всякую тучу ненависти, всякую вспышку враждебности на челе сограждан, а также всякий неблагоприятный ветер и всякую подводную скалу и опасность, от которой семья может каким-то образом пострадать, действуя здесь как опытный и выдавший виды кормчий, держащий в уме, под какими ветрами и под какими парусами другие ходили в плавание и каким образом они распознавали различные опасности и избегали их, и не забывающий, что в наших краях не бывало, чтобы кто-нибудь, распустив все паруса, даже если они были не так уж велики, их сворачивал неповрежденными, а не по большей части дырявыми и рваными. И так он узнает, что больше вреда приносит одно неудачное плавание, нежели пользы тысяча успешно завершённых. Зависть рассеивается там, где сияет не тщеславие (ропра), но скромность; ненависть исчезает, встречая не заносчивость, но обходительность; враждебность затухает и гаснет, если ты себя вооружаешь и укрепляешь не гневом и неприятною, но приветливостью и дружелюбием. Все эти вещи должен глава семьи иметь в виду, продумывать и держать в памяти, быть готовым и способным все предвидеть и разузнать, вынести труды и хлопоты, иметь величайшее попечение и старание о том, чтобы с каждым днем молодежь становилась все более благовоспитанной, добродетельной и любезной нашим гражданам. И да будет известно отцам, что добродетельные дети доставляют отцу в любом его возрасте радость и большую поддержку, что заботливостью отца творится добродетельность ребенка. Бездеятельность и праздность ведет семью к одичанию и бесславию, ревностные и заботливые отцы наделяют ее благородством. Алчные, сластолюбивые, несправедливые, высокомерные люди бесчестят семью, угнетают ее бедами и лишениями. Хорошие же люди должны знать, что сколь мягкими, скромными и челолюбивыми они ни были бы, если не выкажут себя по отношению к семье весьма деятельными, предусмотрительными, заботливыми, а равно если не будут заниматься воспитанием и исправлением молодежи, то в случае падения какой-то части семьи они также непременно потерпят низвержение, тем более шумное, чем более возвышалась их семья достоинством, богатством и положением. Чем выше стена, тем сильнее разбиваются падающие с нее камни; посему пусть старшие члены семьи всегда помышляют и радуются о ее благе и чести, подавая совет, наставляя и как бы держа бразды всего семейного правления. Ибо заслуживает только похвалы, признательности и одобрения деятельность тех, кто речами и уговорами умеет укротить обуревающие молодых людей страсти, расшевелить ленивые души, пробудить горячее желание стяжать славу самим себе, а заодно — возвеличить родину и дом свой. Также мне кажется делом очень

NB Вот именно: авторитет старости надо «поддерживать собой». Если бы человек, старея, становился духовно выше, прозорливее, просветленнее, мудрее, все больше имел бы в себе любви, никому не надо было бы объяснять, как следует к нему относиться.

Но такие примеры редки, хотя и существуют. Чаще мы с годами теряем, слабеем, ветшаем понемногу, и не только телом, но и духом. А тогда, откровенно говоря, нет оснований ожидать почтительности (за что почитать?), можно лишь надеяться на сочувствие, которое станет заслугой молодых людей, признаком благородного и доброго сердца.

ния смятение духа и тем самым уничтожая корни любого порока и причину недружелюбия, снабжая их добрыми наставлениями и примерами, избегая поступать так, как, пожалуй, имеют обыкновение многие старики, преданные любостыжанию, которые в стремлении воспитать из детей рачительных хозяев (massai) делают их людьми жадными и угодливыми, а поскольку сами богатство ценят выше чести, то обучают детей скверным ремеслам и низким занятиям. Я не хвалю такую щедрость, которая убытки не вознаграждала бы славой или дружбой, очень порицаю всякую скупость, и никогда мне не нравилась непомерная роскошь. Итак, пусть старики будут как бы общими всем молодым людям отцами, больше того — как бы умом и душой (anima) всего семейного организма. И подобно тому как необутые, голые ноги позорили бы и срамили вид всего человека, так старики и те, кто постарше, не уделяющие внимания любому, [хотя бы] самому последнему человеку в доме, да будет им известно, заслуживают великого осуждения, поскольку могли бы допустить позор и бесчестье семьи от какой-то ее части. Пусть помнят они, что в древности первым долгом считалась забота о каждом из домашних, как некогда у славных лакедemonян, которые рассматривали себя в качестве отцов и наставни-

достоинным и нетрудным для отца семейства своей степенностью сдерживать и полагать пределы чрезмерной разнузданности молодых людей; больше того, если кто-то захочет своим достоинством резко возвышаться в глазах младшего поколения, то будет делом весьма уместным и небесполезным поддерживать собой авторитет старости, который, я думаю, должен проявляться как раз в почтительном и уважительном к ней отношении. Старики же никаким другим способом не могут лучше обрести, укрепить и сохранить свой авторитет и достоинство, нежели проявляя заботу о молодежи, направляя ее на стезю добродетели, с каждым днем делая ее более знающей и подготовленной, более достойной любви и уважения и, таким образом, пробуждая в ней благороднейшие и возвышенные устремления, занимая изучением наилучших и наиболее похвальных предметов, зажигая в нежных душах любовь к славе и почету, укрощая всякое непристойное желание и малейшее достойное порица-

ков всех несовершеннолетних, так что каждый мог наказывать за все проступки любого своего молодого соплеменника, и были они очень рады и признательны кому бы то ни было, бравшемуся воспитывать их близких и родственников. И для отцов похвальным считалось платить благодарностью и признательностью всякому, сделавшему хоть что-нибудь для того, чтобы дети их стали воспитаннее и благоразумнее. Сим благим и наиболее полезным нравственным воспитанием они возвеличили свою землю и заслуженно прославили ее навеки. Ибо не было вражды там в их среде, где недоброжелательство и неприязнь, едва зарождающиеся, сразу искоренялись и устранялись, где царило одно-единственное, общее всем действительное желание насадить в своей земле добродетельность и благонравие. Об этом старались все, насколько хватало сил, таланта, упорства: старики — предостерегая, напоминая, сами подавая достойнейший пример, молодые — внимая [им] и подражая».

Если все эти и многие другие вещи, о которых мессер Бенедетто имел обыкновение вести речь, необходимы главе семейства, если забота о руководстве молодежью заслуживает наивысшего одобрения не только когда проявляют ее родители, но также и другие, пусть никто не сомневается, что долг мой, как и прочих отцов, всеми способами, приемами, доводами добиваться, дабы эти мои и чрезвычайно дорогие мне дети были как можно более достойны доверия, привязанности и забот родителей и иных людей. Таким образом, дети мои, вижу обязанность молодых людей в том, чтобы любить и слушаться стариков, уважать возраст и всех, кто старше, держать вместо отца, относясь к ним, как и полагается, с величайшей предупредительностью и почтением. Большой возраст предполагает многоопытность, а отсюда знание различных обычаев, различных типов поведения и людских душ; достигший его слышал, видел и обдумал бесконечное множество полезных вещей, а также великолепные средства защиты от любых превратностей фортуны. <...>

Посему, молодые люди, добродетельностью и благонравием старайтесь угодить родителям и своим старшим во всех вещах, приносящих вам похвалу и славу, а вашим близким — радость, удовольствие, доброе расположение духа. Словом, дети мои, следуйте добродетели, бегите пороков, почитайте старших, стремитесь снискать благорасположение к себе, жить свободно, счастливо, в почете и любви. Первый шаг к почету в том, чтобы добиться благорасположения и любви; первый шаг к благорасположению и любви в том, чтобы проявить свою добродетельность и порядочность; первый шаг к стяжанию добродетели в том, чтобы невзлюбить пороки, избегать дурных людей. Итак, нужно все время общаться с людьми хорошими, снискавшими себе одобрение и уважение, никогда не покидать тех, кто вам дал пример и науку, как усвоить и обрести добродетель и благонравие; вы должны любить и почитать их, радоваться, что все

знают их как людей беспорочных. Не надо быть ни упрямыми, ни грубыми, ни привередливыми, а также ни легкомысленными, ни суетливыми, но покладистыми, обходительными, расторопными и, насколько пристало в этом возрасте, благоразумными и серьезными; также старайтесь со всеми быть, насколько сумеете, любезными, а по отношению к старшим — почтительными и внимательными. Благовоспитанность, уравновешенность, скромность и воздержанность обычно заслуживают в молодых людях великой похвалы; почтительность же молодых людей по отношению к старшим всегда приятна и настоятельно необходима.

Я расскажу не для похвальбы, но лишь дабы снабдить вас домашними примерами, которые вы были бы более расположены выслушать и легче хранили бы в памяти, чем чужие. Я не припоминаю, чтобы там, где бывали наш брат Ричардо или какие-то иные из наших старших годами родичей, у меня когда-либо возникало желание быть замеченным сидящим ли, стоящим ли, не выказывая им величайшего почтения; во всяком многочисленном общественном месте меня могли видеть подле моих старших родичей стоящим наготове исполнить их приказание. Где бы я их ни увидел, я всегда поднимался им навстречу и обнажал голову, приветствуя их; а встретив их где-либо, я по моему обыкновению бросал любое занятие и товарищей, дабы присоединиться к старшим и почтительно их сопровождать. Я никогда не осмелился бы оставить их и вернуться к своим юным товарищам, если прежде не испрошено, как и у отца, позволение. И эти мои уважительность и послушание находили одобрение не только у стариков, но и у молодых людей; мне же казалось, что я выполняю свой долг, так как делать обратное, [то есть] не искать расположения, не ценить, не подчиняться старшим, я бы счел для себя постыдным и достойным порицания. И затем мне все время казалось, что по поводу всякой вещи я должен с Ричардо, как я всегда и делал, быть откровенным и советоваться, почитая его как отца, так мне запало в душу, что нужно чтить и отдавать должное возрасту.

Итак, следуя моему наставлению, будьте со старшими очень почтительны и, насколько в ваших силах, добродетельны. Не обращайтесь внимания, дети мои, на то, что [пути] добродетели могут показаться суровыми и нелегкими, отклонения же от них на первый взгляд легки и приятны. Ибо между ними обнаруживается огромное внутреннее различие: грех чреват в большей степени раскаянием, чем удовлетворением, мучением, чем наслаждением, ущербом, чем

NB По-моему, это важно. Дело не в том, что грех кем-то запрещен, а добродетель предписана: дело в том, что грех раньше или позже приносит тебе страдания, а добродетель — радость и мир.

Но как убедить в этом другого, неопытного человека, который в

наше время и не мыслят в категориях греха и добродетели? Грех он называет удовольствием и постоянно подвергается бесстыжей пропаганде греха.

Способ, наверное, один, давно известный: личный пример. Пусть твой ученик, или сын, или молодой друг видит, что ты действительно живешь нравственной жизнью и тебе от этого в самом деле лучше, чем другим.

пользой. Совсем наоборот добродетель — радостная, приятная, привлекательная, она всегда приносит тебе удовлетворение, никогда не печалит, никогда не пресыщает, день ото дня становится тебе все любезнее и нужнее. И сколь ты будешь благоденствен и здравомыслящ, столь же тебя будут ценить и превозносить, столь же благожелательно встречать добрые люди, столь же ты будешь наслаждаться этим в самом себе. А познав, что ты есть человек, и захотев, чтобы ничто человеческое тебе не было чуждо, ты, несомненно, обнаружишь в себе немалую толику истинного счастья. Одна лишь добродетель может сделать

блаженным и счастливым того, кто всеми своими помыслами и делами стремится держаться и соблюдать всякое наставление и указание, как отвалить от себя грехи, избегать дурных привычек и неподобающих вещей.

Я из тех, дети мои, кто хотел бы оставить вам в наследство скорее добродетель, чем всевозможные богатства; но это не в моей власти. Я всегда старался снабдить вас, считая сие для себя посильным, таким уставом, таким пособием, таким средством, с помощью которого вы могли бы достичь высокой славы, большого благорасположения и великого почета. Вам надлежит дать употребление разуму, дарованному вам природой, который, полагаю, не мал и не слаб, и совершенствовать его, изучая и упражняясь в хороших вещах, используя все богатство благородных наук и искусств. Состояние же, которое я оставляю вам, распределите и примените так, чтобы оно принесло пользу, следя вас любезными не только для своих, но и равным образом для всех чужих. И мне сдается, дети мои, вполне можно надеяться, что иной раз вы пожалеете о том, что нет меня в живых; может быть, вы испытаете трудности и лишения, каковые вас не так терзали бы, будь я рядом; ибо для меня не ново, на что способна фортуна с неопытными душами юношей нежного возраста, коим недостает совета и поддержки. Примером для меня является наш дом, в котором сполна здравого смысла, разума и опытности, твердости, мужества и душевной стойкости; тем не менее и он познал в этих наших превратностях власть, которой располагает неистовая и беззаконная фортуна над сколь угодно основательным советом, над сколь угодно твердым и хорошо воспитанным разумом. Но имейте крепкий и несокрушимый (intero) дух; в невзгодах обнаруживает себя добродетель. Разве кто-либо стойкостью своей души, постоянством своего ума, силой своего характера, своими умениями и изобретательностью

смог бы в спокойных и благоприятных условиях, при безмятежной и мирной фортуне так проявить себя и приобрести славное имя, как при непостоянной и враждебной? Посему побеждайте фортуна терпением, побеждайте беззакония человеческие преданностью добродетели, сообразуясь с велениями времени, будьте благоразумны и здравомыслящи, в нравы и обыкновения людские вносите целомудрие, человечность и умеренность, но главным образом все ваши дарования, умения, устремления и труды употребляйте прежде на то, чтобы быть, а затем уже выглядеть людьми добродетельными. <...>

Лионардо: Пусть, таким образом, я могу рассчитывать на вас, отцов, во всем. Постоянно вижу я, как природа повсюду спешит позаботиться о самосохранении всякой произведенной на свет вещи, которая от того, кто сотворил ее, получает питание и поддержку, дабы продолжать жить и обнаруживать свою пользу. Вижу я, как в растениях и деревьях корни добывают и передают питание стволу, ствол — ветвям, ветви — листьям и плодам. Поэтому, пожалуй, нужно считать естественным, что родители не пренебрегают ничем, лишь бы накормить и подкрепить тех, кто ими самими был рожден. И признаю за вами, отцы, обязанность иметь попечение и заботу о надлежащем прокормлении вашего потомства. Тебя сейчас я не спрашиваю, проявляется ли сия забота отцов в силу естественной необходимости или же по мере того, как рождается и растет в отцах любовь, возбуждаемая теми радостями и надеждами, которые возникают от лицемерия детей и их поступков; потому что совсем не редко можно видеть, что кто-нибудь одного своего ребенка любит больше, чем другого, и по отношению к тому, кто, пожалуй, мог бы ему показаться подающим большие надежды, будет более внимательным, щедрым и готовым угодить и поощрить. И можно видеть, как ребенок, о котором мало радеют, целые дни проводит далеко от дома, в чужих пределах, облаченный в лохмотья, терпя лишения, посреди опасностей и — что еще больше должно было бы не нравиться — становясь человеком неисправимо порочным. Давайте, однако, сейчас не будем пытаться рассматривать, как начинается, растет и заканчивается та или иная любовь. А также не будем исследовать, почему отцы в отношении своих детей проявляют неодинаковую любовь, поскольку вы могли бы мне ответить, что [всякая] ненормальность имеет своей причиной порчу природы и развращенность ума. Ведь та же природа, которая во всех вещах стремится к соответствию и совершенству, удаляет от порочных детей подлинную любовь и всецелое благорасположение отцов. Может также стать, что отцам было бы приятнее, если бы дети делали что-то похвальное, а не предавались неге и праздности в домашнем кругу; но, полагаю, тебе могло показаться, что это рассуждение затянулось...

И все же, желая не возразить тебе, но уяснить для себя, прав ли ты, когда утверждаешь, будто с самого рождения дети до-

ставляют отцам огромные неприятности, выскажу убеждение, что мудрый отец не должен был бы не только волноваться и печалиться, но даже и помыслы занимать весьма многими вещами, и в первую очередь теми, коими положено заниматься женщинам, скорее кормилице и матери, нежели отцу. Полагаю, что сей младенческий возраст целиком должен быть предоставлен женскому досугу, а не деятельной заботе мужчин. Что касается меня, то я из тех, кто никогда не будет тискать малышей и кто не желал бы видеть, как порой случается, отцов, слишком уж забавляющихся с ними. Безрассудны те, кто мало думает о бесконечных опасностях, подстерегающих малюток в жестких отцовских руках, ибо очень немного надо, чтобы повредить или искривить эти мягонькие косточки, и если пеленать их и заниматься с ними, не проявляя величайшей осторожности, то редко обходится без перелома или вывиха какого-либо члена, отчего подчас и появляются кособокие и кривоногие. Итак, сей ранний возраст пусть совсем не знает рук отца, пребывая и поживая на руках матери.

Следующий за этим возраст доставляет большую радость и вызывает веселый смех, ибо [детишки] уже начинают выговаривать слова, заявляя о своих желаниях. Их слушает весь дом, пересказывает вся округа, о них постоянно ведут радостно-шутливый разговор, сообщая и расхваливая то, что они сделали и сказали. Можно уже видеть, как у ребенка в этом возрасте, словно бы весной, всходят и обнаруживаются в лице, во внешнем облике, в словах, в манерах бесконечное множество добрых надежд, немалые признаки тончайшего ума и глубокой памяти, отчего все и говорят, что детки служат утешению и забаве родителей и старших. Не думаю, что найдется столь погруженный в дела, столь занятый мыслями отец, коему не принесло бы большую радость присутствие детишек. Катон, сей благородный муж древности, который был прозван мудрым и считался, как это и было, во всех отношениях суровым и неприступным, говорят, часто в течение дня бросал прочие свои дела, частные и общественные, сколь значительны они ни были бы, не раз возвращаясь домой вновь взглянуть на своих ребятишек; иметь детей ему не казалось делом неприятным и тягостным, напротив, он находил удовольствие и радость в том, чтобы видеть смех, слышать слова, наслаждаться всеми их ласками, полными великой простоты и нежности, которая запечатлена во всем облике этого чистого и сладостного возраста. Если на самом деле так, Адовардо, если заботы отцов и незначительны, и доставляют радость, и исполнены любви, благих надежд, смеха, шуток, веселья, тогда в чем же заключаются эти ваши неприятности? Полезно было бы узнать, что ты на это скажешь.

Адовардо: Я бы очень оценил, если бы ты сумел рассуждать доказательно, как до некоторой степени умею я. Меня весьма огорчаете вы, те нередкие среди Альберти молодые люди, кото-

рые не обзавелись наследниками, не увеличили, как то они могли бы, и не сделали более многочисленной семью. Что сказать? Что несколько дней тому назад я насчитал не менее двадцати двух молодых Альберти, живущих одиноко, неженатых, каждый из которых не младше шестнадцати, не старше тридцати шести лет. Конечно, я огорчен этим, ибо великий урон терпит наша семья, не досчитываясь такого числа детей, какое положено вам, молодым, было бы иметь; и я думаю, что скорее следует пожелать снести любой ущерб и любую неприятность, чем оставить семью без продолжения, не увидеть того, кто должен быть воспреемником места и имени отца. И поскольку я бы хотел, чтобы, в первую очередь, ты среди других стал тем, кто бы не только славой и именем, но также и похожими на тебя детьми пополнил и возвеличил семью Альберти, постольку я опасаясь убеждать тебя в чем-то, что заставило бы тебя колебаться, удерживая от этого. Так как, полагаю, очень близко тебе показал бы, что каждый [детский] возраст доставляет отцу немало неприятностей, совсем не легких и пустяковых, и ты бы понял, что любящие отцы уже с самого раннего периода жизни детей не всегда предаются с ними шуткам и смеху, но часто унынию и слезам. Ты также не стал бы отрицать, что отцов поджидают большие душевные потрясения, большие тяготы много прежде, нежели дети принесут им какую-либо радость или удовольствие. Много раньше нам надлежит позаботиться о том, чтобы подыскать хорошую кормилицу, очень постараться найти ее вовремя, удостовериться, что она не хворающая, не распутная; осмотрительно выбрать такую, которая была бы начисто лишена пороков и заблуждений, портящих молоко и кровь, а сверх того — убедиться, что она не принесет с собой в дом ни раздора, ни срама. Было бы долго рассказывать, какие предосторожности здесь от нас, отцов, были бы нужны, какие труды каждому следовало бы приложить, пока он найдет, как и полагается, хорошую, добронравную и пригодную кормилицу. Ты, пожалуй, и не поверишь, что за печаль, уныние и мучение охватывают душу, если не сумеешь найти кормилицу вовремя или же не сможешь подыскать подходящую, отчего кажется, что чем больше в подобных вещах нужда, тем всегда острее их нехватка. И тебе известно, сколь велика опасность [заразиться] от больной и распутной кормилицы проказой, падучей и всеми этими тяжелыми недугами, которые, как говорят, передаются через грудь; а также тебе известно, сколь редки хорошие кормилицы и какой на них спрос.

Но что же это я говорю обо всяких мелочах? Потому что мне очень дорого — [ведь] детей ты считаешь, чем, по правде говоря, они и являются, величайшей радостью для отцов — видеть этих веселых малышей вокруг тебя, как ты дивишься всякому их поступку и слову, придаешь всему этому большое значение, лелеешь в себе [на их счет] благие надежды. Одно обстоятельство, однако, может умалить эти радости и отяготить твою

душу куда более сильной и острой печалью. Рассуди сам, для того, кто переживает, видя, как дети плачут, если они случайно упадут и слегка ушибут ручку, сколь тягостно думать, что в этом возрасте более, чем в любом другом, ребятишки погибают. Поразмысли сам, как горестно ему каждый миг быть готовым лишиться такой радости. Более того, сей ранний возраст кажется мне избыточным всевозможными и немалыми неприятностями; кажется, что в нем дети словно бы только и болеют оспой, ветрянкой, краснухой, никогда не обходятся без несварения пищи и расстройства желудка, то и дело валяются с ног от недомогания и постоянно чахнут, мучаясь многими другими хворями, коих ни ты не можешь распознать, ни они сами не могут тебе назвать, отчего любой их незначительный недуг ты воспринимаешь как очень серьезный, и тем серьезнее, что ты в растерянности относительно того, какое средство можно было бы правильно и с пользой употребить против незнакомой болезни. Словом, любое самое малое страдание детей отзывается в душе отца величайшими мучениями.

Лионардо: <...> Если бы у меня были дети, то я бы не взял на себя труд искать иную кормилицу, чем их собственная мать. Мне приходит на память, как философ Фаворин у Авла Геллия, а также все другие древние отдавали предпочтение молоку матери перед каким-либо иным. Возможно, врачи воображают, что кормление молоком ослабляет матерей и доводит их иногда до бесплодия. Я же, однако, смею думать, что природой все было хорошо предусмотрено и, надо полагать, не без причины, но с большим умыслом устроено так, что с беременностью появляется в избытке и молоко, вроде как бы сама природа заботится о наших нуждах и подсказывает нам, чего детям ждать от матерей. Отступление от этого допустимо в случае, если бы жена на беду захворала; я бы позаботился о, как ты говоришь, хорошей, умелой и добронравной кормилице не для того, чтобы оставить жене побольше досуга, не для того, чтобы освободить ее от полагающихся в отношении детей обязанностей, но для того, чтобы обеспечить ребенку лучшее питание. И полагаю, что, помимо недугов, кои, по твоим словам, могут происходить от дурного молока, непорядочная и распутная кормилица сверх того действительно будет способна испортить нрав ребенка, склонить его к пороку, приучить его душу к безумным и животным страстям в роде вспыльчивости, трусливости, страха и им подобным. И полагаю, если у кормилицы будет буйный характер (*d'animo focoso*) то ли от рождения, то ли вследствие употребления слишком крепких и неразбавленных вин, то ли по иным горячащим душу причинам, и кровь ее будет разогрета и воспламенена, тогда, пожалуй, ребенку, который получит от нее столь горячее и обжигающее питание, легко достанется нрав, имеющий наклонность ко гневу, бесчеловечности, жестокости. Таким образом, нерадивая, злобного и тяжелого нрава корми-

ца может сделать ребенка вялым, слабым и боязливым; и это представляет чрезвычайную опасность для раннего возраста. Деревце, если неоткуда черпать потребное ему питание, и особенно поначалу, когда должно быть обилие воздуха и влаги, становится затем навсегда чахлым и болезненным. И доказано, что одна маленькая раночка нежному росточку приносит вреда более, чем два больших повреждения многолетнему стволу. Посему надобно очень заботиться о том, чтобы в этом юном возрасте питание было как можно лучше. Следует, в случае необходимости, приискать жизнерадостную и чистоплотную кормилицу, которой было бы несвойственно воспаление и буйство крови и духа, которая бы вела целомудренную жизнь, чуждую всяких излишеств и распустива; сии качества, как ты заметил, редки в кормилицах, посему тебе остается согласиться со мной, что, поскольку, конечно, матери целомудреннее и добронравнее любых кормилиц, постольку они более годны и гораздо более полезны для кормления своих собственных детей. <...>

Адовардо: Как тебе известно, я из тех, кто очень занят собиранием для своих детей таких вещей, кои в один миг fortuna может отнять не только у того, кому они переданы, но и у того, кто их приобрел. Хотя и сознаю, что мне было бы милей оставить моих детей скорее богатыми и состоятельными (*fortunati*), чем бедными, и я очень хочу и, насколько в моих силах, стараюсь завешать им такое состояние, при котором они мало нуждались бы в чужих милостях, ибо мне ведомо, насколько нищета не может справиться со своими лишениями без помощи других. Не верь, однако, чтобы отцы, если даже они не страшатся смерти и бедности детей, жили бы беспечно. А на кого возложена обязанность воспитать их в благонравии? На отца. Кто обременен заботой о том, чтобы приохотить их к наукам и добродетели? Отец. На ком огромная ответственность наставить их тому или иному знанию, ремеслу, искусству? Опять же на отце, как тебе известно. Добавь к этому великое попечение отцов о выборе рода деятельности, науки, образа жизни, которые наиболее соответствовали бы натуре ребенка, репутации семьи, обычаям страны, имеющемуся богатству, характеру времени, существующим условиям и возможностям, ожиданиям сограждан. Не терпит страна наша, чтобы кто-нибудь из ее [обитателей] слишком возвышался благодаря военных победам. И правильно, потому что для древней нашей свободы возникла бы угроза, если бы кто-нибудь, пожелав при благожелательном отношении и сочувствии других граждан осуществить в государстве свои замыслы, воспользовался бы угрозой и силой оружия, дабы добиться того, к чему склоняет его воля, чем манит его fortuna, что предлагают и обещают ему данный момент и наличные условия. Также не слишком ценит наша страна людей образованных; напротив, кажется, что вся она скорее одержима любостыжанием и жадной богатства. То ли та-

ковы условия страны, то ли природа и привычка (consuetudine), [унаследованные от] предков, но создается впечатление, что все [ее жители] смолоду усваивают ремесло наживы, что все их разговоры сводятся к тому, как бы сэкономить, что все их помыслы направлены на то, как можно получить прибыль, что всякой своей деятельностью они стремятся скопить побольше богатств. Не знаю, может быть, к этому мы, тосканцы, расположены воздействием небес, как говорили древние: ведь поскольку Афины небо имели чистое и ясное, то и уроженцы их отличались утонченностью и острым умом; в Фивах же небо было плотнее и не такое светлое, поэтому фиванцы были грубее и менее сообразительны. По мнению некоторых, карфагеняне, занимая засушливую и бесплодную страну, должны были для удовлетворения своих нужд поддерживать связи и отношения со многими соседними и отдаленными народами, отчего стали сведущими и умелыми во всякого рода хитростях и плутовстве. Позволительно, пожалуй, также думать, что обыкновения и привычки предков сохраняют силу и продолжают жить в наших гражданах. Подобно Платону, этому князю философов, который пишет, что нравы лакедемонян были всецело воспламенены жадной победой, я считаю, что в нашей земле небо производит людей, хорошо чувствующих, где пахнет наживой, что [свойства] местности и [общепринятые] обыкновения прежде всего возбуждают в них желание не прославиться, но приумножить и сберечь имущество, стяжать богатство, коим они надеются лучше защитить себя от нужды и немало возвыситься среди сограждан. А если дело обстоит подобным образом, то как же забеспокоятся отцы, которые найдут, что сыновья их более усердны в учении или воинских занятиях, чем в добывании и накоплении денег! Разве не столкнется в душе их стремление следовать [принятым] в стране нравам с желанием осуществить свои великие надежды? Разве мало будет терзать отцов необходимость пренебречь пользой и славой детей и своей семьи? Разве не будет очень тяжело у них на душе оттого, что, гнушаясь недоброжелательства и зависти своих сограждан, они не смогут, как им хотелось бы и надлежало, направить дитя на путь той или иной достохвальной добродетели? Сейчас я не в силах вспомнить все наши печали, и, пожалуй, было бы очень долгим и чересчур занудным делом тебе их описывать одну за другой. Ты мог уже вполне убедиться, что дети родителям доставляют неимоверное множество неприятностей и тягот.

Лионардо: <...> Я согласен с тобой, что более, чем кто-либо другой, именно отцы должны руками и ногами, всеми силами, всем своим старанием и благоразумием стремиться, насколько в их возможностях, к тому, чтобы дети были благовоспитанны и добропорядочны, как потому, что это на пользу самим детям — благовоспитанность в молодом человеке ценится не менее, чем богатство, — так еще и потому, что этим они послужат украше-

нию и славе своего дома, отечества и самих себя. Благовоспитанные дети — похвальное свидетельство усердия их отцов. И считается, если не ошибаюсь, что для отечества лучше иметь граждан добродетельных и порядочных, нежели очень богатых и могущественных. И, разумеется, распущенные дети для отцов, не лишенных здравого смысла и не глупых, должны быть величайшим несчастьем не столько потому, что им отвратительна бесчестность и подлость детей, сколько потому, что — и в этом нет сомнений — испорченный сын многими способами навлекает на отца немалый позор, так как всем известно и понятно, насколько в воле отца семейства воспитать свою молодежь в целомудрии, благонравии, добродетельности. Не думаю, чтобы нашелся человек, ставший отрицать, что отцы могут сделать детей какими только пожелают. И как хороший и усердный наездник сделает кротким и послушным жеребенка, коего другой, нерадивый и не столь проворный, не сумеет взнуздать, так же и отцы заботливым обращением воспитают своих детей в добронравии и благоразумии. Посему не минуют великого порицания за нерадивость те отцы, дети коих будут отличаться не порядочностью, но распутством и злодейством.

Словом, первая забота и мысль старших [членов семьи] будет, как уже сказал Лоренцо, о том, чтобы молодежь их была сколь можно более украшена добродетелью и благими нравами. Между прочим, я бы посоветовал отцам в том, что касается детей, скорее иметь в виду благо семьи, чем суждение толпы, ибо в нем для добродетели, которую нужно любить и поощрять, нет места и укрытия. Поэтому я бы делал так, как ритор Аполлоний из Алабанды: если юноши не казались ему вполне способными к красноречию, он, дабы они не тратили у него зря времени, отпускал их заниматься теми вещами, которые им наиболее подходили бы по природе. Пишут также о гимнасофистах — живущем на Востоке народе, почитавшемся у индийцев столь мудрым, что они воспитывали новорожденных не по воле и желанию отца, но по решению и усмотрению этих признанных мудрецов, в обязанности которых входило, наблюдая за рождением и [телесным] обликом ребенка, выносить суждение, насколько и к чему он более всего пригоден; к этому, по рекомендации сих умудренных старцев, ребенка и приучали. Если же дети оказывались для добропорядочной деятельности неприспособленными и негодными, то не находилось и человека, готового взять на себя расходы и труды [по их содержанию]; как сказывают, их бросали, а иногда топили. Таким образом, пусть отцы определяют ребенка к тому, к чему он пригоден, пусть внемлют они оракулу Аполлона, который ответил Цицерону: «Следуй, прилагая труд и старание, туда, куда влекут тебя твоя природа и твой талант». И если дети оказываются готовы и способны к добродетели, к божественным деяниям, к наукам и достойным искусствам, к военным победам и славе, пусть они на-

чинают заниматься, упражняться и изучать все эти вещи, стараясь с самого раннего возраста к ним приобщиться. К чему в детстве привыкнешь, с тем и останешься. А если вдруг либо по природным задаткам, либо по уму, либо по [телесной] силе, либо же по здоровью дети не будут пригодны к чему-нибудь значительному, им следовало бы давать упражнений поменьше и более легких, и пусть всегда им будут предлагаться упражнения достойные, доблестные, мужественные, которые они были бы в состоянии выполнить. А если дети не будут подходить и годиться для сих похвальных занятий, не будет от них пользы и в другом, пусть отцы поступают, как те гимнасофисты: пусть утопят их в алчности, сделают стяжателями, воспаляя молодых людей жадной не славы и чести, но золота, богатства...

Адовардо: Это нас и угнетает, Лионардо, ибо мы не знаем наверное, какой путь был бы для наших детей наиболее доступен, а равно не можем как следует распознать, куда их влечет природа.

Лионардо: Я думаю, что для наблюдательного и заботливого отца не составило бы большого труда угадать, какая деятельность и какие подвиги манят и привлекают детей. <...>

Не стоит сейчас говорить, сколь полезно и необходимо упражняться в любом возрасте, и прежде всего юношам. Посмотри, насколько крепче и здоровее ребятишки, воспитанные в деревне, [привычные] к труду и солнцу, по сравнению с нашими, росшими в бездействии и не на открытом воздухе, которым, по словам Колумеллы, даже смерть более ничего не в состоянии добавить непривлекательного. Такие они бледненькие, худенькие, с темными кругами под глазами, плаксивые. Поэтому полезно приучать детей к труду — как для того, чтобы были они крепче, так еще и для того, чтобы не оставлять их в бездействии и неподвижности, — [а также] ко всему, что подобает мужчине. И еще я одобряю тех, кто приучает детей терпеть стужу без головного убора и босиком, долго бодрствовать ночью, подниматься с постели до восхода солнца и кто в остальном дает им только то, что требует достоинство и что необходимо, дабы развить и закалить тело. Словом, детей следует приучать к подобным тяготам, тем самым делая их, насколько возможно, мужественными; однако скорее так, чтобы тяготы более шли на пользу и не приносили бы вреда, чем чтобы они были без вреда, но и без пользы. Геродот, сей древний грек, прозванный отцом истории, пишет, что после победы персидского царя Камбиса над египтянами были на месте сражения собраны останки многих убитых, которые, хотя затем со временем перемешались одни с другими, можно было легко распознать, поскольку черепа персов раскалывались от малейшего удара, черепа же египтян были весьма прочны и выдерживали удар любой силы; и объясняет сие большей изнеженностью персов, ходивших с покрытой головой, тогда как египтяне уже с детства приучались

всегда оставаться — и под палящими лучами солнца, и под дождем, и росистым вечером, и ветреной ночью — с непокрытой головой. Рассматривая, какие следствия имел этот обычай, он говорит, что среди египтян почти нельзя было встретить лысых. Ликург, сей мудрый царь лакедемонян, установил, чтобы сограждане его с малых лет привыкали не к нежностям, но к трудам, не к веселому времяпрепровождению на площадях, но к обработке полей в деревне и воинским упражнениям. Он очень хорошо знал, сколь великих результатов в любом деле можно достичь упражнениями! А среди нас разве нет таких, которые стали ловкими и сильными, хотя раньше были слабыми и ни на что не годными, таких, которые упорными упражнениями сумели сделаться превосходными бегунами, прыгунами, метателями

В *С этим утверждением согласятся современные психологи и педагоги. Но есть вопрос для педагогики — важнейший, над которым, скорее всего, не задумывались в XV веке. Это — вопрос мотивации.*

Никто ведь не принуждал шепелявого Демосфена к трудным и малоприятным упражнениям с галькой!

Человек немощен — но «кто-то в нем» может пожелать сделаться добрым и сильным. Еще того труднее: человек порочен — но «кто-то высший в нем» выскует чистоты и готов противостоять привычным порокам.

Может, это и есть главная задача гуманной педагогики: не столько развивать и совершенствовать другого человека, в соответствии со своими мерками, сколько пробуждать в нем самом — «того, кто» займется саморазвитием, самосовершенствованием?

Во всяком случае, в педагогике искусства невозможно судить о том,

копья, стрелками из лука, хотя раньше во всем этом были несведущи и беспомощны? Разве с помощью упражнений не сделал легкой и гибкой свою речь афинский оратор Демосфен, который, от природы имея невнятный, шепелявый выговор, набивал рот мелкой галькой и громким голосом декламировал на берегу моря? Это упражнение так помогло ему, что не было впоследствии оратора, которого слушать было бы более приятно, чем его, который бы говорил так же чисто и выразительно, как он...

Несомненно, итак, что упражнением тела, а также и ума можно достигнуть весьма многого, всего того, чего мы пожелаем, сообразуясь с разумной мерой. И конечно, упражнение способно не только вялого и немощного сделать бодрым и сильным, но даже более — безнравственного и порочного сделать добропорядочным и воздержанным, слабого духом сделать сильным, ненадежную память сделать весьма крепкой и цепкой. Не будет [в человеке] такого необычного и затверделого свойства, которое в считанные дни не исправили и целиком не искоренили бы великое усердие и старание. Пишут, что Стилпон, мегарский философ, от природы был склонен к пьянству и сластолюбию, но упражнениями в добродетели и науках он сумел победить свою на-

чего ученик может достичь, пока он сам этого не хочет, пока в нем не проснулся и не начал действовать «потенциальный художник». (Я говорю не только о будущих профессионалах, но и о полноценном художественно-эстетическом развитии каждого человека.) Поэтому первая проблема педагога — проблема мотивации. Особенно в общеобразовательной школе, куда приходят дети, которым искусство пока не нужно.

туру и стать, как никто другой, добродетельным. Вергилий, сей наш божественный поэт, в молодости был женолюбив, и подобное сообщают обо многих других, кои имели поначалу в себе какой-нибудь порок, в последующем же исправлялись старательными упражнениями в достохвальных вещах. Метродор, древний философ, живший во времена Диогена-киника, добился путем упражнения и привычки того, что мог не только в точности пересказать слова, произнесенные сразу многими, но и воспроизвести тот же их строй и порядок. Что мы скажем об Антипатре Сидонском, который, в результате долгих упражнений освоив гексаметры и пентаметры, лирические, комические, трагические

и иных типов стихи, имел обыкновение, рассуждая на любой предложенный предмет, слагать их и произносить непрерывно один за другим без малейшей подготовки загодя? Ему, долго упражнявшему свой ум в стихосложении, легко и доступно было то, что менее поднатренившим знатокам (*eruditi*) [этого дела] нынче представляется трудным, даже если у них есть время для предварительного обдумывания. И если, упражняясь, можно овладеть вещами сложными, кто усомнится в великой силе, которая заключена в упражнении? Сие было хорошо известно пифагорейцам, которые упражнением укрепляли память, вспоминая ежевечерне все, что сделано за день. И, пожалуй, то же самое было бы полезно детям — повторять каждый вечер выученное днем. Я помню, как часто наш отец, и не имея в том нужды, посылал нас с поручениями ко многим лицам только ради того, чтобы поупражнять нашу память, а также часто желал узнать наше мнение по многим поводам, стремясь оживить и развить в нас ум и способность суждения, и очень хвалил, дабы подогреть наше честолюбие к соревнованию, тех, кто отвечал лучше.

Итак, многими способами отцам можно, даже необходимо испытывать способности своих детей, все время внимательно наблюдать за всем их образом поведения и особенностями, и тех, кто выкажет мужественность и благовоспитанность, выделять среди других и хвалить, тех же, кто обнаружит леность и похотливость, исправлять, задавая им столько упражнений, сколько требуется. Говорят, что выполнять физические упражнения сразу после еды вредно. Подвигаться перед принятием пищи и немного поработать не вредно, но переутомляться не стоит. Упражнять добродетелью ум и душу в любое время, в любом месте и по любому поводу всегда заслуживает высшего одо-

брения. И пусть эта обязанность вызывает у отцов не досаду, но скорее радость. Ты отправляешься на охоту в лес, устаешь, обливаешься потом, ночь проводишь на ветру, в холоде, день — на солнце и в пыли, чтобы видеть, как идет преследование и поимка [зверя]. А разве меньше радости видеть, как два или более дарования соревнуются в стяжании добродетели? А разве меньше пользы в твоей в высшей степени похвальной и праведной заботе о том, чтобы наделить и украсить твоего ребенка добронравием и благовоспитанностью, нежели в том, чтобы, возвращаясь [с охоты] усталым и потным, принести какую-то дичь? Словом, пусть отцам доставляет удовольствие направлять детей по пути добродетели и славы, побуждать их к состязанию в добропорядочности и чествовать победителя; пусть они радуются, имея детей, усердствующих и алчущих заслужить почет и уважение.

Адовардо: Мне доставляет удовольствие, Лионардо, твое красноречие, и по душе каждая твоя мысль; и я очень одобряю сии упражнения, коими, признаю, исправляются пороки и укрепляются добродетели. Однако определенно, Лионардо, я либо не умею сказать, либо не в состоянии как следует объяснить то, что думаю. Беспокойства и труды отцовства не столь уж малы, не столь уж легки, не столь радостны и приятны, как, возможно, тебе кажется. И что я могу? Дети растут, наступает время заставить их, как ты говоришь, обучаться добродетели. Отцы же к этому не готовы, а, пожалуй, из-за великой занятости и не способны; их душа и мысли поглощены чем-то другим, у них нет возможности оставить все свои прочие общественные и частные дела, дабы образовывать и воспитывать детей. Потому-то здесь надобен наставник, [а значит,] надобно, чтобы ты слышал, как дети орут, видел их в синяках, сеченных розгами и частенько, когда в том есть необходимость, сам их наказывал поркой. Но эти вещи, я знаю, кажутся тебе пустяками, ибо ты не ведаешь сколь чувствительна и сострадательна любовь и привязанность отцов. Кроме того, в дальнейшем дети могут оказаться жадными, негодными, лживыми и порочными. [Однако] сейчас я не хочу, [да и] не мог бы, не печалясь, припомнить все наши тяготы. <...>

Лионардо: Кому не известно, что наибольшую пользу для детей должна заключать образованность? Столь великую, что человек даже благородного происхождения, если он не имеет образования, непременно будет выглядеть неотесанной деревенщиной. Я бы предпочел молодых людей из хороших семей гораздо чаще наблюдать с книгой в руках, нежели с соколом. Мне совсем не нравится обыкновение, усвоенное некоторыми людьми, полагающими, что вполне достаточно уметь подписаться и подсчитать, какую сумму тебе предстоит выручить. Очень по душе мне старый обычай нашего дома: почти все Альберти были людьми весьма образованными. <...>

Итак, в семье, особенно нашей, которая всегда резко выделялась во всех отношениях, и в первую очередь образованностью, мне кажется, необходимо воспитывать молодежь таким образом, чтобы она росла не только годами, но и ученостью и знаниями — не менее ради всяческих выгод, кои образованность дает семье, нежели для продолжения этого нашего стародавнего и доброго обычая. Пусть в семье нашей продолжают следить, чтобы молодые люди в соответствии с делами и обычаями предков получали все то огромное удовлетворение, какое им обещает образованность через познание замечательных и необыкновенных вещей; и пусть отцы радуются, если дети становятся многознающими и учеными. А вы, молодые люди, не жалейте, как вы и делаете, труда для освоения наук, будьте старательны. Пусть вам доставляет удовольствие знание дел минувших и заслуживающих памяти; пусть пойдет вам впрок разумение добрых и весьма полезных преданий; наслаждайтесь, питая ум изящнейшими мыслями; пусть будет вам в радость украшать душу прекрасными нравами; старайтесь в общении с согражданами поражать необыкновенной любезностью; стремитесь к познанию дел человеческих и божественных, кои с полным основанием доверены наукам. Нет такого сладостного, такого гармоничного соединения голосов и мелодий, которое могло бы сравниться с соразмерностью и изяществом стихов Гомера, Вергилия и любого другого прекрасного поэта. Нет такой приятной и такой яркой манеры повествования, которая бы заключала в себе столько же сладости и красоты, сколько рассуждения Демосфена, [Марка] Туллия, [Тита] Ливия, Ксенофонта и других им подобных упоительных и совершенных во всех отношениях ораторов. Ни один труд не приносит такого вознаграждения, — если [только сие можно] скорее назвать трудом, а не развлечением и отдохновением души и ума, — как чтение и перечитывание разных хороших произведений. В нем ты найдешь в изобилии примеры, кладезь мыслей, разнообразие убеждений, сильные аргументы и доказательства, ты заставишь слушать себя, тебе охотно будут внимать граждане, будут восхищаться тобой, прославлять и любить тебя.

Я не продолжаю, так как слишком долго было бы говорить, насколько образованность не просто полезна, но необходима для тех, кто главенствует и правит; не стану описывать, как ею украшается государство. Мы, Альберти, вынуждены предать забвению — так сейчас распорядилась наша фортуна — наши прежние славные деяния, полезные для государства, известные и одобренные согражданами; [здесь, на общественном поприще] хорошо потрудились наша семья, насчитывавшая великое множество образованных и мудрых людей, которыми всегда славилась семья Альберти по сравнению со всеми другими. Если есть какая-то вещь, которая вместе с воспитанностью была бы прекрасна, или которая являлась бы великим украшением челове-

ческой жизни, или которая приносила бы семье расположение [других], влияние и известность, то наверняка ею является образованность, [ибо] без оной никого нельзя считать истинно воспитанным человеком, без оной редко кого можно назвать счастливо живущим, без оной даже невозможно помыслить совершенной и прочной семьи. И мне приятно похвалить здесь, Адовардо, в присутствии этих молодых людей образованность, которую они почитают в высшей степени. И конечно же, Адовардо, я полагаю, что образованность нравится и тебе, мила и твоим родичам, полезна же она всем людям и весьма необходима при любых условиях жизни.

Словом, пусть отцы побуждают детей к весьма прилежному занятию науками, пусть обучают их правильно разуметь и писать, пусть не думают, что обучили их, если те не целиком овладели чтением и письмом. И, пожалуй, почти одно и то же — плохо знать что-то и совсем этого не знать. Далее, пусть они изучают арифметику, а заодно также и геометрию в той мере, в какой она может быть полезна; обе эти науки посильны и привлекательны для детского ума и могут весьма сгодиться во всяком деле и возрасте. Потом пусть вновь наслаждаются поэтами, ораторами, философами. Особенно же надо следить за тем, чтобы у ребят были неравнодушные преподаватели, добрым нравам наставляющие их в не меньшей мере, чем наукам. Для меня было бы важно, чтобы мои [дети] привыкли к хорошему авторам, изучали грамматику по Присциану и Сервию [Онорату], близко познакомились не с [разного рода] извлечениями и популярными пересказами, но прежде всего с [Марком] Туллием, [Титом] Ливием, Саллюстием, у которых замечательные и выдающиеся писатели с самого начала обучения постигали совершенство красноречия и великое изящество латинского языка. С умом, как говорится, обстоит так же, как и с сосудом: если наполнишь его однажды дурной жидкостью, он затем навсегда сохранит в себе ее запах. Посему нужно избегать всех этих неумелых и грубых писателей и следовать за теми, кто приятен и сладостен, имея их под рукой, постоянно перечитывая и декламируя, заучивая на память. Я не отрицаю учености какого-либо знающего и обстоятельного писателя, однако больше предпочитаю хороших писателей, и поскольку их в изобилии, мне не нравится, чтобы обращались к плохим. Латинский язык следует искать у кого он чист и совершенен; у других авторов пусть черпают другие науки, коими те занимались.

И да будет известно отцам, что образованность никогда не бывает во вред: напротив, в любом деле она всегда приносит немалую пользу. Каждый из большого числа образованных людей, коими, конечно же, наш дом был славен, в силу своей образованности оказывается чрезвычайно пригоден к [различным] другим занятиям. А насколько осведомленность в науках всегда всем помогала в стяжании славы и предприятиях, сейчас нет

нужды рассказывать. Не надо думать, Адовардо, будто я хочу, чтобы отцы держали детей постоянно, словно галерников, за книгами; напротив, я за то, чтобы молодые люди в мере, потребной для восстановления сил, устраивали развлечения. Но все их игры да будут мужественными, благопристойными, не заключающими в себе ничего порочного и предосудительного. Пусть занимаются теми похвальными упражнениями, кои употребляли благородные люди древности. Почти ни одна игра, при которой нужно сидеть, мне не кажется достойной мужественного человека. Людям пожилым, пожалуй, какая-то и позволительна, шахматы и им подобные развлечения для подагриков, но никакая игра без упражнений и физической нагрузки (*fatica*) мне не представляется приличествующей для здоровых людей. Пусть они оставят юношей, не желающих [ничего делать], пусть оставят женщин, которые [только и знают] сидеть и предаваться лени, сами же займутся упражнениями, развивают тело и все его члены: пусть метают стрелы, ездят верхом и участвуют в других мужественных и благородных состязаниях. У древних была в чести стрельба из лука, и правители находили удовольствие в том, чтобы появляться на публике с луком и колчаном, хорошее владение которыми писателями вменялось им в заслугу. Сказано о великой искусности в стрельбе из лука цезаря Домициана, будто бы он, используя в качестве цели поднятую руку [поставленного поодаль] мальчика, пускал стрелы с такой меткостью, что они проходили в промежутки расставленных пальцев. Среди нашей молодежи распространена игра в мяч, известная издревле и развивающая ловкость, коя заслуживает одобрения в человеке благородного звания. Мячом часто забавлялись великие государи, и среди прочих Гай Цезарь, очень любивший эту превосходную игру: он так, пишут, ею увлекался, что, [однажды] проиграв Луцию Цецилию сто [сестерциев], дал ему пятьсот. На это Луций сказал ему: «Что ты мне дал бы, если бы я играл только одной рукой, а не двумя, и ты остался бы доволен?» Также и Публий Муций [Сцевола], и Октавиан Цезарь, и Дионисий — царь Сиракуз, и многие другие именитейшие люди и государи, коих было бы долго перечислять, имели обыкновение заниматься упражнениями с мячом. Мне было бы по душе, если бы молодые люди упражнялись в верховой езде, в обращении с оружием, умели бы скакать, преодолевать препятствия, вовремя останавливать коня, — дабы в случае необходимости послужить отечеству против его врагов. С целью приобщить молодежь к воинским занятиям древние устраивали троянские игры, великолепно описанные Вергилием в «Энеиде». Среди государей римлян были удивительные наездники. Цезарь, по рассказам, пускал коня во весь опор, заложив руки за спину. Помпей, будучи шестидесяти двух лет от роду, на полном скаку метал дротики, вытаскивал и вновь вкладывал в ножны меч. Мне бы также хотелось, чтобы наши ребята сызмальст-

ва начинали вместе с науками обучаться сим упражнениям и благородным навыкам, не только нужным в жизни, но и похвальным: верховой езде, фехтованию, плаванию и всем подобным вещам, незнание которых часто вредит в зрелом возрасте. И если ты поразмыслишь над этим, то обнаружишь, что все названные мною вещи необходимы для нужд гражданской жизни и таковы, что в юном возрасте их без большого труда и весьма быстро осваивают, в зрелом же — им, пожалуй, полагается быть среди первых доблестей.

Адовардо: <...> Но предположим, Лионардо, у тебя есть дети. Скажи, когда они, взрослая, стали бы, как ты и хотел бы, скромными и послушными и ты бы усомнился, как часто бывает, лишь в том, что ребенок твой не в полном соответствии с твоим желанием способен и пригоден к той высокой доблести и похвальным занятиям, кои, по словам Лоренцо, могут доставить семье славу и благополучие, — какими тогда были бы твои мысли? Не может каждый быть Лионардо, или мессером Антонио, или мессером Бенедетто. Кто вроде тебя выкажет природную расположенность и приверженность ко всем похвальным вещам? Обо многих вещах больше любят говорить, чем делать. И верь мне, Лионардо, у отцов есть другие, более сильные [печали]; сия, пожалуй, может показаться незначительной, но она, конечно, не из легких печалей и тягот, ибо все время ты терзаешься страхом, как бы не выбрать и не принять дурное решение.

Лионардо: Если бы у меня были дети, несомненно, я бы думал о них, но думы эти не были бы печальными. Прежде всего меня заботило бы, чтобы дети мои росли в благодравии и добродетели и любое занятие, пришедшееся им по вкусу, понравилось бы и мне. Всякое занятие, если оно не бесчестно, не будет во вред благородной душе. Занятия, приносящие честь и славу, свойственны людям достойным и благородным. Согласен с тобой, что никто не способен на [все] то, чего хотели бы [от него] отцы; но мне больше по нраву тот, кто преследует вещи, которых он мог бы достичь, нежели тот, кто устремляется к непосильному для него. Кроме того, считаю, что больше заслуживает одобрения тот, кто, пусть и не преуспев во всем, [к чему стремился] делал все, на что был способен, нежели тот, кто ничем в жизни не занят, ленив и бездеятелен. Старая поговорка, часто звучащая в разговорах, гласит: «Бездеятельность — кормилица порока». Тяжело и неприятно видеть тратящего попусту время, вроде того ленивца, который на вопрос, что заставляет его, словно приговоренного, целый день сидеть или лежать на лавках, ответил: «Я хочу разжиреть». И всякий, слышавший ответ, ругал его и просил оставить свиньям сие занятие, дабы по крайней мере была от этого какая-то польза. Таким образом, ему справедливо было показано, что ленивым быть еще хуже, чем свиньей.

Более того, Адовардо, сколь богат и знатен ни был бы отец, ему непременно следовало бы подумать о том, чтобы сын усво-

ил не только заслуживающие похвалы добродетели, но и какое-нибудь ремесло не из числа низких, дабы при неблагоприятном повороте фортуны он мог бы достойно прожить трудом своих рук. Неужели непостоянство фортуны в этом мире столь нечасто и столь незначительно, чтобы мы посмели усомниться [в возможности] несчастливых обстоятельств? Разве не видели в Риме, как сын македонского царя Персея трудился в мастерской, перепачканный с ног до головы, и платой за свою работу едва-едва удовлетворял свои нужды? Если переменчивость вещей может вот так сына великого и могущественного царя свергнуть в крайнюю бедность и нужду, то нам, частным людям, как и правителям, весьма необходимо предусмотреть всякий поворот фортуны. И если никто из наших никогда не занимался каким-либо ручным ремеслом, то благодарить за это надо фортуны и постараться на будущее, чтобы оно не потребовалось. Мудрый и предусмотрительный кормчий, дабы выстоять, случись буря, имеет парусов, канатов и якорей в большем запасе, чем их нужно при хорошей погоде. Словом, пусть отцы проявят заботу о том, чтобы дети полюбили какое-то занятие из наиболее похвальных и полезных. И в нем пусть они прежде всего ищут достоинство, потом исходят, зная ребенка, из того, чтобы он скорее мог трудом своим и умом снискать немалое одобрение.

Адовардо: Это, Лионардо, одна из тех вещей, которые отцам часто смущают души, так как им известно, сколь многим опасностям и случайностям подвергаются юные и младшие члены их семьи; и им хотелось бы иметь на все случаи прекрасное и действенное средство. Но бывает нередко, что дети всякий совет отклоняют вызывающе и заносчиво, и как бы отцы ни старались, они не в силах помочь. И очень часто из-за перенесенных тягот, из-за бедности случается отцам возбранять для своей молодежи те благородные искусства и упражнения, занятие которыми обещало детям славу и одобрение. Отчего в душе мы, отцы, постоянно испытываем большой страх, то как бы сын не отказался следовать добрым наставлениям, благодаря которым он, став взрослым и живя по своей воле, будет настойчивее в достижении своих целей и увереннее в своих силах, то как бы фортуна не прервала начатый им путь к известности и величию. Словом, если кто постоянно терзается в себе всеми этими подозрениями и кто все время опасается переменчивости фортуны и нравственной нетвердости молодых людей, подобно отцам, тревожащимся за детей, то как можно приписывать ему радость или называть его счастливым?

Лионардо: Я не понимаю, Адовардо, почему у заботливого отца могли бы быть заносчивые и дерзкие дети, если только ты не имел в виду, что он начал проявлять заботливость не раньше, чем сын его стал совсем порочным. Если отец будет всегда бдителен, будет стараться предупредить появление пороков и ревностно искоренять их, увидя, что они уже произросли, и бу-

дет осторожен и предусмотрителен, чтобы не дожидаться, когда порок станет столь великим и столь бросающимся в глаза, что пятном бесчестия он мог бы покрыть и очернить весь дом, то, определенно полагаю, такому отцу не придется подозревать детей в заносчивости и неповиновении. И если все же порочность по нерадению и бездеятельности отца произрастет и пустит глубокие корни в одном из его отпрысков, то, по моему мнению, ему ни в коем случае не нужно от него отказываться, чтобы не причинить ущерба своему благосостоянию и доброму имени. Он не удалит, не прогонит сына от себя, как делают иные во гневе и раздражении, так что молодые люди, исполненные порочности, любящие своевольничать, во всем испытывающие нужду, предаются вещам гадким, гибельным, позорящим их и их близких. Но прежде всего отец семейства будет внимательно и заботливо выявлять всякое возгорание порочных страстей в каждом своем ребенке и сразу же примет меры к тому, чтобы загасить все искорки порочности, ибо позже потребуются больше труда, боли и слез для ликвидации разбушевавшегося пламени.

Существует поговорка: «Лиха беда — начало». Пусть отец с самого раннего возраста начинает наблюдать и замечать, куда влечет сына, и пусть запрещает ему следовать по пути, который малопохвален и небезопасен. Пусть родители не допускают в детях раздражительности, не позволяют им усваивать всякого рода дурные и бесстыдные нравы. Пусть отцы стараются всегда выглядеть именно отцами, предстают не ненавистными, но строгими, не чересчур добродушными, но человечными. И каждый отец пусть помнит, что власть, держащаяся на силе, всегда менее прочна, чем та, которая основана на любви. Никакой страх не может длиться слишком долго, любовь же длится очень и очень долго. Со временем страх убывает, любовь день ото дня непрерывно растет. Итак, кто будет столь безумен, чтобы полагать необходимым выказывать себя во всех отношениях суровым и строгим? Строгость без человечности возбуждает скорее ненависть, нежели почтительность. Чем более человечность снисходительна (*facile*) и чужда всякому жестокосердию, тем более она заслуживает благорасположения и доброго отношения. Я не говорю о внимательности, каковая, сдается, более приличествует нраву тирана, чем отца, — показывать, что слишком вникаешь во все. Эти строгости к суровости способны наполнить молодых людей негодованием и злобой по отношению к старшим куда больше, нежели послушанием. И благородные души усматривают зло для себя, если обходятся с ними не как с сыновьями, но как с рабами. Иногда старшим лучше на что-то закрыть глаза, нежели не исправлять то, что они явно знают. И менее вредно для ребенка, если он думает, что отец не ведает о чем-то, чем если он убедится в отцовском попустительстве. Кто приучается обманывать отца, еще легче будет злоупотреблять доверием чужих людей. Всеми силами, итак, пусть и при-

сутствующие и отсутствующие стремятся к тому, чтобы младшие считали их отцами. Прежде всего этому будет способствовать внимательность. Благодаря ей тебя всегда будут любить и почитать твои [домашние]. Все же если отец теперь в награду за прошлое свое небрежение ими обнаружит, что кто-то вырос негодяем, пусть он в душе своей положит скорее не называть того сыном, чем видеться с ним — дурным и бесчестным человеком. Наши превосходные законы, обычаи нашей страны, мнение всех добрых мужей предусматривают в этом плане подходящее средство. Если сын твой не желает тебя иметь отцом, ты вправе отказаться иметь его сыном. Если он тебе как отцу не повинуется, будь с ним несколько суровее, чем с тем, кто послушен. Скорее предпочти наказать негодника, чем обесславить дом. Меньше горюй, когда кто-то из твоих [детей] заточен в темнице и в оковах, нежели когда недруг твой на свободе, находится ли он дома или вне его позорит тебя перед всеми. Великим твоим недругом станет тот, кто будет доставлять тебе боль и печаль. Конечно же, Адовардо, кто вовремя и не жалея внимания будет заниматься своими детьми, как ты твоими, тот ни в каком возрасте не увидит от детей своих ничего иного, кроме большого уважения и почтения, всегда будут приносить они ему удовлетворение и радость. Добродетель детей — в отеческих заботах; столько в детях благонравия и почтительности, сколько отцы и старшие желают того. Послушания и повиновения детей старшим не убавится, если не возрастут бездеятельность и нерадивость самих старших. <...>

Книга третья: хозяйственная

Дав нам пояснения насчет многого в приведенных выше беседах из того, что у Карло и у меня вызывало сомнение или что мы не очень хорошо запомнили, Лионардо принялся безмерно расхваливать нас за усердие, которое Карло и я выказали минувшей ночью, составляя краткие заметки по поводу услышанных от него днем ранее рассуждений. В этот момент неожиданно появился Джанноццо Альберти, справедливо уважаемый всеми за величайшее свое человеколюбие и нравственную чистоту. Он пришел поведать Риччардо. Поприветствовав нас, Джанноццо поинтересовался, как поживает Лоренцо и насколько его ободрил приезд брата. Лионардо принял гостя очень почтительно. <...>

Лионардо: Сколько таких вещей, которые вы имели обыкновение делать молодым, а теперь, в старости, делать не станете! И сколько других вещей нравится вам сейчас, которые тогда вам, пожалуй, не казались привлекательными.

Джанноццо: Много, мой Лионардо. Мне помнится, когда я был молод, устраивались в те годы, в счастливое для нашего

отчества время, рыцарские турниры или подобные им публичные состязания; это-то и было предметом большого несогласия между старшими членами моей семьи и мной, поскольку всеми силами я хотел принимать в них участие наряду с другими, дабы показать, на что я способен. С великой славой и почестями возвращались с них те, кто принадлежал к нашему дому. Я радовался им, но одновременно меня печалило, что я не в их числе, не подвергал себя опасностям и ничего, в отличие от них, не заслужил. <...> Ты бы засмеялся, если бы я стал тебе рассказывать, на какие хитрости я шел не раз, дабы получить разрешение старших, без коего ничего не мог бы сделать. Я прибегал к помощи посредников, родственников, друзей. Говорил, будто обещал участвовать, находился и такой, кто заверял, что я поклялся друзьям. Ничто не помогало. По этой причине, бывало, их я любил менее, чем должно. Я хорошо понимал, что они так поступают, ибо я им слишком дорог и они, любя меня, опасаясь, как бы со мной не приключилась какая-нибудь беда, ведь даже людям весьма крепкого сложения и великой доблести — их телу или чести — случается терпеть урон. Тем не менее я на них досадовал за то, что они отговаривали меня и очень противились этой моей благородной страсти. Еще более меня огорчала мысль, что делают они это бережливости ради (*per masserizia*), поскольку были, как тебе известно, рачительными хозяевами (*buoni massaiotti*), каковым и я теперь стал. Но тогда я был молод и тратил не скупясь.

Лионардо: Нынче же?

Джанноццо: Нынче, мой Лионардо, я стал благоразумнее и считаю безумцем того, кто транжирит свое состояние. Человек, не испытавший на себе, сколь горестно и двусмысленно положение, когда в нужде приходится искать помощи у других, не ведает всю пользу денег. И кто не знает, какими трудами они добываются, легко их тратит. А кто не соблюдает меры в расходах, тот обычно очень быстро становится бедным. Бедняк же, дети мои, подвергается в этом мире всевозможным лишениям и напастям, и, пожалуй, лучше умереть, чем, бедствуя, жить несчастливо. Так что, мой Лионардо, поговорку наших крестьян я проверил на себе и готов тебе доказать собственным опытом ее совершенную правоту: «Кто не находит денег в своем кошельке, куда менее их сможет найти в чужом». Дети мои, нужно быть людьми хозяйственными и остерегаться, как смертельного врага, излишних трат.

Лионардо: Однако, Джанноццо, я не думаю, что при таком ограничении расходов вам хотелось бы быть или казаться скардным (*avago*).

Джанноццо: Боже меня сохрани! Ничто так не вредит доброй славе и благорасположенности [к тебе] людей, как скардность. Найдется ли какая-нибудь столь чистая и благородная добродетель, которая бы не была затемнена до неузнаваемости скард-

ностью? Внушает великое отвращение то, что души людей крайне прижимистых и скупых пребывают постоянно в терзаниях и большой тревоге, то беспокоясь о приумножении состояния, то печалься по поводу каких-то произведенных расходов; а эти неприятности обязательно происходят со скупыми. Никогда не вижу их радостными, никогда не наслаждаются они [хоть] чем-нибудь из своего добра (*delle sue fortune*).

Лионардо: Кто не хочет выглядеть скаредным, должен быть широким в тратах.

Джанноццо: А кто не хочет выглядеть безумцем, тот должен быть рачительным (*massaio*). Ведь если Бог нам в помощь, разве Он не хочет, чтобы мы скорее были рачительными, нежели широкими в тратах. <...> Всякая трата, не вызванная большой необходимостью, может иметь своим источником, по-моему, только безумие. И если кто помешается на какой-то вещи, тогда он непременно является помешанным вообще, ибо претендовать на то, чтобы быть помешанным [лишь] в некотором роде, — это всегда значило быть помешанным вдвойне и как-то особенно. Но оставим в стороне все эти вещи, столь малозначительные по сравнению с другими, о которых мы сейчас будем говорить. Подобные расходы на пиршества и достойный прием друзей раз или два в год могут быть произведены и сами являются наилучшим лекарством, так как кто единожды их отведал, тот, если только не будет не в себе, вторично, думаю, их нести не пожелает. Ты и сам, Лионардо, поразмышляй здесь вот о чем. Есть ли что-нибудь более способное разрушить не только семью, но и город, и страну, нежели люди... как зовете вы их в ваших книгах, тех, кто тратит без удержу?

Лионардо: Расточительные.

Джанноццо: Зовите их как вам угодно. Если бы мне предстояло заново дать им имя, я бы назвал их по недугу, который Бог им уделяет. Очень порочные сами, они портят других. <...> Ради краткости скажу так: насколько дурна расточительность, настолько же хороша, полезна и похвальна хозяйственность (*masserizia*). Хозяйственность никому не вредит и приносит выгоду семье. И, доложу тебе, только хозяйственность дает достаточную возможность, чтобы существовать и никогда ни в ком не нуждаться. Святая хозяйственность, сколько похотливых желаний, сколько бесчестных домогательств поборола она! Расточительная и сластолюбивая молодежь, мой Лионардо, без сомнения, всегда была необыкновенно способна на то, чтобы довести до гибели любую семью. Хозяйственные и рачительные старики являются спасением семьи. Стать хозяйственным можно не иначе, как держась в душе своей дивного и утешительного убеждения, что жить надо честно тем, что даровала тебе fortuna. И кто живет, довольствуясь тем, что имеют, по моему мнению, не должны считаться алчными. Воистину алчными являются те самые транжиры, которые, не зная удержу в тратах, так никогда и

не могут насытиться приобретением и добыванием в разных местах того или этого. Не подумай, однако, чтобы мне была любя чрезмерная прижимистость. И все же убеждение мое таково: мне кажется, что великого порицания заслуживает отец семейства, который ведет себя не как хозяин, но скорее как мот.

Лионардо: Если транжиры вам, Джанноццо, не нравятся, то кто не тратит, вам должен нравиться. Алчность, хотя бы она и заключалась, как утверждают эти мудрецы, в непомерной страсти приобретательства, также предполагает и нежелание тратить.

Джанноццо: Рассуждаешь правильно.

Лионардо: И все же алчность вам не по нраву.

Джанноццо: Да, очень.

Лионардо: Тогда что же такое эта ваша хозяйственность?

Джанноццо: Ты знаешь, Лионардо, что я человек необразованный. Больше на основе собственного жизненного опыта, чем со слов других, постигал я вещи, и мысли свои я вывел скорее из наблюдения действительности, чем с помощью чужих рассуждений. И пусть один из тех, кто целые дни проводит в ученых занятиях, мне скажет: «Дело обстоит таким образом», я ему, однако, не поверю, если не увижу очевидной причины (*casione*), которая меня скорее убеждала бы, что дело именно так, нежели обязывала бы признавать это. И если кто-то другой — не из ученых — укажет мне сию причину, я поверю ему, пусть он даже не дает ссылку на авторитет подобно тому, кто черпал бы для меня свидетельства из книг; ибо, полагаю, кто бы их ни сочинял, был он, как и я, человеком. Так что сейчас, пожалуй, я не сумею ответить тебе столь же правильно, как ты, целый день не выпускающий книги из рук, смог бы ответить мне. Однако, Лионардо, те транжиры, о коих я только что говорил, не нравятся мне, поскольку тратят они нерасчетливо, и скаредные у меня также не вызывают симпатии, потому что они не расходуют вещи, когда это необходимо, а еще потому, что именно они слишком много хотят иметь. Знаешь, какие люди мне нравятся? Те, которые расходуют ровно столько, сколько необходимо, и не более; излишек они откладывают. Их я зову хозяйственными.

Лионардо: Понятно, — те, кто умеют держаться середины между слишком малым и слишком большим.

Джанноццо: Да, именно.

Лионардо: Но как узнать, когда слишком много, когда слишком мало?

Джанноццо: Легко, если руководствоваться установленной мерой.

Лионардо: Горю нетерпением узнать, что это за мера.

Джанноццо: Установить ее очень просто и очень полезно, Лионардо, позаботившись, чтобы все расходы не были крупнее и обременительнее того, что обусловлено необходимостью, но и не менее того, что требует достоинство (*la onesta*).

Лионардо: О, Джанноццо, насколько больше пользы в делах этого мира от такого вот, как вы, человека опытного и практического, чем от ни в чем не искушенного книжника! <...>

Джанноццо: Я говорил, что хозяйственность состоит не менее в том, чтобы как следует использовать вещи, нежели в том, чтобы сберегать их; не так ли? Что касается времени, то я стараюсь употреблять его умело, никогда не теряя попусту. Использую время, насколько в моих возможностях, для похвальных занятий, не уделяю его вещам низменным, на любое дело я расходую времени не больше, чем требуется, чтобы исполнить оное как следует. И дабы не терять ни малейшей доли времени, представляющего великую ценность, я установил себе за правило никогда не сидеть без дела, уклоняться от сна, доколе не свалит в постель изнеможение, ибо считаю постыдным без сопротивления быть повергнутым или, по примеру многих, сложить оружие до схватки. Словом, я бегу от сна и безделья, постоянно чем-то занимаясь. Дабы дела не путались и по этой причине не оказалось потом, что, начав несколько, я не закончил ни одного, или же при таком образе действий мне не привелось бы осуществить то, что похуже, и пренебречь лучшими занятиями, знаете, дети мои, что я делаю? Утром, прежде чем встать, я задаю себе такой вопрос: чем предстоит мне сегодня заниматься? Такими-то вещами; перебираю их в памяти, обдумываю и каждой определяю время: это утром, то днем, а вот то другое вечером. Так, по порядку, я исполняю всякое дело почти без напряжения. Мессер Никколайо Альберто, человек весьма проницательный и деятельный, обычно говаривал, что, по его наблюдениям, радельный человек шествует всегда неспешно. Возможно, кажется, что в действительности совсем иначе, но мой собственный опыт убеждает в его правоте. У нерадивого ускользает время, отчего нужда или желание его торопят. Упустив момент, он должен в спешке и напрягаясь делать то, что в свое время, раньше, сделать было легко. И запомните, дети мои: любую вещь, сколь обильна и легкодоступна она ни была бы, крайне сложно будет заполучить, если пропущен подходящий для этого момент. Злаки, травы, ягоды, цветы, плоды и все другое ты легко достанешь, когда наступает их время; когда оно проходит, ты их можешь обрести с превеликим трудом. Посему, дети мои, нужно учитывать время, соответствующим образом его распределяя так, чтобы для дела никогда не пропадало ни часу. Я мог бы вам рассказать, сколь драгоценно время, но об этом следовало бы вести речь в другом месте, располагая более изысканным слогом, более сильным умом, более основательной образованностью, нежели моя. Я только призываю вас не терять времени. Поступайте так же, как и я. Утром устанавливаю себе распорядок дня, днем выполняю, что мне положено, а затем вечером, прежде чем отправиться на отдых, припоминаю совершенное за день. И если обнаруживается, что какая-то вещь сле-

лана не так и можно было бы сейчас же ее поправить, я немедленно этим занимаюсь; ибо готов пожертвовать скорее сном, чем временем, подходящим для дел. Сон, еду и тому подобное можно наверстать, взяв свое и завтра, а вот упущенное время не вернешь. Впрочем, мне крайне редко приходится — если я хорошо распределяю мои дела, каждому отвоевывая его время, и не буду затем исполнять их небрежно, — повторять, крайне редко и почти никогда мне не приходится в таком случае упускать или откладывать что-нибудь мне нужное. И если случится, что в какой-то момент я ничего не способен поправить, я извлекаю для себя урок на будущее, дабы подобным же образом не терять более времени. Словом, как вы уже слышали, я [стараюсь] давать не иначе как хорошее употребление сим трем вещам — душе, телу и времени. С ними я обхожусь очень рачительно и, насколько в моих силах, бережно и распорядительно, ибо их я почитаю, как они того достойны, самыми дорогими и гораздо более свойственными мне, чем что-либо иное. Богатство, власть, состояние принадлежат не человеку, отнюдь, а фортуне, так-то; и постольку они принадлежат человеку, поскольку фортуна позволяет ему пользоваться ими.

Лионардо: А тем, что фортуна таким вот образом вам уделила, вы распоряжаетесь по-хозяйски?

Джанноццо: Лионардо, не по-хозяйски распоряжаться тем, что мы используем как свое, было бы нерадивостью и ошибкой. Да, блага фортуны наши настолько, насколько она нам их уступает, а также — насколько мы умеем их использовать. <...>

Лионардо: И что бы вы сделали? Как бы вы стали хозяйствовать?

Джанноццо: Как можно лучше, ведя покойную жизнь, не обремененную тягостными заботами. Про себя я бы так подумал: ну-ка, Джанноццо, покажи, чем оделила тебя фортуна. Ее милостью у меня есть дом, семья, имущество, верно? И что-то еще? Да. Что? Слава и благорасположение других людей.

Лионардо: Может быть, вы, как иные из наших сограждан, считаете, что слава приобретается должностями и положением?

Джанноццо: Ничего подобного, мой Лионардо; ничего подобного, дети мои. Мне кажется, что нет ничего менее достойного принести человеку славу, чем должность и положение. А знаете, дети мои, почему? Как потому, что мы, Альберти, чужды теперь мечтаний о них, так и потому, что я сам из тех, кто никогда их не ценил. Любая другая жизнь мне всегда нравилась много больше, нежели та, которую ведут, скажем так, государственные мужи. И кому бы она могла понравиться? Жизнь крайне беспокойная, вся в подозрениях, трудах, угодничестве. Какое отличие ты усмотришь между теми, кто изнуряет себя для государства, и обществеными рабами? Тут ты что-то затеваешь, там ищешь покровительства, перед этим гнешь спину, с тем ведешь борьбу, а того другого обижаешь: много подозрений и зависти,

нескончаемая вражда, ненадежная дружба, щедрые посулы, широкие предложения, все исполнено притворства, суетности, лжи. И чем больше тебе нужно, тем с большим трудом ты сможешь найти человека, который бы по отношению к тебе хранил верность и держал обещание. И таким образом с твоим разорением, с твоими горестями и обязательно с твоим падением пропадают в один миг все твои труды и надежды. И если же тебе после бесконечных домогательств выпадет какая-то удача, что все-таки ты

NB *Аналогии до того очевидны, что не хочется, да и неприятно рассуждать на ту же тему 600 лет спустя. Перефразируя излюбленных гуманистами древних, все течет, но, как видно, не все меняется.*

Но стоит отметить, что позиция персонажа, выступающего в этом диалоге в амплуа «благородного отца», разумна, о убедительна и не так уж далека от христианской этики: не цени чрезмерно все то, что сейчас — твое, а завтра будет отнято временем и судьбой; не старайся овладеть тем, над чем потом придется «трястись» и что будет притягивать к тебе дурные мысли, чувства и дела людей. Твои внутренние достоинства — вот что действительно ценно, их и фортуна не отнимает.

Пожожие мысли встретились нам у Пикколомини; к ним будет постоянно возвращаться Леонардо, напоминая, что художник (а мы скажем сегодня: и не только художник), который подчиняет свое творчество целям обогащения, встает на гибельный путь.

смог бы посчитать своим приобретенным? Вот ты занимаешь должность. Какую выгоду ты от этого имеешь, кроме разве того, что можешь почти свободно грабить и насильничать? Здесь на тебя обрушиваются постоянные жалобы, бесчисленные обвинения, великие смуты, а вокруг тебя всегда роятся люди склочные, алчные, бесчестные, которые слух твой наполняют подозрениями, душу — жадностью, ум — страхом и волнениями. Тебе приходится забывать о своих собственных делах, чтобы заниматься теми, которые запутали другие. То нужно привести в порядок государственные налоги и расходы; то принять меры на случай войны; то подтвердить и возобновить законы; всегда находится множество связанных друг с другом дел и обстоятельств, в коих ни тебе одному, ни вместе с другими никогда не дозволено поступать так, как тебе бы хотелось. Каждый считает свои стремления честными, свои суждения — заслуживающими одобрения, свои мнения — лучше других. Уступая общему заблуждению или чьему-то высокомерию, ты бесчестишь себя; стремясь услужить и понравиться одному, ты вызываешь неудовольствие ста. О, одержимость, которой не ведают, несчастье, которого не бегут, зло, которое не ненавидят, как оно того заслуживает; и, мне сдается, все потому, что лишь сей тип рабства предстает облаченным неким достоинством. Ах, глупость людей! Они так любят шествовать с трубачами впереди и тростью в руке, что предпочита-

ют это своему покою в домашнем кругу и подлинному умиротворению души. <...> Для меня достаточно быть и казаться человеком добрым и праведным, что никогда не навлечет на меня бесчестья. Лишь такая репутация (опоганза) остается со мной в изгнании и останется, доколе я ей не изменю. Другие исполнены суетного тщеславия, когда к ним благоволит фортуна, становятся высокомерными, пользуясь властью, печалются, если у них ее нет, трепещут в страхе ее утратить, приходят в уныние, ее потеряв, в то время как нас, довольствующихся тем, что имеем сами, и никогда не зарившихся на чужое, не огорчит, если мы не обладаем какой-либо общественной властью или же теряем то, что нами совсем не ценилось. И кто будет ценить это рабство, эти тяготы и бесконечные терзания души? Дети мои, будем тверды в своем выборе и постарайтесь стать хорошими и праведными хозяевами. Будем счастливы с нашей семьей, наслаждаться теми благами, кои подарила нам фортуна, уделяя часть их нашим друзьям, ибо великое почтение внушает человек, живущий беспорочно и честно...

О ЗОДЧЕСТВЕ*

Книга шестая: об украшениях

Глава первая

О трудности и отличительных свойствах предпринятого сочинения, причем автор отмечает, сколько труда, заботы и старания было затрачено при его написании

ОБ ОЧЕРТАНИЯХ и материале сооружений, о строительных работах и о том, что относится к сооружению священных и светских зданий, как сделать их способными выносить вредные воздействия непогоды и соответствующими своему назначению, сообразно условиям времени, места, людей и вещей, мы трактовали в предшествующих пяти книгах с прилежанием, насколько ты мог видеть из этих книг, таким, что ничего большего и желать не остается по части изложения подобного рода вещей, с трудом, о боги, большим, чем я мог предположить, приступая к работе. Ибо встречались частые затруднения и при разъяснении вещей, и при изобретении названий, и при изложении содержания, — затруднения, которые меня отпугивали и удерживали от начатого. С другой стороны, разум, побудивший меня приступить к сочинению, склонял и убеждал продолжать. Ибо я сожалел, что столь многие, столь прекрасные наставления писателей погибли от несправедливости времен и людей, так что едва ли не один Витрувий дошел до нас после такого великого корабле-

*Печатается по: *Альберти Л.-Б.* Десять книг о зодчестве: В 2-х т. Т. 1. М.: Изд. Всесоюзной академии архитектуры, 1935.

крушения, — писатель, без сомнения, образованнейший, но настолько испорченный и искалеченный временем, что во многих местах многое утрачено, а во многих еще большего не сказано. Случилось это потому, что он писал неотделанно. Ибо он говорил так, что римлянам казался греком, а греки полагали, что он говорит по-латыни, на деле же оказывается, что он не был ни римлянином, ни греком. Ведь в самом деле тот, кто написал так, что мы его не понимаем, все равно как если бы для нас все и не писал.

Остались и древние образцы вещей, сохранившиеся в храмах и театрах, из которых так же, как от лучших наставников, много можно научиться. И не без слез видел я, как они день ото дня разрушаются.

А те, кто строили в наши времена, прельщались скорее новыми безумствами суетности, чем прекраснейшими чертами прославленных произведений. Посему, и этого никто отрицать не будет, вскоре эта, так сказать, отрасль жизни и познания совершенно погибнет. Вот почему я не мог не помышлять часто и долго об описании этих вещей. Размышляя же о таких великих вещах, достойных, полезных и необходимых в жизни человеческой, встававших передо мною, пишушим, я решил, что нельзя пренебречь ими, и счел обязанностью мужа доброго и прилежного попытаться спасти от гибели эту отрасль знания, которую мудрейшие предки ставили всегда так высоко. Но я колебался и не мог решиться, продолжать или лучше прервать. Победила любовь к моему сочинению и приверженность наукам, и то, чего в достаточной мере не могло обеспечить дарование, то выполнили пламенное рвение и невероятное прилежание. Не было нигде ни одного хоть сколько-нибудь прославленного произведения древних, в котором я не стал бы тотчас доискиваться, нельзя ли чему научиться. Я никогда не пропускал случая испытывать, рассматривать, измерять, зарисовывать, дабы все, что кто-либо привнес умом или искусством, охватить и постичь. Таким образом я облегчал труд писания страстью и наслаждением изучения. И, конечно, воедино собрать, надлежащим образом рассмотреть, в соответствующем порядке расположить, точным языком описать и достоверными доказательствами подтвердить вещи, столь разнообразные, столь несходные, столь разбросанные, столь чуждые писательским привычкам и знаниям, — все это дело большей способности и учености, нежели та, которую я мог бы приписать себе. Я, однако, ничуть не раскаиваюсь, если мне удалось достичь того, чего я хотел, а именно, чтобы читающие меня признали, что я в большей степени хотел быть доступным, чем казаться красноречивым. Как это трудно при изложении подобного рода предметов, опытные люди знают лучше, чем неискушенные могут подозревать. И, думаю, написанное нами мы написали так, что ты не откажешься назвать это латынью и признать, что это достаточно вразумитель-

но. Точно так же и в дальнейшем мы будем поступать в меру наших сил. Из трех частей, относящихся к зодчеству вообще, а именно о том, что сооружаемое нами должно быть пригодно для пользования, вовеки прочно и во всех отношениях причастно прелести и приятности, закончены первые две части; остается третья, самая достойная из всех и совершенно необходимая.

Глава вторая

О красоте и украшении, о том, что из них проистекает и чем они между собою разнятся. О том, что следует строить по строгому правилу искусства.

О том, кто является отцом и пестуном искусства

Прелесть и привлекательность считают целиком проистекающими из красоты и украшения, основываясь на том, что нельзя найти человека столь несчастного и столь косного, столь грубого и неотесанного, который не восхищался бы прекрасными предметами, не отдавал бы предпочтения наиболее украшенным, не оскорблялся бы безобразными, не отвергал бы всего неотделанного и несовершенного и не признавал бы, что в той мере, в какой вещи не достает украшения, в той же мере в ней отсутствует всё, придающее ей прелесть и достоинство. Достойнейшей, следовательно, является красота, и к ней прежде всего другого следует стремиться, в особенности тому, кто хочет, чтобы принадлежащее ему было изящно.

В какой степени наши предки, мудрейшие мужи, считали, что к этому нужно прилагать старания, указывают и их законы, и военное дело, и богослужение, и вся их общественная жизнь. Поистине невероятно, как они заботились о том, чтобы все было украшено, словно полагая, будто жизненнонеобходимое, лишившись убранства и блеска украшений, станет чем-то безвкусным и пресным. Без сомнения, взирая на небо и на чудесные дела богов, мы более дивимся богам потому, что видим красоту этих дел, нежели потому, что чувствуем их пользу. Зачем мне продолжать? Сама природа, и это можно видеть всюду, непрестанно испытывает высочайшее наслаждение от красоты, не говоря уже о тех красках, которые она создает в цветах. И если украшения где-нибудь нужны, то, конечно, в здании, и от здания нельзя их отнять никак, не оскорбляя и знатоков, и невежд. Ведь почему мы так возмущены бесформенным и неслаженным нагромождением камней, и чем оно больше, тем больше мы порицаем расточение средств и браним безрассудную страсть наваливать камни? Обеспечить необходимое — просто и нетрудно, но где постройка лишена изящества, одни лишь удобства не доставят радости. К тому же то, о чем мы говорим, способствует и удобству, и долголетию. Ибо кто не согласится, что среди украшенных стен жить удобнее, чем среди стен неотделанных? И что можно сделать путем человеческого искусства настолько

прочным, чтобы оно было вполне ограждено от разрушения людьми? Только красота добьется от неприязненных людей того, что они, умерив свой гнев, оставят ее нетронутой, и, осмелею сказать, ничем здание, пребывая невредимым, не будет ограждено от человеческого разрушения более, чем достоинством и красотой. К этому нужно приложить всю заботу, все старания,

В *А что значит — «хуже» или «лучше»? Кто и как это подтвердит? Красота существует, но нехватишь ее логическим определением или количественной мерой — «отчетливее пойдем чувством». Вопрос актуален по сей день: как «объективно» оценить художественное произведение? Можно ли разработать ГОСТы творческого развития? Как «научно» измерить одаренность ребенка?*

Никак. Ничем не заменить вкусовую оценку, то есть то, что у нас называется экспертным или художественным советом, жюри, решением «компетентных судей» и т.д.

И не надо пытаться заменить! В этой области понимающий человек, «эксперт» — мера вещей, может, и несовершенная, но лучшая из всех возможных что во времена Альберти, что в наши дни, что в будущем.

с этим соразмерить издержки, дабы то, что ты делаешь, было и полезно, и удобно, в особенности же украшено, становясь тем самым чрезвычайно привлекательным, и дабы смотрящие одобряли, что средства были затрачены именно на это и ни на что иное.

Что такое красота и украшение и чем они между собою разнятся, мы, пожалуй, отчетливее пойдем чувством, чем я могу изъяснить это словами. Тем не менее совсем кратко мы скажем так: красота есть строгая соразмерная гармония всех частей, объединяемых тем, чему они принадлежат, — такая, что ни прибавить, ни убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже. Великая это и божественная вещь, осуществление которой требует всех сил искусства и дарования, и редко когда даже самой природе дано произвести на свет что-нибудь вполне законченное и во всех отношениях совершенное. «Как редок, — говорит некто у Цицерона, — в Афинах прекрасный эфеб». Этот ценитель красоты понимал, что есть некий недостаток или излишек в вещах, им не одобряемых, и что только украшение может исправить в этих юношах то, что не согласно с требованиями прекрасного. Наруманиваясь и прикрывая свои недостатки, причесываясь и приглаживаясь, они сделались бы

красивее, так что все неприглядное в них менее бы отталкивало, а все привлекательное более радовало.

Если это так, то украшение есть как бы некий вторичный свет красоты или, так сказать, ее дополнение. Ведь из сказанного, я полагаю, ясно, что красота, как нечто присущее и прирожденное телу, разлита по всему телу в той мере, в какой оно прекрасно, а украшение скорее имеет природу присоединяемого, чем прирожденного.

Далее мне нужно сказать следующее. Кто строит так, что ждет одобрения сооружаемому им, — а этого должны хотеть все, кто имеет ум, — тот, конечно, руководится правилами. Ибо делать все по определенному правилу — отличительная черта искусства. А правильную и заслуживающую одобрения постройку — кто будет это отрицать — можно сделать лишь на основе искусства. И конечно, если та часть, которая относится к красоте и украшению, первая среди тех, то, без сомнения, для этой части будет строгое и устойчивое правило и искусство, пренебрегая которыми человек будет совершенно безрассудным. Впрочем, некоторые с этим не согласны и говорят, будто то, посредством чего мы судим о красоте и о всем здании, есть некое смутное мнение и будто форма зданий разнообразится и меняется в зависимости от произвола, который не обуздывается никакими правилами искусства. Общий порок всякого невежества — говорить, будто то, чего не знаешь, и не существует вовсе. Я считаю нужным рассеять это заблуждение; однако не считаю необходимым подробно распространяться о том, из каких начал проистекли искусства, какими правилами они руководствовались и что питало их рост. Стоит упомянуть только, что отцами искусств, как говорят, были случай и наблюдение, пестунами же искусства — практика и опыт, а познание и рассуждение питали его рост. Так, говорят, на протяжении тысячелетий тысячами тысяч людей изобреталась медицина и также мореплавание, и почти все искусства подобного рода развивались медленно и постепенно.

Глава третья

О том, что зодчество пережило юность в Азии, расцвет у греков, а совершенную зрелость у италийцев

Насколько мы можем судить по указаниям древних, зодчество первое, так сказать, изобилие своей юности излило на Азию, затем расцвело у греков, наконец достигло совершеннейшей зрелости в Италии. Мне думается, зодчество развивалось так: цари, наслаждаясь притоком богатств и покоем и озираясь на себя, на свои сокровища, на величие и пространность державы, поняли, что им нужны более обширные кроны и более величественные стены, и начали исследовать и собирать все необходимое для их сооружения; и для того, чтобы жить в больших и величественных зданиях, они стали класть крыши из самых крупных деревьев и из дорогого камня возводить стены. Эти сооружения вызывали удивление и восхищение; а затем, может быть, увидев, что обширные сооружения получают похвалу, цари решили, что первая их обязанность — делать то, что недоступно частным лицам, и, находя удовольствие в огромных размерах зданий, они стали все ревностнее состязаться друг с другом, дойдя до безумия постройки пирамид. Я полагаю также, что

практика зодчества дала им повод многократно наблюдать, какая разница строить на основе таких, а не иных чисел, в таком, а не ином порядке, положении и виде, и, находя удовольствие в более изящном, они научились избегать всего того, что менее гармонично. За ними последовала Греция, прославленная учеными мужами, которая, пылая страстью к украшению себя, заботилась о сооружении как других зданий, так и особенно храмов. Она начала внимательнее рассматривать сооружения ассириян и египтян, поняв, что в подобного рода вещах большую похвалу, чем царские сокровища, получает рука художников. Ведь суметь сделать большое — дело людей богатых, а сделать то, чего не будут порицать знающие, — дело людей, достойных похвалы. Потому Греция, поставив себе эту задачу, в возводимых ею сооружениях пыталась превзойти дарованиями ума тех, с кем она не могла сравняться дарами Фортуны. Она начала почерпать и извлекать из недр природы все искусства, в том числе и зодческое, и старалась и стремилась это искусство усвоить проницательным разумением. В чем разница между зданиями, которые нравятся, и теми, которые не нравятся вовсе, она ничего из этого в своих изысканиях не забыла. Всё она испробовала, направляясь и устремляясь по стопам природы. Сочетая равное с равным, прямое с изогнутым, явное с более скрытым, она заметила, что от этого, как от брака мужчины и женщины, происходит нечто третье, много обещающее для предпринятого дела; и она не переставала даже в мелочах вновь и вновь рассматривать отдельные части, как соответствует правое левому, стоящее — лежащему, близкое — далекому; прибавляла, убавляла, уравнивала большее с меньшим, сходное с несходным, первое с последним, пока не установила, что одно хорошо в тех сооружениях, которые незыблемо должны стоять веками, другое — в тех, которые делаются только для временного услаждения. Так поступали они.

Италия по присущей ей бережливости сначала решила, что в здании все должно быть не иначе, чем в живом существе. Ибо, например, в лошади она видела, что это животное наиболее пригодно для тех именно целей, за которые хвалят форму его членов, и оттого считала, что прелесть формы никогда не бывает отделена или отчуждена от требуемой пользы. Но, превратившись в мировую империю, Италия воспылала не меньшим, чем Греция, рвением к украшению города и всей страны, и менее чем через тридцать лет, тот дом, который был в Риме прекраснейшим, оказался даже не на сотом месте. И так как она изобиловала невероятным количеством дарований, подвизавшихся на этом поприще, то в одном Риме, как я читал, одновременно было семьсот зодчих, произведения которых мы едва ли можем достаточно восхвалить по заслугам. А когда силы империи возросли настолько, что стали вызывать всеобщее удивление, некий Тацит, говорят, на частные средства соорудил для жителей

Остии термы с сотней нумидийских колонн. И таким-то образом они любили сочетать размах могущественнейших царей с древней бережливостью — так, чтобы и бережливость не причиняла ущерба пользе, и польза не шадилась средств, но всегда применялось бы всё, что можно придумать для пышности и красоты. Никогда не ослабляя старания и рвения к строительству, жители Италии сделали искусство зодчества столь явным, что в нем не оставалось ничего потаенного, скрытого, темного, чего нельзя было бы исследовать, прояснить, сделать доступным для всех с помощью богов и в согласии с самим искусством. Ибо поскольку в Италии зодческое искусство имело давний приют, в особенности у этрусков, — ведь от них, кроме тех царственных чудес, лабиринтов и гробниц, о которых мы читаем, сохранились древнейшие и превосходнейшие письменные наставления, служившие руководством в древней Этрурии, — поскольку, повторяю, зодчество имело давний приют в Италии и сознавало свою высокую цену, постольку это искусство, как можно видеть, всеми силами старалось своими украшениями сделать прославленную всеми прочими добродетелями мировую империю еще гораздо более достойной удивления. Вот почему оно дало себя вполне постичь и освоить, ибо, конечно, считало постыдным, что с твердыней мира и красотой народов равняются в славе зданий те, кто превзойден в отношении всех прочих доблестей. И нужно ли мне называть портики, храмы, гавани, театры и гигантские сооружения терм, которыми римляне стяжали такое удивление, что подчас самые опытные иноземные зодчие считали невозможным соорудить то, что находилось перед глазами у всех? Мало того, даже делая клоаки, они не могли обойтись без красоты и столь любили украшения, что считали в высокой мере прекрасным расточать средства империи ради одних украшений, стремясь, чтобы в постройке всегда было то, что можно украсить.

Таким образом, на основе примеров предков, указаний сведущих людей и частого опыта в сооружении удивительных зданий было приобретено совершеннейшее познание; из познания были почерпнуты наилучшие правила, которыми отнюдь не должны пренебрегать те, кто хотят — а этого должны хотеть все мы — строить с полной осмотрительностью. Эти правила нами должны быть собраны и поняты в меру нашего разумения.

Правила, касающиеся этих вещей, либо охватывают красоту и украшения, общие всем зданиям, либо относятся к отдельным частям. Первые почерпнуты непосредственно из философии и предназначены определить цель и путь этого искусства, вторые же выводят последовательность выполнения из того познания, которое, так сказать, равняется по мерке философии. Сначала я скажу о тех правилах, которые более относятся к искусству, а другими, которые охватывают предмет в целом, я воспользуюсь для эпилога.

Глава четвертая

О том, что краса и украшение сообщаются всем вещам или умом, или рукою мастера. О местности и участке, о некоторых законах древних, установленных для храмов, и кое о чем ином, достойном упоминания и восхищения, чему, однако, верится с величайшим трудом

То, что нравится в вещах прекрасных и украшенных, происходит либо от замысла и понятия ума, либо от руки мастера, либо присуще им от природы. Дело ума — выбор, распределение, размещение и тому подобное, что придает сооружению достоинство. Дело рук — складывание, прикладывание, отнятие, отесывание, шлифовка и тому подобное, что сообщает сооружению прелесть. От природы присущими будут тяжесть, легкость, плотность, чистота, долговечность и подобное, что делает сооружение достойным удивления. Этими тремя источниками изящества следует пользоваться в частях зданий соответственно с целью и назначением каждой.

Правила для различения частей здания — разные. Но нам нравится различать здания либо на основании того, в чем они все сходны, либо на основании того, в чем все здания не сходны. Из первой книги мы знаем, что каждому зданию потребны местность, участок, членение, стена, крыша и отверстия. В этом они сходятся. А различаются они тем, что одни — священные, другие — светские, одни — общественные, другие — частные, одни строятся по необходимости, другие — для услаждения и так далее.

Мы начнем с того, в чем все здания сходятся. Трудно решить, какую прелесть и достоинство рука или ум человеческий может придать местности, раз только мы не станем подражать тем, кто придумал те изумительные чудеса, о которых мы читаем и которых все же не порицают благоразумные мужи, если эти чудеса способны принести пользу, но не хвалят тогда, когда в них нет необходимости. И справедливо. Ибо кто осмелится — кто бы он ни был, Стасикрат ли, как передает Плутарх, или Динократ, как передает Витрувий, — и возьмется сделать из горы Афона изваяние Александра, на руке своей держащего город, способный вместить десять тысяч человек? Я не буду хвалить и царицу Нитокриду за то, что к одному селению ассириянка она отвела Евфрат, заставив его сделать три изгиба на большом протяжении по огромным рвам, не буду хвалить, хотя бы она и сделала местность весьма укрепленной благодаря глубине рва и весьма плодоносной благодаря притоку вод. Но предоставим это могущественнейшим царям. Пусть они соединяют моря с морями, прорывая пространства, находящиеся между ними, пусть уравнивают горы с долинами, пусть создают новые острова, пусть соединяют острова с материком, ничего не оставляя другим, в чем те могли бы им подражать, и этим сохраняют па-

мять о себе в потомстве. Конечно, чем более их дела будут сопряжены с пользой, тем большее они получают одобрение. Древние имели обыкновение священнослужением возвеличивать как отдельные места и роши, так и целые местности. Вся Сицилия, говорят, была посвящена Церере, но это опустим.

Очень хорошо будет, если местность окажется наделенной чем-нибудь чудесным, редкостным, удивительным и в своем роде замечательным, как, например, если климат ее будет исключительно мягкий и невероятно ровный, каков климат Мероз, где люди живут так долго, сколько хотят; или если местность будет производить что-нибудь для других невиданное и для рода человеческого желанное и благотворное, как, например, та, которая производит янтари, корицу или бальзам; или та местность, где будет присутствовать некая божественная сила, как на острове Эбусе, который, говорят, совершенно огражден от всего вредного.

Участок, поскольку он является определенной частью местности, будет отличаться всем тем, что способствует украшению местности, но участку природа дарует замечательные удобства в большем числе и чаще, чем целой местности. Таковы красоты природы, которые повсюду вызывают разнообразное и всяческое восхищение: мысы, скалы, кручи, подземные озера, пещеры, ручьи и тому подобное, где более заманчиво строить, чем в других местах. Встречаются следы древних памятников, которые, напоминая о былых событиях и людях, приводят в восхищение взоры и мысли. Я миную и их, и место, где была Троя, и обогранные кровью поля Левктрийские, Трасименские и тысячи подобного рода. А как много их украшают руки людей и ум, мне нелегко выразить. Пропускаю и прочее, менее существенное: платаны, по морю привезенные на остров Диомеда для украшения участка, и водруженные величайшими мужами колонны, обелиски, деревья, почитавшиеся потомками, и то масличное дерево, посаженное Нептуном и Минервою, которое долго стояло в афинском кремле. Я обхожу молчанием и то, что долгие века хранилось и передавалось из рук в руки от предков к потомству, как тот теревинф у Хеврона, который, говорят, простоял от начала мира до времени Иосифа.

Хорошо было бы оказывать особый почет месту, следуя древним, которые — замысел тонкий и преостроумный! — законом возбраняли мужчинам ступать в храм богини Боны и в портик патрициев в храме Дианы. А в Танагре ни одна женщина не смела проникать в священную рощу, равно как и во внутреннюю часть иерусалимского храма; это мог делать только жрец и притом только для жертвоприношения, и сначала он должен был омыться в Панфосском источнике. И никто не смел плевать на месте, называемом Долиола, у величайшей в Риме клоаки, где находятся кости царя Помпилия. В некоторых святилищах была надпись, что в него не смеют входить блудницы.

В святилище Дианы на Крите нельзя было входить иначе, как босыми ногами, и допускать служанку в храм Матуты было запрещено. У родосцев в храм Окридиона не входил глашатай, на Тенедосе флейтист не входил в храм Тенноса. Выходить из храма Юпитера Лафистия не дозволялось не принеся жертвы. В Афинах в святилище Паллады и в Фивах в святилище Венеры нельзя было вносить плющ. В храме Фавны о вине нельзя было даже упоминать. И было установлено, чтобы врата Януса в Риме никогда не закрывались, за исключением военного времени, и чтобы храм Януса не открывался в дни мира. И требовали, чтобы святилище Горты было постоянно открытым.

Если мы решим подражать чему-нибудь из этого, пожалуй, будет уместно запретить в храмы мучеников входить женщинам, а в храмы девственных богинь — мужчинам. Если бы только это было доступно человеку, весьма достойно следующее, чему в книгах мы не поверили бы, если в настоящее время мы сами не видели подобного. По словам некоторых, человеческое искусство добилось того, что в Византии змеи никому не вредят и галки там не летают меж стен. В Неаполитанской земле не слышно цикад. На Крите не водятся ночные птицы. Храм Ахилла на острове Борисфена не трогает ни одна птица. В Риме на Корольевом форуме в храм Геркулеса не проникает ни муха, ни собака. И что за удивительная вещь происходит в наши времена в Венеции! В общественное здание цензоров не проникает ни один вид мух. А в Толедо на мясном рынке в течение всего года ты увидишь не более одной мухи, приметной по своей исключительной белизне. Многое и различное подобного рода, о чем писано, было бы слишком долго пересказывать. Я в точности не знаю, бывает ли это от искусства или само собою от природы. В самом деле, какая природа или искусство могут совершить следующее? На могильном холме царя бебрикийя в Понте, говорят, высится лавр; если сорванную с него ветвь принести на корабль, распри на корабле не прекращаются, пока ее не выбросят. В святилище Венеры в Пафосе над алтарем не идет дождь. В Троаде жертвы, оставленные вокруг статуи Минервы, не гниют. Если вырыть что-нибудь на могильном холме Антея, то дожди льют с неба до тех пор, пока яма не будет заполнена. Некоторые уверяют, что это может быть совершено только путем уже давно утраченного искусства изображений, которое, по их собственным словам, известно астрономам. Помнится, я читал у того, кто написал Аполлониево жизнеописание, что в царском дворце в Вавилоне маги привязали к крыше четырех золотых птиц, которых они называли языками богов, и что эти птицы имели силу вселять в души толпы привязанность к царю. И также веский автор, Иосиф, свидетельствует, что видел некоего Елиазара, который на глазах Веспасиана и его сыновей, поднеся к носу эпилептика кольцо, его тотчас же исцелил. И он же утверждает, что Соломон сочинил песни, которыми успока-

ивались скорби. И Серапис у египтян, которого мы называем Плутоном, ввел, как говорит Евсевий Памфил, символы, которыми изгонялись демоны, и поведал, каким образом нападают демоны, приняв обличие диких зверей. Сервий сообщает, что люди имели обыкновение особыми заклинаниями ограждать себя от ударов судьбы и что они не умирали, прежде чем не разрешались от этого заклятия.

Если это так, то я легко склонен верить тому, что мы читаем у Плутарха: у пеленейцев было изображение, которое, будучи вынесено жрецом из храма, в какую бы сторону оно ни обратилось, всех повергало в ужас и величайшее смятение и на которое ни одно око от страха не могло взглянуть.

Все это рассказано для развлечения. О прочем, что вообще способствует украшению участка, как, например, его протяженности, очертаниям, возвышению, уровню, укреплению и тому подобному, мне сказать больше нечего, разве только, что тебе следует обратиться за этим к первой, а также к третьей книге. Самым подходящим участком будет тот, который, как мы указывали, будет совершенно сухим, ровным и укрепленным, притом вполне пригодным и приспособленным для той цели, которой должен служить. И особенно хорошо, если он будет вымощен мозаикой, о чем мы скоро скажем, когда будем трактовать о стене.

Важно и то, что советовал Платон: внушительность места будет более достойной, если ты ему дашь блистательное имя. Что это указание нравилось правителю Адриану, свидетельствуют Ликей, Канопей, Академия, Темей и иные славнейшие имена, которые он дал покоям своей Тибуртинской виллы.

Глава пятая

Краткое повторение о пристойном членении

и о разукрашивании стены и крыши.

О том, что стройный порядок и мера должны быть соблюдаемы в сочетании частей

Хотя членение в значительной части и было разобрано в первой книге, однако о нем мы все же здесь вкратце повторим следующее. Первое украшение всякой вещи — быть свободной от всего непристойного. То членение будет, следовательно, пристойно, которое не прерывисто, не путано, не сбивчиво, не расплывчато, не сложено из того, что плохо вяжется друг с другом, и которое будет состоять из частей не слишком многочисленных, не слишком мелких, не слишком крупных, не слишком разногласных и бесформенных, не оторванных и отторгнутых, так сказать, от остального тела. Напротив, все они будут находиться в соответствии с природой, пользой и назначением и так упорядочены и так исполнены в отношении порядка, числа, объема, размещения и формы, что ни одна часть здания не ока-

жется лишенной ни необходимого ей, ни великого удобства, ни приятнейшей гармонии. Ибо если с этим будет согласовано все членение в целом, то приятность и краса украшений будут тем правильнее и тем яснее они будут проступать. Если же членение не будет гармонично, то тебе без сомнения не удастся сохранить никакого достоинства. Итак, все сложение частей должно вестись и осуществляться в известном соответствии с необходимостью и удобством, чтобы тебя не столько радовало присутствие или отсутствие той или иной части, сколько то, что эти части находятся именно здесь, в этом порядке, положении, связи, размещении и сочетании. На стене и потолке у тебя будет больше всего места для украшения. Здесь ты можешь применить редчайшие дары природы, опытность в искусстве, старательность и силу дарования художника. Здесь, может быть, тебе представится возможность подражать древнему Озирису, который воздвиг, говорят, два храма из золота: один — небесному, другой — царственному Юпитеру. Или ты подымешь камень, который превосходит человеческое вероятие, как тот, который Семирамида вывезла из гор Аравии, шириною и толщиной в двадцать, длиною в сто пятьдесят локтей...

О ЖИВОПИСИ (Фрагменты)*

(Обращение к Филиппо ди сер Брунеллески)

Ты увидишь три книги, и в первой, чисто математической, из глубинных корней природы возникает это прелестное и благороднейшее искусство. Вторая книга вкладывает это искусство в руки художника, различая его области и все доказывая. Третья учит художника, каким он должен быть и каким путем он может достигнуть совершенного искусства и познания всей живописи.

Книга вторая

Я хочу доказать здесь, насколько живопись достойна поглощать все наше усердие и наши старания. Живопись содержит в себе некую божественную силу; она не только, как говорится о дружбе, заставляет отсутствующих казаться присутствующими, но более того: она заставляет мертвых казаться живыми по прошествии многих веков, так что мы узнаем их, испытывая великое изумление перед художником и великое наслаждение. Плутарх говорит, что Кассандр, один из полководцев Александра, затрясся всем телом, увидев изображение царя Александра. Лакедемонянин Агесилай никогда никому не позволял изображать себя ни в живописи, ни в скульптуре. Ему не нравился собственный его облик; поэтому он всячески избегал, чтобы потом-

*Печатается по: Мастера искусства об искусстве. — Т. II. Эпоха Возрождения /Под ред. А.А.Губера, В.Н.Гращенко. — М.: Искусство, 1966.

ство о нем узнало. Так, без сомнения, благодаря живописи лик умершего живет долгой жизнью. А то, что живопись запечатлевает выражение богов таким, каким им поклоняются народы, это поистине всегда было величайшим даром смертных, ибо живопись весьма способствует тому благочестию, которое связывает нас с богами, а также тому, чтобы поддерживать в нашей душе полноту религиозного чувства. [...]

Итак, живопись обладает тем преимуществом, что тот живописец, который будет мастером, увидит, что творениям его поклоняются, и услышит, что его почитают как бы за второго бога. [...] Если я не ошибаюсь, архитектор именно у живописца заимствовал архитравы, базы, капители, колонны, фронтоны и тому подобное, и все ремесленники, ваятели, каждая мастерская и каждый цех подчиняются правилу и искусству живописца. И ты, пожалуй, не найдешь такого низкого искусства, которое так или иначе не считалось бы с живописью, ибо если ты найдешь красоту в его вещах, ты сможешь сказать, что она рождена живописью.

В *Важнейшая черта «ренессансного реализма», отличающая его, с одной стороны, от средневековой живописи (что очевидно), а с другой — от поздней академической «выучки» и от «реализма» нашей художественной школы, та, что художник изучает движение тела, чтобы уловить и передать движение души.*

А это значит, что каким бы внимательным и рассудительным наблюдателем он ни был, его наблюдение всегда остается сопричастным, сочувственным; его внимание — «родственным» (по выражению М. Пришвина). Он всегда будет вживаться во внутреннее состояние того, кого хочет изобразить. Будет сохранять чувство единства предмета изображения с окружающим миром, даже не думая об этом специально.

Живопись слагается из очертания, композиции и освещения.

Я утверждаю, что композиция есть то правило живописи, согласно которому сочетаются части написанного произведения.

Композиция есть то правило живописи, при помощи которого отдельные части видимых предметов сочетаются на картине...

Живописец, желая выразить жизнь в предметах, будет каждую их часть изображать в движении. Но в каждое движение он будет вкладывать красоту и изящество. Особенно изящны и очень живы те движения, которые устремляются вверх к небу...

История будет волновать душу тогда, когда изображенные в ней люди всячески будут проявлять движения собственной души. Самой природой, которая одна только и может объять собственные свои образы, устроено так, что мы плачем с плачущим, смеемся со смеющимся и горюем с горюющим. Однако эти движения познаются из движения тела...

Итак, значит, необходимо, чтобы все движения тела были точно известны живописцам, которые научаются

этому у природы, хотя, правда, подражать всем движениям души — дело нелегкое. [...] Посему следует учиться этому у природы и всегда изучать очень совершенные вещи, а также такие, которые заставляют зрителя предполагать в мыслях гораздо больше того, что он видит.

Книга третья и последняя

Цель живописи — снискать художнику благодарность, расположение и славу в гораздо большей мере, чем богатство. И живописцы этого достигнут, когда картина их будет восхищать взоры и душу всякого, кто на нее смотрит. [...]

В *Интереснейшее место для понимания идей и ценностей разных эпох. Мыслитель-гуманист считает, что художник должен быть человеком высших нравственных качеств. Почему? Потому что это может расположить к нему людей и обеспечить заказами. (Помнится, другой гуманист — Лоренцо Вала учил делать добрые дела так, чтобы о них все знали!) В трактате еще одного известного автора — Ченнино Ченнини, написанном незадолго до появления Альберти на свет, говорится, что художнику не следует злоупотреблять обществом женщин, дабы рука его не утратила твердость.*

В отличие от этого средневековый иконописец хранил чистоту души, помыслов и тела не по соображениям «профессиональной успешности»: без этого он не мог надеяться ни воспринять, ни воплотить лики святых, события священной истории.

А что посоветуешь современному живописцу, музыканту, писателю? Или юноше, начинающему путь в искусстве? Сегодня, когда и без

чтобы живописец был человеком хорошим и обученным полезным наукам; иначе всего этого он не сумеет должным образом охватить. [...] Итак, художник должен показать себя человеком высоконравственным, особенно же человеческим и обходительным, и этим он стяжает себе расположение — твердую опору против нужды и заработка — величайшую помощь к тому, чтобы хорошо изучить свое искусство.

Мне хочется, чтобы живописец был как можно больше сведущ во всех свободных искусствах, но прежде всего я желаю, чтобы он узнал геометрию. (К «свободным искусствам» относились грамматика, риторика, диалектика, арифметика, музыка, геометрия и астрономия. — Н.Ф.)

Хорошо также, если они будут любителями поэтов и ораторов, у которых много украшений, общих с живописцами, и которые, обладая большим запасом знаний, принесут им большую помощь для красивой композиции истории, ибо главная заслуга в этом деле заключается в вымысле, а какова сила вымысла, мы видим из того, что прекрасный вымысел нам мил и сам по себе, без живописи. [...]

Случается нередко, что люди прилежные и жадные до учения все же, не умея учиться, утомляются не менее, чем от работы, которая им в тягость; поэтому мы и скажем, каким путем можно сделаться сведу-

твердой руки можно обойтись, и заказы зависят не от нравственности, а скорее наоборот? Да и нужны они вовсе не для того, чтобы иметь возможность лучше овладеть профессией, как полагал честный Альберти...

Не знаю ответа, но хорошо уже, что есть повод задуматься.

не только человека, но также лошадей, собак и всех прочих животных и вообще все то, что достойно быть видимым. Это необходимо для того, чтобы история наша была как можно более богатой, что, признаюсь тебе, — дело величайшей важности. И хотя у древних не всякому художнику было дано считаться в чем-нибудь одним, я уже не говорю выдающимся, а хотя бы посредственным, все же я утверждаю, что мы должны изо всех сил добиваться того, чтобы мы по нерадению своему не упускали тех вещей, приобретение которых приносит похвалу, а упущение — порицание. Афинский живописец Никий прекрасно изображал женщин; Гераклида хвалили за изображение кораблей; Серапион не умел изображать людей, а все остальное изображал хорошо; Дионисий не умел изображать ничего, кроме людей; Александр, тот самый, который расписал портик Помпея, лучше всех изображал животных, особенно собак; Аврелий, который всегда был влюблен, изображал только богинь, придавая им черты тех, кого он любил; Фидий больше заботился о том, чтобы показать величие богов, нежели о том, чтобы воспроизводить красоту людей; Евфранор любил выражать достоинство властителей и в этом превзошел всех прочих. Так каждому были отпущены неодинаковые способности, и природа дала каждому дарование особое приданое, которым, однако, мы не должны довольствоваться настолько, чтобы в нерадении своем не попытаться достигнуть еще большего, нежели то, чего мы можем добиться своими трудами. Дары природы нужно возделывать трудом и упражнением и этим увеличивать их изо дня в день и не упускать по нерадению ничего из того, что может стяжать нам похвалу...

Произведение живописца хочет нравиться толпе — так не презирай же приговора и суждения толпы и удовлетворяй ее требованиям до тех пор, пока они справедливы. [...] Итак, выслушай каждого и прежде всего как следует обдумай то, что услышишь, и сам себя пожюри, а после того как выслушаешь каждого, поверь самым опытным.

шим в этом искусстве. Пусть никто не сомневается, что основа и начало этого искусства, равно как и каждая ступень в достижении мастерства, должны черпаться из природы; совершенствование же в искусстве достигается прилежанием, упорством и старанием...

Высшим достижением живописца является история, которая должна отличаться обилием и отбором всевозможных вещей; необходимо заботиться о том, чтобы уметь написать

ДЖОВАННИ ПИКО ДЕЛЛА МИРАНДОЛА 1463—1494

РЕЧЬ О ДОСТОИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА*

Я прочитал, уважаемые отцы, в писаниях арабов, что, когда спросили Абдаллу Сарацина, что кажется ему самым удивительным в мире, он ответил: ничего нет более замечательного, чем человек. Этой мысли соответствуют и слова Меркурия: «О Асклепий, великое чудо есть человек!» Когда я размышлял о значении этих изречений, меня не удовлетворяли многочисленные аргументы, приводимые многими в пользу превосходства человеческой природы: человек есть посредник между всеми созданиями, близкий к высшим и господин над низшими, истолкователь природы в силу проницательности ума, ясности мышления и пытливости интеллекта, промежуток между неизменной вечностью и текущим временем, узы мира, как говорят персы, Гименей, стоящий немного ниже ангелов, по свидетельству Давида. Все это значительно, но не то главное, что заслуживает наибольшего восхищения. Почему же мы не восхищаемся в большей степени ангелами и прекрасными небесными хорами? В конце концов, мне показалось, я понял, почему человек самый счастливый из всех живых существ и достойный всеобщего восхищения и какой жребий был уготован ему среди прочих судеб, завидный не только для животных, но и для звезд и потусторонних душ. Невероятно и удивительно! А как же иначе? Ведь именно поэтому человека по праву называют и считают великим чудом, живым существом, действительно достойным восхищения. Но что бы там ни было, послушайте, отцы и снисходительно простите мне эту речь.

Уже Всевышний Отец, Бог-Творец создал по законам мудрости мировое обиталище, которое нам кажется августейшим храмом Божества. Наднебесную сферу украсил разумом, небесные тела оживил вечными душами. Грязные, загаженные части нижнего мира наполнил разнородной массой животных. Но, закончив творение, пожелал Мастер, чтобы был кто-то, кто оценил бы смысл такой большой работы, любил бы ее красоту, восхищался ее размахом. Поэтому, завершив все дела, как свидетель-

*Печатается по: Эстетика Ренессанса: В 2-х т. М., 1981. Т. 1.

ствуют Моисей и Тимей, задумал наконец сотворить человека. Но не было ничего ни в прообразах, откуда Творец произвел бы новое потомство, ни в хранилищах, что подарил бы в наследство новому сыну, ни на скамьях небосвода, где восседал сам Созерцатель вселенной. Уже все было завершено; все было распределено по высшим, средним и низшим сферам. Но не пристало отцовской мощи отсутствовать в последнем потомстве, как будто она истощена, не подобало колебаться Его мудрости в необходимом деле из-за отсутствия совета, не приличествовало Его благодетельной любви, чтобы тот, кто в других должен был восхвалять Божескую щедрость, осуждал бы ее в самом себе. И установил наконец лучший Творец, чтобы тот, кому он не смог дать ничего собственного, имел общим с другими все, что было свойственно отдельным творениям. Тогда согласился Бог с тем, что человек — творение неопределенного образа, и, поставив его в центре мира, сказал: «Не даем тебе, о Адам, ни своего места, ни определенного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно своей воле и своему решению.

В Одно непонятно в этой, безусловно, вдохновенной речи: почему автор считает, что Бог не дал человеку никакого образа? Известно, кажется, по чьему образу создан человек. Потому что он и абсолютно свободен, и универсален, о чем так красиво говорит Пико дела Мирандола. Потому что человек и может постичь («внять») и «неба содроганье, // И горний ангелов полет, // И гад морских подводный ход, // И дольней лозы прозябанье». (Пушкин)

Только не забыть бы вот о чем. Изначальный «человек вообще» свободен безусловно и вполне, но каждый из нас, проходящих свой путь в земном времени и пространстве, свободен отчасти и не безусловно. И всякое наше соприкосновение с другим человеком, особенно с ребенком, хоть немного, но влияет на то, какой путь он предпочтет: вниз — или вверх, к Богу.

Что же касается учителя (в идеале, конечно!), то кому, как не ему, быть в этом отношении «сорботником Бога»!

Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого Я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозреть все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по воле твоей души и в высшие, божественные. О, высшая щедрость Бога-Отца! О, высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, кем хочет! Звери при рождении получают от материнской утробы все то, чем будут владеть потом, как говорит

Луцилий. Высшие души либо сразу, либо чуть позже становятся тем, чем будут в вечном бессмертии. В рождающихся людей Отец вложил семена и зародыши разнородной жизни, и соответственно тому, как каждый их возделает, они вырастут и дадут в нем свои плоды. Возделает растительные — будет растением, чувственные — станет животным, рациональные — сделается небесным существом, интеллектуальные — станет ангелом и сыном Бога. А если его не удовлетворит судьба ни одного из этих творений, пусть вернется к своей изначальной единичности и, став духом единым с Богом в уединенной мгле Отца, который стоит надо всем, будет превосходить всех. И как не удивляться нашему хамелеонству! Или, вернее, чему иному можно удивляться более? И справедливо говорил афинянин Асклепий, что за изменчивость облика и непостоянство характера он сам был символически изображен в мистериях как Протей. Отсюда и известные метаморфозы евреев и пифагорейцев. Ведь в тайной еврейской теологии то святого Еноха превращают в божественного ангела, которого называют «Ma'akh Adonay Shebaoth», то других превращают в иные божества. Пифагорейцы нечестивых людей превращают в животных, а если верить Эмпедоклу, то и в растения. Выражая эту мысль, Магомет часто повторял: «Тот, кто отступит от божественного закона, станет животным, и вполне заслуженно». И действительно, не кора составляет существо растения, но неразумная и ничего не чувствующая природа, не кожа есть сущность упряжной лошади, но тупая и чувственная душа, не кругообразное вещество составляет суть неба, а правильный разум; и ангела создает не отделение его от тела, но духовный разум.

Если ты увидишь ползущего по земле на животе, ты увидишь не человека, а кустарник, и если увидишь, подобно Калипсо, кого-либо, ослепленного пустыми миражами фантазии, охваченного соблазнами раба чувств, ты увидишь не человека, а животное. И если ты видишь философа, все распознающего правильным разумом, уважай его, ибо небесное он существо, не земное. Если же видишь чистого созерцателя, не ведающего плоти и погруженного в недра ума, то это не земное и не небесное существо. Это — более возвышенное, божественное, облаченное в человеческую плоть. И кто не станет восхищаться человеком, которого в священных еврейских и христианских писаниях справедливо называют именем то всякой плоти, то всякого творения, так как он сам формирует и превращает себя в любую плоть и приобретает свойства любого создания! Поэтому перс Эвант, излагая философию халдеев, пишет, что у человека нет собственного природного образа, но есть много извне входящих. Отсюда и выражение у халдеев: «*Nanarich tharah sharinas*»: человек — животное многообразной и изменчивой природы. К чему это относится? К тому, чтобы мы понимали, родившись — при условии, что будем тем, кем хотим быть, —

что важнейший наш долг заботиться о том, чтобы, по крайней мере, о нас не говорили, что когда мы были в чести, то нас нельзя было узнать, так как мы уподобились лишенным разума животным. Но лучше, если о нас скажут словами пророка Асафа: «Вы — боги и сыны Всевышнего все вы». Мы не должны вредить себе, злоупотребляя милостивейшей добротой Отца, вместо того чтобы приветствовать свободный выбор, который Он нам дал.

Пусть наполнит душу святое стремление, чтобы мы, не довольствуясь заурядным, страстно желали высшего, а также добивались (когда сможем, если захотим) того, что положено всем людям. Отвергая земное, пренебрегая небесным и, наконец, оставив позади все, что есть в мире, поспешим в находящуюся над миром курию, самую близкую к высочайшей божественности.

Там, как рассказывают мистерии, первые места занимают серафим, херувим и трон, не ведающие, что мы уже уступили им и добиваемся достоинства и славы, неудовлетворенные вторыми местами, и если захотим, то не будем ни в чем их ниже. Но что и как совершая? Давайте посмотрим, что делают они, какой жизнью живут. И если мы будем жить так (а мы так можем), то сравняемся с ними. Серафим горит в огне любви, херувим блистает великолепием разума, трон хранит твердость судьбы. Итак, если, предавшись деятельной жизни, мы примем на себя справедливую заботу о низших, то укрепимся стойкой твердостью трона. Если, освободившись от дел, предадимся созерцанию на досуге, постигая Творца в работе и работу в Творце, то засверкаем светом херувима. Если только загоримся истребляющим огнем любви к Творцу, то вспыхнем внезапно в образе серафима.

Над троном, то есть над справедливым судьей, восседает Бог — вечный судья. Он летает над херувимом — созерцателем, согревает его, почти возлежа на нем. Дух Божий витает над водами, которые расположены над небесами и восхваляют Бога в предрассветных гимнах. Здесь серафим — обожатель в Боге и Бог в нем; Бог и он — единое.

Нам следует достигнуть высшего могущества тронов, рассуждая о нем, любя его и величая серафимов.

Но каким образом кто-либо может рассуждать о неизвестном или любить неизвестное? Моисей любил Бога, которого видел, и устраивал как судья в народе то, что прежде увидел как созерцатель на горе. Итак, находящийся посередине херувим своим светом готовит нас к серафическому огню и равным образом озаряет нас для суда трона. Это и есть удел первого разума, порядок Паллады, лежащий в основе созерцательной философии; это то, чему нам следует прежде всего подражать и что мы должны исследовать и понять, чтобы подняться к вершинам любви и спуститься хорошо обученными и готовыми к свершению дел.

Но ведь если необходимо строить нашу жизнь по образцу херувимов, нужно видеть, как они живут и что делают. А так как нам, плотским и имеющим вкус к мирским вещам, невозможно этого достичь, то обратимся к древним отцам, которые могут дать нам многочисленные верные свидетельства о подобных делах, потому что они им близки и родственны. Посоветуемся с апостолом Павлом, ибо когда он был вознесен на третье небо, то увидел, что делало войско херувимов. Он ответит нам, что они очищаются, затем наполняются светом и, наконец, достигают совершенств, как передает Дионисий. Так и мы, подражая на земле жизни херувимов, подавляя наукой о морали порыв страстей и рассеивая спорами тьму разума, очищаем душу, смывая грязь невежества и пороков, чтобы страсти не бушевали необдуманно и не безумствовал иногда бесстыдный разум. Тогда мы наполним очищенную и приведенную в порядок душу светом естественной философии, чтобы затем совершенствовать ее познанием божественных вещей.

Не довольствуясь нашими святыми отцами, посоветуемся с патриархом Яковом, чье изваяние сияет на месте славы. И мудрейший Отец, который спит в подземном царстве и бодрствует в небесном мире, даст нам совет, но символически, как это ему свойственно. Есть лестница, скажет Он, которая тянется из глубины земли до вершины неба и разделена на множество ступеней. На вершине этой лестницы восседает Господь; ангелы-созерцатели то поднимаются, то спускаются по ней. И если мы, страстно стремясь к жизни ангелов, должны добиться ее, то, спрашиваю, кто посмеет дотронуться до лестницы Господа грязной ногой или плохо очищенными руками? Как говорится в мистериях, нечистому нельзя касаться чистого.

Но каковы эти ноги и руки? Ноги души — это, несомненно, та презреннейшая часть, которая опирается как на всю материю, так и на верхний слой земли, питающая и кормящая сила, горячий материал страстей, наставница дающей наслаждение чувственности. А рука души, защитница страсти — почему мы не говорим о ней с гневом? — сражается за нее, под солнцем и пылью эта хищница отнимает то, чем сонная душа наслаждается в тени. Эти руки и ноги, то есть всю чувственную часть, в которой заключен соблазн тела, как говорят, силой пленяющий душу, мы, словно в реке, омываем в философии морали, чтобы нас, как нечестивых и греховных, не сбросили с лестницы. Однако этого недостаточно, если мы не захотим стать спутниками ангелов, носящихся по лестнице Якова, не будем заранее хорошо подготовлены и обучены двигаться, как положено, со ступеньки на ступеньку, никогда не сворачивая с пути и не мешая друг другу. А когда мы достигнем этого красноречием или способностями разума, то, оживленные духом херувимов, философия в соответствии со ступенями лестницы, то есть природы, доискиваясь до сути всего, будем то спускаться, расщепляя с

титанической силой единое на многие части, как Озирис, то подниматься, соединяя с Фебовой силой множество частей в единое Целое, как тело Озириса, до тех пор, пока не успокоимся блаженством теологии, прильнув к груди Отца, который восседает на вершине лестницы. Спросим у справедливого Иова, который заключил с Богом договор о жизни, прежде чем сам вступил в жизнь: «Чего больше всего желает высший Бог от миллионов ангелов, которые ему служат?» «Конечно, мира», — ответил Бог согласно тому, как читается: «Того, который творит мир на небесах». И так как средний ряд передает предписания высшего ряда низшему, то для нас слова теолога Иова объясняет философия Эмпедокла, указывающая на двойную природу нашей души: одна поднимает нас вверх, к небесам, другая сбрасывает вниз, в преисподнюю, — и сравнивает это с враждой и дружбой или с войной и миром, как свидетельствуют его песни. Иов жалуется, что он, как безумный, был вовлечен в раздор и сброшен в пропасть далеко от богов.

Ведь, действительно, среди нас множество разногласий, отцы! Дома у нас идет тяжелая междоусобная распря и гражданская война. Если бы мы захотели и страстно пожелали мира, — который поднял бы нас так высоко, что мы оказались бы среди возвышенных Господа, то единственное, что успокоило бы и обуздало нас вполне, это философия морали. И если бы человек в нас самих просил бы у «врагов» только перемирия, то и тогда обуздал бы свои животные порывы и пылкий гнев льва. И если, заботясь о себе, мы пожелали бы затем вечного мира, то он наступил бы, обильно утолив наши желания, и, принеся в жертву двух животных, заключил бы между телом и духом нерушимый договор о свяшенном мире.

Диалектика успокоит разум, который мучается из-за словесных противоречий и коварных силлогизмов. Естественная философия уймет споры и борьбу мнений, которые угнетают, раскалывают и терзают беспокойную душу, но при этом заставит нас помнить, что природа, согласно Гераклиту, рождена войной и поэтому названа Гомером борьбой. Поэтому невозможно найти в природе настоящего покоя и прочного мира, которые являются привилегией и милостью ее госпожи — святейшей теологии. Теология укажет нам путь к миру и поведет как провожатый. Издали увидев нас, спешащих, она воскликнет: «Подойдите ко мне, вы, находящиеся в затруднении, подойдите, и я успокою вас; подойдите ко мне, и я дам вам мир, который не могут вам дать ни вселенная, ни природа». И мы, ласково позванные и так радушно приглашенные, с окрыленными, как у Меркурия, ногами устремимся в объятия благословенной матери, насладимся желаемым миром — святейшим миром, неразрывными узами и согласной дружбой, благодаря которой все души не только согласованно живут в едином разуме, который выше всех разумов, но некоторым образом сливаются в единое целое.

Такая дружба, как говорят пифагорейцы, является целью всей философии; такой мир Бог устанавливает на небесах, и ангелы, сходящие на землю, сообщают о нем людям доброй воли, чтобы благодаря этому миру люди, восходящие на небо, сами стали ангелами. Такой мир мы пожелали бы друзьям, нашему времени, каждому дому, в который бы мы вошли, и нашей душе, чтобы она стала благодаря ему местом пребывания Бога и, после того как смоеет с себя грязь с помощью морали и диалектики, украсилась многообразной философией, подобно пышно украшенному дворцу, портал увенчала бы гирляндами теологии, и тогда вместе с Отцом сойдет король славы и сделает в ней свое пристанище. Душа окажется достойной столь снисходительного гостя. Отделанная золотом, как свадебная тога, она примет выдающегося гостя не как гостя, а как нареченного, с которым никогда не разлучаются, и захочет отделиться от своего местопребывания и, забыв дом своего отца и даже себя, пожелает умереть в себе самой, чтобы жить в нареченном, в присутствии которого смерть его святых поистине блаженна. Я говорю — смерть, если можно назвать смертью полноту жизни, размышление над которой является целью философии, как говорили мудрецы.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 1452—1519

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ* О СВОИХ ТАЛАНТАХ И СВОЕМ УМЕНИИ

49. С.А. 391 а.

Пресветлейший государь мой, увидев и рассмотрев в достаточной мере попытки всех тех, кто почитает себя мастерами и изобретателями военных орудий, и найдя, что устройство и действие названных орудий ничем не отличается от общепринятого, попытаюсь я, без желания повредить кому другому, светлости вашей представиться, открыв ей свои секреты и предлагая их затем по своему усмотрению, когда позволит время, осуществить с успехом в отношении всего того, что вкратце, частично, поименовано будет ниже:

1. Владею способами постройки легчайших и крепких мостов, которые можно без всякого труда переносить и при помощи которых можно преследовать неприятеля, а иногда бежать от него, и другие еще, стойкие и неповреждаемые огнем и сражением, легко и удобно разводимые и устанавливаемые. И средства также жечь и рушить мосты неприятеля.

2. В случае осады какой-нибудь местности умею я отводить воду из рвов и устраивать бесчисленные мосты, кошки и лестницы и другие применяемые в этом случае приспособления.

3. Также, когда из-за высоты вала или укрепления местоположения нельзя при осаде местности применить бомбарды, есть у меня способы разрушать всякое укрепление или иную крепость, не расположенную сверху на скале.

4. Есть у меня виды бомбард, крайне удобные и легкие для переноски, которые кидают мелкие камни, словно буря, и наводящие дымом своим великий страх на неприятеля с тяжелым для него уроном и смятением.

5. Также есть у меня средства по подземельям и по тайным извилистым ходам пройти в назначенное место без малейшего

*Печатается по: *Леонардо да Винчи. Избранные произведения*: В 2-х т. /Репринт с издания 1935 г. — М.: Ладомир, 1995.

шума, даже если нужно пройти под рвами или рекой какой-нибудь.

6. Также устройю я крытые повозки, безопасные и неприступные, для которых, когда врежутся с своей артиллерией в ряды неприятеля, нет такого множества войска, коего они не сломили бы. А за ними невредимо и беспрепятственно сможет следовать пехота.

7. Также, в случае надобности, буду делать я бомбарды, мортиры и метательные снаряды прекраснейшей и удобнейшей формы, совсем отличные от обычных.

8. Где бомбардами пользоваться невозможно, буду проектировать машины для метания стрел, манганы, катапульти и другие снаряды изумительного действия, не похожие на обычные; словом, применительно к разным обстоятельствам буду проектировать различные и бесчисленные средства нападения.

9. И случись сражение на море, есть у меня множество приспособлений, весьма пригодных к нападению и защите; и корабли, способные выдержать огонь огромнейшей бомбарды, и порох, и думы.

10. Во времена мира считаю себя способным никому не уступить, как архитектор, в проектировании зданий и общественных, и частных, и в проведении воды из одного места в другое.

Также буду я исполнять скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Сходно и в живописи — все, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим, кто бы он ни был. Смогу приступить к работе над бронзовой конной статуей, которая будет бессмертной славой и вечной честью блаженной памяти отца вашего и славного дома Сфорца. А буде что из вышеназванного показалось бы кому невозможным и невыполнимым, выражаю полную готовность сделать опыт в вашем парке или в месте, какое угодно будет светлости вашей, коей и вверяю себя всенижайше.

50. С.А. 271 v.a.

При помощи мельницы произведу я ветер в любое время, летом заставлю подняться воду, бьющую ключом и свежую, которая пройдет через середину разделенных досок, стоящих таким образом. Канал будет шириною в пол-локтя, с резервуарами, всегда прохладными, наполненными водой, и другая вода будет протекать по салу, орошая померанцы и лимонные деревья, насколько им это нужно; лимонные деревья эти будут вечно зеленеть, ибо место будет так устроено, что их легко можно будет оградить, и тепло, которое постоянно притекает зимой, гораздо лучше хранит их, чем огонь, по двум причинам: во-первых, потому, что это тепло фонтанов естественное и то же, что обогревает корни всех растений; во-вторых потому, что огонь для этих растений есть тепло акцидентальное, поскольку лишен влаги, и неоднородный он и не непрерывный, ибо более тепл

в начале, чем в конце, и во многих случаях забывается по небрежности тех, кому вверено о нем попечение. — В фонтанах должно часто удалять их травы, дабы вода была прозрачной, с камешками на дне, и оставлять только травы, пригодные для питания рыб, как крес и другие подобные. Рыбы должны быть из тех, что не мутят воды, то есть не нужно пускать туда угрей, ни тунцов, и не шук также, ибо они пожирают других рыб. — Сделано будет при помощи мельницы много водопроводов по дому и источники в разных местах и переход некий, где, кто пройдет, отовсюду снизу вода брызнет вверх, и будет это что нужно тому, кто пожелает снизу окатить женщин или кого другого, там проходящего. — Сверху сделаем тончайшую медную сеть, которая покроет сад и укроет под собою много разных видов птиц, — и вот у вас непрерывная музыка, вместе с благоуханием цветов на лимонных деревьях. — При помощи мельницы произведу я непрерывные звуки на различных инструментах, которые будут все время звучать, пока длиться будет движение такой мельницы.

В Много лет назад мой любимый преподаватель обмолвился о Леонардо: «Он больше нормы». Казалось бы, всякий выдающийся человек «больше» статистической нормы, но тут имелось в виду нечто иное. Больше нормы нашего понимания, что ли?

В. Баткин пишет, что пресловутая загадочность картин Леонардо — это не какая-то дымка, своего рода «сфумато», окутывающее содержание: она сама и есть содержание. Я не уверен, что люблю его больше всех художников, но вижу, что «больше» его никого нет.

Да и художник ли он в привычном смысле слова? Один выдающийся реставратор говорит, что, с его точки зрения, сами занятия живописью для Леонардо были лишь частью какого-то таинственного эксперимента всей его жизни.

Обратим внимание: перечисляя свои «таланты и умения», Леонардо да Винчи лишь в 10-м пункте вспоминает, что умеет лепить и писать красками не хуже других, и говорит на эту тему сдержанно и лаконично. Этому, правда, можно найти объяснение: Леонардо занимался на работу к властителю Милана и предполагал, что того скорее заинтересует военный инженер, чем живописец.

Но посмотрите, как подробно и с какой экологической предусмотрительностью он пишет далее об устройстве садов, фонтанов, о рыбах и травах. Мне кажется, главное в Леонардо не то, что он мог «все» или очень многое, а то, что он ни с чем не отождествляет себя. Он не «живописец», не «инженер», не «садовник». Он — человек, способный, в частности, творить в этих и в других областях.

Приходит странная мысль: может быть, самых больших высот в искусстве, науке и т.д. может достичь как раз тот, для кого главное — не наука, не искусство само по себе, а что-то иное?

ТОМ I. НАУКА

О природе, жизни и смерти

71. А. 24 v.

Необходимость — наставница и пестунья природы. Необходимость — тема и изобретательница природы, и узда, и вечный закон.

72. С.А. 112 v.

И столь природа усладительна и неистошима в разнообразии, что среди деревьев одной той же породы ни одного не найдется растения, которое вполне походило бы на другое, и не только растения, но и ветвей, и листьев, и плода не найдется ни одного, который бы в точности походил на другой.

73. S.K.M.III,74 г.

Кажется, что здесь природа для многих животных была скорее мачехой жестокой, нежели матерью, а для некоторых не мачехой, а матерью сердобольной.

74. W.An.A.13 v.

Ты видел здесь, с каким тщанием природа расположили нервы, артерии и вены в пальцах по бокам, а не посередине, дабы при работе как-нибудь не укололись и не порезались они.

75. Вг. М. 156v.

Почему природа не запретила одному животному жить смертью другого? Природа, стремясь и находя радость постоянно творить и производить жизни и формы, зная, что в этом рост ее материи, гораздо охотнее и быстрее творит, чем время разрушает; и потому положила они, чтобы многие животные служили пищей один другим; и так как это не удовлетворяет подобное желание, часто насылает она некие ядовитые и губительные испарения на большие множества и скопления животных, и прежде всего на людей, прирост коих велик, поскольку ими не питаются другие животные, и по устранении причин устраняются следствия. Итак, эта земля ищет прекращения своей жизни, желая неуклонного умножения на указанном и доказанном тобою основании; часто следствия походят на свои причины, животные служат примером мировой жизни.

NB *Серьезные психофизиологи не любят модных разговоров о роли левого и правого полушарий мозга, но никто, пожалуй, не станет спорить с тем, что у большинства людей преобладает либо рациональное, расчленяющее и анализирующее («научное»), либо эмоциональное и целостное («художественное») отношение к миру.*

У Леонардо да Винчи — редчайшее во всей истории сочетание силы пристального, бесстрастного наблюдения (иногда оно может казаться бессердечным) — и любви ко всему сущему, сильного чувства единства мира, единства человека с миром. Примеры тому мы будем встречать на многих страницах.

Кого поставить с ним рядом в этом отношении? Может быть, Гете? Может быть, «русского Леонардо» — Павла Флоренского?

Заметим, как он пишет о природе: она бывает жестока и суродовольна, она стремится к целям, ищет, радуется, желает, позволяет, охотно творит... Она жива и могущественна, и не «вообще», а в конкретно наблюдаемых бесчисленных проявлениях.

Этому, наверное, «учить» можно: зародыш такого отношения у детей нередок.

77.С.А.12 v.a.

О время, истребитель вещей, и старость завистливая, ты разрушаешь все вещи, и все вещи пожираешь твердыми зубами годов мало-помалу, медленной смертью. Елена, когда смотрелась в зеркало, видя досадные морщины своего лица, соделанные старостью, жалуется и думает наедине, зачем два раза была похищена.

81.H2.41 г.

Жизнь нашу создаем мы смертью других. В мертвой вещи остается бессознательная жизнь, которая, вновь попадая в желудок живых, вновь обретает жизнь чувствующую и разумную.

82.W.An.B.28 г.

Тело всякой питающейся вещи непрерывно умирает и непрерывно рождается вновь; ибо пища войти может только туда, откуда прежняя пища вышла, и когда она вышла, жизни больше нет, и если пищу исчезнувшую не возместить таким же количеством новой, жизнь лишится своего здоровья, и если ты их этой пищи лишишь [вовсе], то жизнь вовсе окажется разрушенной. Но если будешь возмещать столько, сколько разрушается за день, то будет вновь рождаться столько жизни, сколько тратится, наподобие света свечи, питаемого влагой этой свечи, который, благодаря весьма быстрому притоку снизу, непрерывно восстанавливает то, что наверху, умирая, уничтожается и, умирая, из блестящего света в темный обращается дым; смерть эта непрерывна, как непрерывен и этот дым, и непрерывность этого дыма та же, что непрерывность питания, и мгновенно свет весь мертв и весь родится вновь, вместе с движением пищи своей.

83.Br.M.156 v.

Смотри же, надежда и желание водвориться на свою родину и вернуться в первое свое состояние уподобляется бабочке в от-

ношении света, и человек, который всегда с непрекращающимся желанием, полный ликования, ожидает новой весны, всегда нового лета и всегда новых месяцев и новых годов, причем кажется ему, будто желанные предметы слишком медлят прийти, — не замечает, что собственного желает разрушения! А желание это есть квинтэссенция, дух стихий, который, оказываясь заточенным душой человеческого тела, всегда стремится вернуться к пославшему его. И хочу, чтобы ты знал, что это именно желание есть квинтэссенция — спутница природы, а человек — образец мира.

84.Тр.40 v.

Душа никогда не может разрушиться при разрушении тела, но действует в теле наподобие ветра, производящего звук в органе, в котором, если испорчена трубка, не получится у нее больше от ветра хорошего действия.

В *Леонардо как будто «вне времени». Точно так же, только не так поэтично и лаконично, поясняли отношения души и тела мистически настроенные авторы эпохи научно-технического прогресса: если повредить телефонный аппарат, то вы перестанете слышать собеседника, но это не значит, что он перестал существовать, или что слова порождались самим аппаратом, и т.д.*

85.С.А.59 г.

Каждая часть хочет быть в своем целом, в коем лучше себя сохраняет.

Каждая часть имеет склонность вновь соединиться со своим целым, дабы избежать своего несовершенства.

Душа хочет находиться со своим телом, потому что без органических орудий этого тела она ничего не может совершить и ощущать.

О строении человека и животных

400.W.Ап.В. 8 г.

Хотя бы ум человеческий и делал различные изобретения, различными орудиями отвечая одной цели, никогда он не найдет изобретения более прекрасного, более легкого и более верного, чем [изобретения] природы, ибо в ее изобретениях нет ничего недостаточного и ничего лишнего. И не пользуется она противовесами, когда делает способные к движению члены в телах животных, а помещает туда душу, образующую это тело, т.е. душу матери, которая первая образует в матке очертания человека и в нужное время пробуждает душу, долженствующую быть его обитательницей, которая сначала бывает спящей, опекаемой душою матери, питающею и животворящею через пуповину всеми своими духовными членами, и продолжает она так до тех

пор, пока пуп соединен с ней последом и дольками (cotiledoni), при помощи коего дитя соединяется с матерью, и это — причина, почему одно волнение, одно общее желание, один страх, который испытывает мать, или другая душевная боль имеет больше влияния на дитя, чем на мать, так как часты случаи, что дитя от этого лишается жизни. Рассуждение это не идет сюда, но относится к составу одушевленных тел. И остальную часть определения души предоставляю уму братьев, отцов народных, которые наитием ведают все тайны. Неприкосновенным оставляю Священное писание, ибо оно высшая истина.

NB *И снова Леонардо «вне времени». Современные психологи, может быть, только сейчас начинают сознавать в полной мере, насколько телесное и душевное здоровье еще не родившегося ребенка зависит от состояния матери, а Леонардо 500 лет назад «видит» это как несомненный факт!*

409.W.An.A.14 v.

И ты, хотящий словами явить фигуру человека во всех видах ея членения, оставь это намерение, потому что чем более будешь ты углубляться в описание частей, тем более будешь смущать дух читателя и тем более будешь удалять его от знания описываемых вещей; потому необходимо рисовать и описывать.

436.C.A.90 г.

Общее чувство есть то, которое судит о вещах, данных ему другими чувствами.

(Общее чувство приводится в движение посредством вещей, данных ему другими пятью чувствами.)

И чувства эти приводятся в движение посредством предметов, посылающих изображения свои пяти чувствам, от которых передаются они воспринимающей способности, а от нее общему чувству, и оттуда, судимые, посылаются памяти, в которой, смотря по силе, сохраняются более или менее. Пять чувств следующие: зрение, слух, осязание, вкус, обоняние.)

Старые исследователи заключили, что та часть суждения, которая дана человеку, производима орудием, с которым пять чувств сносятся посредством воспринимающей способности, и этому орудию дали они имя общего чувства, — и говорят, что чувство это находится в середине головы. И это имя общего чувства прилагают они только потому, что оно является общим судьей всех прочих пяти, т.е. зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния. Общее чувство приводится в движение воспринимающей способностью, лежащей между ним и чувствами. Воспринимающая способность приводится в движение подобиями вещей, даваемыми ей наружными органами, т.е. чувствами, лежащими между внешними вещами и воспринимающей способностью, и в свою очередь чувства приводятся в движение пред-

метами. Подобия окружающих предметов посылают подобия свои чувствам, чувства передают их воспринимающей способности, воспринимающая способность посылает их к общему чувству, и им они укрепляются в памяти, и здесь сохраняются более или менее, в зависимости от важности и силы данных вещей.

То чувство быстрее в своем служении, которое ближе к воспринимающей способности; таков глаз, верховник и князь прочих, о котором мы только и будем говорить, а прочие оставим в стороне, дабы не отклоняться от нашей материи.

437.W.An.B.2 г.

Душа по-видимому находится в судящей части, и судящая часть по-видимому в том месте, где все чувства сходятся и которое именуется общим чувством; и не вся во всем теле, как многие думали, но вся в этой части.

391.A 55 v.

Человек назван древними малым миром, — и нет спора, что название это уместно, ибо как человек составлен из земли, воды, воздуха и огня, так и тело земли. Если в человеке есть кости, служащие ему опорой, и покровы из мяса — и в мире есть скалы, опоры земли; если в человеке есть кровяное озеро, — там, где легкое растет и убывает при дыхании, — у тела земли есть свой океан, который также растет и убывает каждые 6 часов, при дыхании мира; если от названного кровяного озера берут начало жилы, которые ветвь расходятся по человеческому телу, то точно так же и океан наполняет тело земли бесконечными водными жилами. В теле земли отсутствуют сухожилия, которых нет потому, что сухожилия созданы ради движения, а так как мир находится в постоянном равновесии, то движения здесь не бывает, и так как не бывает движения, то и сухожилия не нужны. Но во всем прочем они весьма сходны.

ТОМ II. ИСКУССТВО

Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором

457. T.P.27.

В справедливых жалобах сетует живопись, что она изгнана из числа свободных искусств, ибо она — подлинная дочь природы и осуществляется наиболее достойным чувством. Поэтому, о писатели, вы не правы, что оставили ее вне числа этих свободных искусств, ибо она занимается не только творениями природы, но и бесконечно многим, чего природа никогда не создавала.

458. Т.Р.34.

Так как писатели не имели сведений о науке живописи, то они и не могли описать ни подразделений, ни частей ее; сама она не обнаруживает свою конечную цель в словах, и из-за невежества осталась позади названных выше наук, не теряя от этого в своей божественности. И поистине не без причины они не облагораживали ее, так как она сама себя облагораживает, без помощи иных языков, не иначе, как это делают совершенные творения природы. И если живописцы не описали ее и не свели ее в науку, то это не вина живописи, и она не становится менее благородной оттого, что лишь немногие живописцы становятся профессиональными литераторами, так как жизни их не хватает научиться этому. Можем ли мы сказать, что свойства трав, камней и деревьев не существуют потому, что люди о них не знают? Конечно, нет. Но мы скажем, что травы остаются сами по себе благородными, без помощи человеческих языков или письмен.

459. Т.Р.7.

Та наука полезнее, плод которой наиболее поддается сообщению, и также наоборот, менее полезна та, которая менее поддается сообщению.

Живопись в состоянии сообщить свои конечные результаты всем поколениям вселенной, так как ее конечный результат есть предмет зрительной способности; путь через ухо к общему чувству не тот же самый, что путь через зрение. Поэтому она не нуждается, как письмена, в истолкователях различных языков, а непосредственно удовлетворяет человеческий род, но иначе, чем предметы, произведенные природой. И не только человеческий род, но и других животных, как это было показано одной картиной, изображающей отца семейства: к нему ласкались маленькие дети, бывшие еще в пеленках, а также собака и кошка этого дома, так что было весьма удивительно смотреть на это зрелище.

Живопись представляет чувству с большей истинностью и достоверностью творения природы, чем слова или буквы, но буквы представляют слова с большей истинностью, чем живопись. Мы же скажем, что более достойна удивления та наука, которая представляет творения природы, чем та, которая представляет творения творца, то есть творения людей, каковыми являются слова; такова поэзия и подобное, что проходит через человеческий язык.

460. Т.Р.8.

Науки, доступные подражанию, таковы, что посредством их ученик становится равным творцу и также производит свой плод. Они полезны для подражателя, но не так превосходны, как те, которые не могут быть оставлены по наследству, подоб-

но другим материальным благам. Среди них живопись является первой. Ей не научишь того, кому не позволяет природа, как в математических науках, из которых ученик усваивает столько, сколько учитель ему прочитывает. Ее нельзя копировать, как письмена, где копия столь же ценна, как и оригинал. С нее нельзя получить слепка, как в скульптуре, где отпечаток таков же, как и оригинал, в отношении достоинства произведения; она не плодит бесконечного числа детей, как печатные книги. Она одна остается благородной, она одна дарует славу своему творцу и остается ценной и единственной и никогда не порождает детей, равных себе. И эта особенность делает ее превосходящей тех наук, что повсюду оглашаются.

Разве не видим мы, как могущественнейшие цари Востока выступают в покрывалах и закрытые, думая, что слава их уменьшится от оглашения и обнародования их присутствия? Разве мы не видим, что картины, изображающие божества, постоянно держатся закрытыми покровами величайшей ценности? И когда они открываются, то сначала устраивают большие церковные торжества с различными песнопениями и всякой музыкой, и при открытии великое множество народа, собравшегося сюда, тотчас же бросается на землю, поклоняясь и молясь тем, кого такая картина изображает, о приобретения утраченного здоровья и о вечном спасении, и не иначе, как если бы это божество присутствовало самолично. Этого не случается ни с одной другой наукой или другим человеческим творением, и если ты скажешь, что это заслуга не живописца, а собственная заслуга изображенного предмета, то на это последует ответ, что в таком случае душа людей могла бы получить удовлетворение, и они, оставаясь в постели, могли бы не ходить в паломничество местами затруднительными и опасными, как, мы видим, это постоянно делается. Но если все же такие паломничества непрерывно существуют, то кто же побуждает их на это без необходимости? Конечно, ты признаешь, что это делает образ, которого не могут сделать все писания, так как они не сумеют наглядно и в достоинстве изобразить это божество. Поэтому кажется, что само божество любит такую картину и любит того, кто ее любит и почитает, и более охотно принимает поклонения в этом, чем в других облициях, его изображающих, а потому оказывает милости и дарует спасение, — по мнению тех, кто стекаются в такое место.

461. Т.Р.10.

Живопись распространяется на поверхности, цвета и фигуры всех предметов, созданных природой, а философия проникает внутрь этих тел, рассматривая в них их собственные свойства. Но она не удовлетворяет той истине, которой достигает живописец, самостоятельно обнимающий первую истину этих тел, так как глаз меньше ошибается, чем разум.

Если ты будешь презирать живопись, единственную подражательницу всем видимым творениям природы, то наверное ты будешь презирать тонкое изобретение, которое с философским и тонким размышлением рассматривает все качества форм: моря, местности, деревья, животных, травы и цветы, — все то, что окружено тенью и светом. И поистине, живопись — наука и законная дочь природы, ибо она порождена природой; но, чтобы выразиться правильнее, мы скажем: внучка природы, так как все видимые вещи были порождены природой и от этих вещей родилась живопись. Поэтому мы справедливо будем называть ее внучкой природы и родственницей Бога.

Нет ни одной части в астрологии, которая не была бы делом зрительных линий и перспективы, дочери живописи, так как живописец и есть тот, кто в силу необходимости своего искусства произвел на свет эту перспективу, — и астрология не может разрабатываться без линий. В эти линии заключаются все разнообразные фигуры тел, созданных природой, без них искусство геометрии слепо.

И если геометрия сводит всякую поверхность, окруженную линией, к фигуре квадрата и каждое тело к фигуре куба, а арифметика делает то же самое со своими кубическими и квадратными корнями, то обе эти науки распространяются только на изучение прерывных и непрерывных количеств, но не трудятся над качеством, — красотой творений природы и украшением мира.

Глаз на соответствующем расстоянии и в соответствующей среде меньше ошибается в своем служении, чем всякое другое чувство, потому что он видит только по прямым линиям, образующим пирамиду, основанием которой делается объект, и доводит его до глаза, как я это намереваюсь доказать. Ухо же сильно ошибается в местоположении и расстоянии своих объектов, потому что образы их доходят до него не по прямым линиям, как до глаза, а по извилистым и отраженным линиям; и часто случается, что далекое кажется ближе, чем соседнее, в силу того пути, который проходят эти образы; хотя звук эхо доносится до этого чувства только по прямой линии.

Обоняние еще меньше определяет то место, которое является причиной запаха, а вкус и осязание, прикасающиеся к объекту, знают только об этом прикосновении.

Животные испытывают большой вред от потери зрения, чем слуха, и по многим основаниям: во-первых, посредством зрения

отыскивается еда, нужная для питания, что необходимо для всех животных; во-вторых, посредством зрения постигается красота созданных вещей, в особенности тех вещей, которые приводят к любви, чего слепой от рождения не может постигнуть по слуху, так как он никогда не знал, что такое красота какой-либо вещи. Остается ему слух, посредством которого он понимает только лишь звуки и человеческий разговор, в котором существуют названия всех тех вещей, каким дано их имя. Без знания этих имен можно жить очень весело, как это видно на глухих от природы, то есть на немых, объясняющихся посредством рисунка, которым большинство немых развлекаются. И если ты скажешь, что зрение мешает сосредоточенному и тонкому духовному познанию, посредством которого совершается проникновение в божественные науки, и что такая помеха привела одного философа к тому, что он лишил себя зрения, то на это следует ответ, что глаз как господин над чувствами выполняет свой долг, когда он препятствует путанным и лживым — не наукам, а рассуждениям, в которых всегда ведутся споры с великим криком и рукоприкладством; и то же самое должен был бы делать слух, который не остается в обиде, так как он должен был бы требовать согласия, связующего все чувства. И если такой философ вырывает себе глаза, чтобы избавиться от помехи в своих рассуждениях, то прими во внимание, что такой поступок соответствует и его мозгу, и его рассуждениям, ибо все это глупость. Разве не мог он зажмурить глаза, когда впал в такое неистовство, и держать их зажмуренными до тех пор, пока неистовство не истощится само собою? Но сумасшедшим был человек, безумным было рассуждение, и величайшей глупостью было вырывать себе глаза.

466. Т.Р.24.

Глаз, посредством которого красота вселенной отражается созерцающими, настолько превосходит, что тот, кто допустит его потерю, лишит себя представления обо всех творениях природы, вид которых удовлетворяет душу в человеческой темнице при помощи глаз, посредством которых душа представляет себе все различные предметы природы. Но кто потеряет их, тот оставляет душу в мрачной тюрьме, где терется всякая надежда снова увидеть солнце, свет всего мира. И сколько таких, кому ночные потемки, хотя они и недолговечны, ненавистны в высшей мере! О, что стали бы они делать, когда бы эти потемки стали спутниками их жизни? Конечно, нет никого, кто не захотел бы скорее потерять слух и обоняние, чем глаза, хотя потеря слуха влечет за собою потерю всех наук, завершающихся словами; и делается это только для того, чтобы не потерять красоту мира, которая заключается в поверхностях тел, как случайных, так и природных, отражающихся в человеческом глазу.

Если живописец пожелает увидеть прекрасные вещи, внушающие ему любовь, то в его власти породить их, а если он пожелает увидеть уродливые вещи, которые устрашают, или шутовские и смешные, или поистине жалкие, то и над ними он властелин и бог. И если он пожелает породить населенные местности в пустыне, места тенистые или темные во время жары, то он их и изображает, и равно — жаркие места во время холода. Если он пожелает долин, если он пожелает, чтобы перед ним открывались с высоких горных вершин широкие поля, если он пожелает за ними видеть горизонт моря, то он властелин над этим, а также если из глубоких долин он захочет увидеть высокие горы или с высоких гор глубокие долины и побережья. И действительно, все, что существует во вселенной как сущность, как явление или как воображаемое, он имеет сначала в душе, а затем в руках, которые настолько превосходны, что в одно и то же время создают такую же пропорциональную гармонию в одном-единственном взгляде, какую образуют предметы.

Глаз, называемый окном души, это — главный путь, которым общее чувство может в наибольшем богатстве и великолепии рассматривать бесконечные творения природы, а ухо является вторым, и оно облагораживается рассказами о тех вещах, которые видел глаз. Если вы, историографы, или поэты, или иные математики, не видели глазами вещей, то плохо сможете сообщить о них в письменах. И если ты, поэт, изобразишь историю посредством живописи пером, то живописец посредством кисти сделает ее так, что она будет легче удовлетворять и будет менее скучна для понимания. Если ты назовешь живопись немой поэзией, то и живописец сможет сказать, что поэзия — это слепая живопись. Теперь посмотри, кто более увечный урод: слепой или немой? Если поэт свободен, как и живописец, в изобретениях, то его выдумки не доставляют такого удовлетворения людям, как картины; ведь если поэзия распространяется в словах на фигуры, формы, жесты и местности, то живописец стремится собственными образами форм подражать этим формам. Теперь посмотри, что ближе человеку: имя человека или образ этого человека? Имя человека меняется в разных странах, а форма изменяется только смертью. И если поэт служит разуму путем уха, то живописец — путем глаза, более достойного чувства.

NB *Способность самого Леонардо «видеть глазами» поражает! Существуют его рисунки водных потоков, на которых четко изображены такие завихрения, которые становятся видны лишь в замедленной съемке. По этому поводу говорят даже о «сверхъестествен-*

ной силе» зрительного восприятия Леонардо. Но он проявляет прозорливость и в другом отношении: замечает опасность пренебрежения чувственным опытом, утраты способности видеть и слышать бесконечный и великолепный «первичный» мир, еще не перекодированный в слова, знаки, отвлеченные формулы. И понимает, что это обескровит, лишит питательной почвы и достоверности не только живопись, но и всякое человеческое творчество.

Острейшая проблема для сегодняшней педагогической ситуации, когда полноценный чувственный опыт детей по разным причинам оскудевает и подменяется виртуальным, а содержание образования катастрофически перекошено в сторону рационального освоения знаков, понятий, искусственных языков.

Но я не желаю от них ничего другого, кроме того, чтобы хороший живописец изобразил неистовство битвы и чтобы поэт описал другую битву и чтобы обе они были выставлены рядом друг с другом. Ты увидишь, где больше задержатся зрители, где они больше будут рассуждать, где раздастся больше похвал и какая удовлетворит больше. Конечно, картина, как много более полезная и прекрасная, понравится больше. Помести надпись с Божьим именем в какое-либо место, и помести изображение его напротив, и ты увидишь, что будет больше почитаться. Если живопись обнимает собою все формы природы, то у вас есть только названия, а они не всеобщие, как формы. И если у вас есть действие изображения, то у нас есть изображение действия. Выбери поэта, который описал бы красоты женщины ее возлюбленному, и выбери живописца, который изобразил бы ее, и ты увидишь, куда природа склонит влюбленного судью. Конечно, испытание вещей должно было бы быть предоставлено решению опыта. Вы поместили живопись среди механических ремесел. Конечно, если бы живописцы были так же склонны восхвалять в писаниях свои произведения, как и вы, то, я думаю, она не оставалась бы при столь низком прозвище. Если вы называете ее механической, так как прежде всего она выполняется руками, ибо руки изображают то, что они находят в фантазии, то вы, писатели, рисуете посредством пера руками то, что находится в вашем разуме. И если вы назовете ее ремесленной потому, что делается она за плату, то кто впадает в эту ошибку — если ошибкой это может называться — больше вас? Если вы читаете для обучения, то не идете ли вы к тому, кто больше вам заплатит? Исполняете ли вы хоть одно произведение без какой-либо платы? Впрочем, я говорю это не для того, чтобы порицать подобные мнения, так как всякий труд рассчитывает на плату. И может сказать поэт: я создам вымысел, который будет обозначать нечто великое; то же самое создаст живописец, как создал Апеллес «Клевету». Если вы говорили, что поэзия более долговечна, то на это я скажу, что более долговечны произведения котельщика и что время больше их сохраняет, чем ваши или наши произведения, и тем не менее

фантазии в них не много; и живопись, если расписывать по меди глазурию, может быть сделана много более долговечной. Мы можем в отношении искусства называться внуками Бога. Если поэзия распространяется на философию морали, то живопись распространяется на философию природы. Если первая описывает деятельность сознания, то вторая рассматривает, проявляется ли сознание в движениях. Если первая устрашает народы адскими выдумками, то вторая теми же вещами в действительности делает то же самое. Пусть попытается поэт сравниться в изображении красоты, свирепости или вещи гнусной и грубой, чудовишной с живописцем, пусть он на свой лад, как ему угодно, превращает формы, но живописец доставит большее удовольствие. Разве не видано, что картины имели такое сходство с изображаемым предметом, что обманывали и людей, и животных? Если ты, поэт, сумеешь рассказать и описать явления форм, то живописец сделает это так, что они покажутся ожившими благодаря светотени, создательнице выражения на лицах, недоступного твоему перу там, где это доступно кисти.

469. Т.Р.23.

Живопись представляет тебе в одно мгновение свою сущность в способности зрения тем же самым путем, которым впечатление получает природные объекты, и притом в то самое время, в какое складывается гармоническая пропорциональность частей, которые составляют целое, угоджающее чувству; и поэзия докладывает о том же самом, но средством менее достойным, чем глаз, и несущим впечатление изображения называемых предметов более смутно и более медлительно, чем глаз, истинный посредник между объектом и впечатлением, непосредственно сообщающий с высшей истинностью об истинных поверхностях и фигурах того, что появляется перед ним; они же порождают пропорциональность, называемую гармонией, которая сладким созвучием веселит чувство, так же как пропорциональность различных голосов — чувство слуха; последнее все же менее достойно, чем глаз, так как едва родившееся от него уже умирает, и так же скоро в смерти, как и в рождении. Этого не может произойти с чувством зрения, так как если ты представишь глазу человеческую красоту, состоящую из пропорциональности прекрасных членов, то эти красоты и не так смертны и не разрушаются так быстро, как музыка; наоборот, эта красота длительна и позволяет тебе рассматривать себя и обсуждать, — и не родится все снова, как музыка в многократном звучании, не наскучивает тебе, — наоборот, очаровывает тебя и является причиной того, что все чувства вместе с глазом хотели бы обладать ею, и кажется, что хотели бы вступить в состояние с глазом. Кажется, что рот хотел бы через себя заключить ее в тело; ухо получает наслаждение, слушая о ее красотах; чувство осязания хотело бы проникнуть в нее всеми своими порами; и

даже нос хотел бы получать воздух, который непрерывно веет от нее. Но красоту такой гармонии время разрушает в немногие годы, чего не случается с красотой, изображенной живописцем, так как время сохраняет ее надолго; и глаз, поскольку это его дело, получает подлинное наслаждение от этой написанной красоты, как если бы это была живая красота; он устранил осязание, которое считает себя в то же время старшим братом, которое, исполнив свою задачу, не препятствует разуму обсуждать божественную красоту. И в этом случае картина, изображающая ее, в значительной мере замещает то, чего не смогли бы заместить тонкости поэта, который в этом случае хочет сравниться с живописцем, но не замечает, что его слова при упоминании составных частей этой красоты разделяются друг от друга временем, помещающим между ними забвение и разделяющим пропорции, которых он не может назвать без больших длиннот; и не будучи в состоянии назвать их, он не может сложить из них гармоническую пропорциональность, которая складывается из божественных пропорций. И поэтому одновременность, в которой замыкается созерцание живописной красоты, не может дать описанной красоты, и тот грешит против природы, кто захотел бы поместить перед ухом то, что следует поместить перед глазом. Дай в таких случаях музыке вступить в свои права и не вводи науки живописи, истинной изобразительницы природных фигур всех вещей.

Что побуждает тебя, о человек, покидать свое городское жилище, оставлять родных и друзей и идти в поля, через горы и долины, как не природная красота мира, которой, если ты хорошенько рассудишь, ты наслаждаешься только посредством чувства зрения? И если поэт пожелает в этом случае также назвать себя живописцем, то почему не берешь ты эти места в описаниях поэтов и не остаешься дома, не испытывая излишнего жара солнца? Разве не было бы тебе это и полезнее и менее утомительно, так как ты остался бы в прохладе, без движения и без угрозы болезни? Но душа не могла бы наслаждаться благодеяниями глаз, окнами ее обители, не могла бы получить образов радостных местностей, не могла бы видеть тенистых долин, прорезанных игрой змеящихся рек, не могла бы видеть различных цветов, которые своими красками гармонично воздействуют на глаз, и также всего того, что может предстать только перед глазом. Но если живописец в холодные и суровые времена зимы поставит перед тобой те же самые написанные пейзажи и другие, где ты наслаждался, неподалеку от какого-нибудь источника, если ты, влюбленный, сможешь снова увидеть себя со своею возлюбленной на цветущей лужайке, под сладкой тенью зеленеющих деревьев, то не получишь ли ты другого удовольствия, чем выслушивая описание этого случая поэтом? Здесь отвечает поэт и отступает перед высказанными выше доводами, но говорит, что он превосходит живописца, так как заставляет

говорить и рассуждать людей посредством различных выдумок, причем он придумывает такие вещи, какие не существуют; и что он побудит мужчин взяться за оружие; и что он опишет небо, звезды и природу и искусства и вообще все. На что следует ответ, что ни одна из тех вещей, о которых он говорит, не является предметом его собственных занятий, но что если он желает говорить и ораторствовать, то ему придется убедиться, что в этом он побежден оратором; и если он говорит об астрологии, то он украл это у астролога, а если о философии, то — у философа, и что в действительности поэзия не имеет собственной кафедры и заслуживает ее не более, чем мелочной торговец, собиратель товаров, сделанных различными ремесленниками. Но божество науки живописи рассматривает произведения как человеческие, так и божеские, поскольку они ограничены своими поверхностями, то есть линиями границы тел; ими оно указывает скульптору совершенство, его статуй. Оно своей основой, то есть рисунком, учит архитектора поступать так, чтобы его здание было приятно для глаза, оно учит и изобретателей различных ваз, оно же — ювелиров, ткачей, вышивальщиков; оно изобрело буквы, посредством которых выражаются различные языки, оно дало карты арифметикам, оно научило изображению геометрию, оно учит перспективистов и астрологов, а также строителей машин и инженеров.

470. T.P.25.

Говорит поэт, что его наука — вымысел и мера; но что это — только тело поэзии: вымысел содержания и мера в стихах; и лишь потом он одевает себя всеми науками. На это отвечает живописец, что и у него те же самые обязательства в науке живописи, то есть выдумка и мера; выдумка содержания, которое он должен изобразить, и мера в написанных предметах, чтобы они не были непропорциональными; но что он не одевается в эти три науки, — наоборот, другие в значительной части одеваются в живопись, как, например, астрология, которая ничего не делает без перспективы, последняя же и есть главная составная часть живописи; и именно математическая астрология, я не говорю о ложной умозрительной астрологии, — пусть меня извинит тот, кто живет ею при посредстве дураков. Говорит поэт, что он описывает один предмет, представляющий собою другой, полный прекрасных сентенций. Живописец говорит, что и он волен делать то же самое и что в этом также и он поэт. И если поэт говорит, что он зажигает людей к любви, самому главному для всех видов животных, то живописец властен сделать то же самое, и тем более, что он ставит собственный образ любимого предмета перед влюбленным, который, целуя его и обращаясь к нему с речью, часто делает то, чего он не сделал бы с теми же самыми красотою, поставленными перед ним писателем; он тем более поражает разум людей, что заставляет их любить и

влюбляться в картину, не изображающую вообще никакой живой женщины. Мне самому в свое время случилось написать картину, представлявшую нечто божественное; ее купил влюбленный в нее и хотел лишить ее божественного вида, чтобы быть в состоянии целовать ее без опасения. В конце концов совесть победила вздохи и сладострастие, но ему пришлось удалить картину из своего дома. Так пойдя же ты, поэт, опиши красоту, не изображая живого предмета, и побуди ею людей к таким желаниям. Если ты скажешь: я тебе опишу ад или рай и другие наслаждения или ужасы, то живописец тебя превзойдет, так как он поставит перед тобою вещи, которые молча будут говорить о подобных наслаждениях или же будут ужасать тебя и побуждать твою душу к бегству; живопись скорее приводит в движение чувства, чем поэзия. И если ты скажешь, что словами ты побудишь народ к плачу или к смеху, то я тебе скажу, что движешь ими не ты, а оратор, и эта наука — не поэзия. Живописец же приведет к смеху, но не к плачу, потому что плач более сильное состояние, чем смех. Один живописец написал картину, и кто на нее смотрел, тот сейчас же зевал, и это состояние повторялось все время, пока глаза были направлены на картину, которая также изображала зевоту. Другие рисовали позы похотливые и настолько сладострастные, что они побуждали своих зрителей к таким же самым развлечениям, чего не сделает поэзия. И если ты опишешь образ каких-нибудь божеств, то это описание не будет так почитаться, как написанное божество, потому что такой картине будут постоянно приносить обеты и всякие молитвы, к ней будут собираться разные поколения из многих стран и из-за восточных морей, и помощи просить они будут у такой картины, а не у писания.

471. Т.Р.27.

Когда в день рождения короля Матвея поэт поднес ему произведение, восхвалявшее тот день, когда этот царь родился на благо мира, а живописец подарил ему портрет его возлюбленной, то царь сейчас же закрыл книгу поэта, повернулся к картине и остановил на ней свой взгляд с великим восхищением. Тогда поэт в сильном негодовании сказал: «О царь, читай, читай, и ты почувствуешь, что это — предмет более содержательный, чем немая картина».

Тогда царь, услышав, что его упрекают за рассматривание немых предметов, сказал: «О поэт, замолчи, ты не знаешь, что говоришь; эта картина служит лучшему чувству, чем твоя, которая предназначена для слепых. Дай мне что-нибудь, что я мог бы видеть и трогать, а не только слушать, и не порицай мой выбор за то, что я положил твое произведение себе под локоть, а произведение живописца держу обеими руками, устремляя на него свои глаза; ведь руки сами собою взялись служить более достойному чувству, чем слух». Я полагаю, что такое же отно-

шение должно быть между наукой живописца и наукой поэта, какое существует и между соответствующими чувствами, предметами которых они делаются. Разве ты не знаешь, что наша душа состоит из гармонии, а гармония зарождается только в те мгновенья, когда пропорциональность объектов становится видимой или слышимой? Разве ты не видишь, что в твоей науке нет пропорциональности, созданной в мгновение; наоборот, одна часть рождается от другой последовательно, и последующая не рождается, если предыдущая не умирает? Поэтому я полагаю, что твое изобретение значительно ниже, чем изобретение живописца, и только потому, что оно не складывается из гармонической пропорциональности. Оно не радует душу слушателя или зрителя, как это делает пропорциональность прекраснейших частей, составляющих божественные красоты лица, находящегося передо мной. Они, собранные одновременно все вместе, доставляют мне такое наслаждение своими божественными пропорциями, что нет, я полагаю, никакой другой созданной человеком вещи на земле, которая могла бы дать большее наслаждение. Нет столь бессмысленного суждения, которое на предложение выбрать или вечные потемки, или же потерю слуха немедленно не предпочло бы скорее потерять слух вместе с обонянием, чем остаться слепым. Ведь тот, кто теряет зрение, теряет красоту мира со всеми формами сотворенных вещей, а глухой теряет только звук, созданный движением сотрясенного воздуха, ничтожную вещь в мире. Тебе, говорящему, что наука тем более благородна, чем более достоин предмет, на который она распространяется, и что поэтому большего стоит ложное изображение сущности божества, чем изображение менее достойного предмета, мы на это скажем: живопись, которая одна лишь распространяется на творения Бога, более достойна, чем поэзия, которая распространяется только на лживые выдумки человеческих творений.

472. Т.Р.28.

После того как мы пришли к заключению, что поэзия в высшей степени понятна для слепых, а живопись — в той же мере для глухих, мы скажем: живопись настолько более ценна, чем поэзия, насколько живопись служит лучшему и более благородному чувству, чем поэзия; доказано, что это благородство трижды превосходит благородство трех остальных чувств, так как было предпочтено скорее потерять слух, обоняние и осязание, чем чувство зрения. Ведь потерявший зрение теряет вид и красоту вселенной и становится похож на запертого живым в могилу, где он обладает движением и жизнью. Разве не видишь ты, что глаз обнимает красоту всего мира? Он является начальником астрологии; он создает космографию, он советует всем человеческим искусствам и исправляет их, движет человека в различные части мира; он является государем математических

наук, его науки — достовернейшие; он измерил высоту и величину звезд, он нашел элементы и их места. Он сделал возможным предсказание будущего посредством бега звезд, он породил архитектуру и перспективу, он породил божественную живопись. О превосходнейший, ты выше всех других вещей, созданных Богом! Какими должны быть хвалы, чтобы они могли выразить твое благородство? Какие народы, какие языки могли бы полностью описать твою подлинную деятельность?

Он — окно человеческого тела, через него душа созерцает красоту мира и ею наслаждается, при его посредстве душа радуется в человеческой темнице, без него эта человеческая темница — пытка. С его помощью человеческая изобретательность нашла огонь, посредством которого глаз снова приобретает то, что раньше у него отнимала тьма. Он украсил природу сельским хозяйством и полными усадьбами садами. Но какая нужда мне распространяться в столь высоких и долгих речах, — есть ли вообще что-нибудь, что не им делалось бы? Он движет людей с востока на запад, он изобрел мореходство и тем превосходит природу, что простые природные вещи конечны, а произведения, выполняемые руками по приказу глаза, — бесконечны, как это доказывает живописец выдумкой бесконечных форм животных и трав, деревьев и местностей.

473. Т.Р.32.

В отношении изображения телесных предметов между живописцем и поэтом существует такое же различие, какое существует между расчлененными телами и целостными, так как поэт при описании красоты или безобразия какого-либо тела показывает его тебе по частям и в разное время, а живописец дает тебе его увидеть все в одно время. Поэт не может представить словами истинную фигуру членов тела, образующих целое, а живописец ставит их перед тобой с такой истинностью, какая только возможна в природе. С поэтом случается то же самое, что и с музыкантом, поющим соло песню, написанную для четырех певцов, сначала дискантом, затем тенором, потом контральто и наконец басом; в результате этого не получится прелести гармонической пропорциональности, заключенной в гармонические ритмы. Поэт поступает так же, как красивое лицо, которое показывает себя по частям: делая так, оно никогда не оставит тебя удовлетворенным своею красотой, состоящей только в божественной пропорциональности названных выше членов, сложенных вместе, которые только в едином времени слагаются в эту божественную гармонию сочетания частей, часто отнимающих прежнюю свободу у того, кто их видит. Музыка еще создает в своем гармоническом ритме нежные мелодии, слагающиеся из ее различных голосов; у поэта они лишены своего гармонического распорядка, и хотя поэзия восходит через чувство слуха к седилицу суждения так же, как и музыка, поэт все же не может

описать гармонию музыки, так как он не властен говорить в одно и то же время различные вещи; тогда как гармоническая пропорциональность живописи складывается в единое время из различных частей, и о прелести их составляется суждение в единое время, как в общем, так и в частностях; в общем — поскольку имеется в виду сложное целое, в частностях — поскольку имеются слагаемые, из которых складывается это целое; и поэтому поэт остается в отношении изображения телесных предметов много позади живописца и в отношении изображения невидимых вещей — позади музыканта. Если же поэт берет взаймы помощь других наук, то он может показываться на ярмарках, как и другие торговцы, разносчики разных вещей, сделанных многими изобретателями; и поэт поступает именно так, беря взаймы у других наук, например у оратора, философа, астролога, космографа и тому подобных, науки которых совершенно отделены от поэта. Итак, он оказывается маклером, сводящим вместе различных людей для заключения торговой сделки, и если бы ты захотел найти собственное занятие поэта, то нашел бы, что он — не что иное, как собиратель вещей, украденных у разных наук, из которых он делает лживую смесь, или, если ты хочешь выразиться более почетно, придуманную смесь. И в такой свободе выдумки равняет себя поэт с живописцем, а это как раз и является наиболее слабой частью живописи.

474. Т.Р.29.

Музыку нельзя назвать иначе как сестрою живописи, так как она является объектом слуха, второго чувства после глаза, и складывает гармонию сочетанием своих пропорциональных частей, создаваемых в одно и то же время и принужденных родиться и умирать в одном или более гармонических ритмах; эти ритмы обнимают пропорциональность отдельных членов, из которых эта гармония складывается, не иначе, как общий контур обнимает отдельные члены, из чего порождается человеческая красота. Но живопись превосходит музыку и господствует над нею, ибо она не умирает непосредственно после своего рождений, как несчастная музыка; наоборот, она остается в бытии, и то, что в действительности является только поверхностью, показывает тебе себя как живое. О удивительная наука, ты сохраняешь живыми бrenные красоты смертных, делаешь их более долговечными, чем творения природы, непрерывно изменяемые временем, которое доводит их до неизбежной старости. И между этой наукой и божественной природой существует такое же отношение, как между ее творениями и творениями природы, и за это она почитается.

475.Ash. I, 23 г.

Хотя предметы, противостоящие глазу, соприкасаются друг с другом и удаляются постепенно, тем не менее я приведу мое

правило расстояний от 20 к 20 локтям, как это сделал музыкант по отношению к звукам; хотя они объединены и связаны вместе, тем не менее он пользуется немногими степенями от звука к звуку, называя их примой, секундой, терцией, квартой и квинтой, и так от степени к степени установил он названия для разнообразия повышений и понижений звука. Если ты, о музыкант, скажешь, что живопись механична, так как она исполняется действием, то и музыка исполняется ртом, человеческим органом, но не за счет чувства вкуса, как и рука живописца не за счет чувства осязания. Менее достойны, кроме того, слова по сравнению с деяниями; но ты, писец наук, не копируешь ли ты рукою, записывая то, что находится в сознании, как поступает и живописец? И если бы ты сказал, что музыка состоит из пропорции, то именно ею я проследил живопись, как ты увидишь.

476. С.А.382.

У музыки две болезни, из которых одна приводит к смерти, а другая к дряхлости; приводящая к смерти всегда связана с мгновением, следующим за мгновением ее рождения, приводящая к дряхлости делает ее ненавистной и жалкой в своих повторениях.

477. Т.Р.36.

Между живописью и скульптурой я не нахожу иного различия, кроме следующего: скульптор производит свои творения с большим телесным трудом, чем живописец, а живописец производит свое творение с большим трудом ума. Доказано, что это так, ибо скульптор при работе над своим произведением силою рук и ударами должен уничтожать лишний мрамор или иной камень, торчащий за пределами фигуры, которая заключена внутри него, посредством самых механических действий, часто сопровождаемых великим потом, смешанным с пылью и превращенным в грязь, с лицом, залепленным этим тестом, и весь, словно мукой, обсыпанный мраморной пылью, скульптор кажется пекарем; и он весь покрыт мелкими осколками, словно его занесло снегом; а жилище запачкано и полно каменных осколков и пыли. Совершенно противоположное этому происходит у живописца, — речь идет о выдающихся живописцах и скульпторах, — ведь живописец с большим удобством сидит перед своим произведением, хорошо одетый, и движет легчайшую кисть с чарующими красками, а убран он одеждami так, как это ему нравится. И жилище его полно чарующими картинами и чисто. И часто его сопровождают музыка или тещы различных и прекрасных произведений, которые слушаются с большим удовольствием, не мешаясь со стуком молотков или другим шумом. Кроме того, скульптор при доведении до конца своего произведения должен сделать для каждой круглой фигуры много контуров, чтобы такая фигура в результате получилась преле-

стной со всех точек зрения. Но эти контуры могут быть сделаны только при соблюдении выпуклостей и впадин, чего нельзя провести правильно, если не отодвинуться в сторону так, чтобы виден был ее профиль, то есть чтобы границы вогнутых и выпуклых частей были видны граничащими с воздухом, который соприкасается с ними. В действительности это не увеличивает труда художника, принимая во внимание, что он, как и живописец, обладает истинным знанием всех очертаний видимых вещей при любом повороте, каковое знание как для живописца, так и для скульптора всегда находится в пределах его возможностей. Но так как скульптор должен вынимать там, где он хочет сделать промежутки между мускулами, и оставлять там, где он хочет сделать, эти мускулы выпуклыми, то он не может придать им требуемую фигуру — сверх того, что он придал им длину и ширину, — если он не наклоняется, сгибаясь или поднимаясь таким образом, чтобы видеть истинную высоту мускулов и истинную углубленность их промежутков; о них скульптор судит с этого места, и этим путем исправляются контуры; иначе он никогда правильно не установит границ или истинных фигур своих скульптур. И говорят, что это — умственный труд скульптора, а на самом деле здесь нет ничего, кроме телесного труда, так как что касается ума, или — скажу я — суждения, то оно должно только в профиль исправлять очертания членов тела там, где мускулы слишком высоки. Обыкновенно именно так скульптор доводит до конца свои произведения; этот обычай руководствуется истинным знанием всех границ фигур тела при любом повороте. Скульптор говорит, что если он снимет лишнее, то он не может добавить, как живописец. На это следует ответ: если его искусство совершенно, он должен посредством знания мер снять столько, сколько достаточно, а не лишнее; [ошибочное] снятие порождается его невежеством, заставляющим его снимать больше или меньше, чем следует. Но о них я не говорю, так как это не мастера, а губители мрамора. Мастера не доверяются суждению глаза, так как он всегда обманывает, как доказано: кто хочет разделить линию на две равные части, руководствуясь суждением глаза, того опыт часто обманывает. Вследствие такого опасения хорошие судьи всегда остерегаются, — чего не случается с невеждами, — и поэтому непрерывно продвигаются вперед, руководствуясь знанием мер каждой длины, толщины и ширины членов тела, и, поступая так, не снимают больше должного. У живописца десять различных рассуждений, посредством которых он доводит до конца свое произведение, именно: свет, мрак, цвет, тело, фигура, место, удаленность, близость, движение и покой. Скульптор должен обсуждать только тело, фигуру, место, движение и покой. О мраке и свете он не заботится, так как природа сама порождает их в его скульптурах; о цвете — никак; об отдаленности и близости он заботится наполовину, то есть он пользуется лишь линейной перспективой, но не пер-

спективной цветов, изменяющихся на различных расстояниях от глаза в цвете и в отчетливости своих границ и фигур. Итак, скульптура требует меньше рассуждений и вследствие этого требует для ума меньше труда, чем живопись.

478. Ash. I, 25 г.

Так как я не меньше занимался скульптурой, чем живописью, и работал как в той, так и в другой в одинаковой степени, мне кажется, что я, не вызывая особых упреков, мог бы высказать мнение, какой из них свойственно больше силы ума, трудности и совершенства. Во-первых, скульптура требует определенного освещения, именно — верхнего, а живопись несет повсюду с собою и освещение, и тень. Освещение и тень, таким образом, очень важны для скульптуры. Скульптору в этом случае помогает природа рельефа, порождающего их из себя; а живописец привнесенным от себя искусством делает их в тех местах, где их разумно сделала бы природа. Скульптору недоступно многообразие природы цветов предметов, живопись же не отступает ни перед чем. Перспективы скульпторов вовсе не кажутся истинными, а перспективы живописца уводят на сотню миль по ту сторону картины, и воздушная перспектива далека от нее. Скульпторы не могут изобразить прозрачных тел, не могут изобразить ни светящихся тел, ни отраженных лучей, ни блестящих тел, как то зеркал и подобных полированных вещей, ни облаков, ни пасмурной погоды, ни бесконечно много того, чего я не называю, чтобы не надоесть. Свойственно же скульптуре только то, что она больше противостоит времени, хотя подобной же прочностью обладает живопись, сделанная на толстой меди, покрытой белой эмалью и поверх нее расписанной эмалевыми красками, помещенная в огонь и обожженная. Она по долговечности превосходит скульптуру. Может сказать скульптор, что где он сделал ошибку, ему не легко ее исправить. Это слабый довод, когда хотят доказать, что неисправимая глупость делает произведение более достойным. Но я правильно скажу, что труднее исправить разум того мастера, который делает подобные ошибки, чем исправить произведение, им испорченное.

479. Ash. I, 24 в.

Мы прекрасно знаем, что обладающий достаточной практикой не сделает подобных ошибок; наоборот, он будет продвигаться с хорошими правилами, снимая за один раз столько, чтобы хорошо исполнить свое произведение.

Также и скульптор, если он работает из глины или воска, может и отнимать, и прикладывать, и, закончив, с легкостью отливать это в бронзе. Это — последняя работа, и наиболее прочная из всего, чем обладает скульптура, ибо то, что сделано только из мрамора, подвержено разрушению, чего не случается с бронзой.

Итак, живопись, исполненная на меди, в которой можно, как было сказано о живописи, и снимать, и накладывать, — совершенно равна скульптуре в бронзе: ведь когда ты работал в воске, можно было точно так же и снимать, и накладывать; эта живопись на меди глазурию также в высшей степени долговечна, раз уж долговечна бронзовая скульптура. И если бронза становится черной и коричневой, то эта живопись полна разнообразных и приятных цветов и бесконечно разнообразна, как было сказано выше; если кто-нибудь захотел бы говорить только о живописи на деревянной доске, то с этим согласился бы и я в отношении скульптуры, и скажу так: если живопись более прекрасна, более фантастична и более богата, то скульптура более прочна, ибо ничего другого у нее нет. Скульптура с небольшим усилием показывает то, что в живописи кажется удивительной вещью: заставить казаться осязательными вещи неосязаемые, рельефными — вещи плоские, удаленными — вещи близкие! И точно, живопись украшена бесконечными размышлениями, которыми скульптура не пользуется.

480. T.P.45.

Первое чудо, которое проявляется в живописи, это то, что кажется, будто она отделяется от стены или от другой плоскости и обманывает тонкие суждения тем, что она все же не отрывается от поверхности стены; в этом отношении скульптор так исполняет свои произведения, что они кажутся именно тем, чем они и являются; и в этом заключается причина того, что живописцу необходимо соблюдать такую отчетливость в тенях, чтобы они были спутниками светов. Скульптору не нужна такая наука, так как природа помогает его произведениям, как и всем другим телесным предметам. Если у них отнять свет, то они окажутся одного и того же цвета, а если им вернуть свет, то они будут разных цветов, то есть светлыми или темными. Второе, что требует от живописца большого размышления, это то, что он с тонкой осмотрительностью должен накладывать истинные качества и количества теней и светов. А на произведения скульптора их накладывается сама природа. Третье — это перспектива, тончайшее исследование и изобретение, основанное на изучении математики, которая силою линий заставляет казаться отдаленным то, что близко, и большим то, что невелико. И здесь, в этом случае, скульптуре помогает природа, и она действует сама, без изобретений скульптора.

О живописи в прошлом и о недостатках современных живописцев

481.Ash. I, 17 v.

Первая картина состояла из одной-единственной линии, которая окружала тень человека, отброшенную солнцем на стену.

NB Кто еще осмелился бы на такое утверждение? Леонардо говорит так, будто он и был «автором» этой предполагаемой первой картины или, по крайней мере, стоял у него за плечом. В другом месте он рассказывает, как выглядит линия горизонта, если плыть три тысячи миль вверх по Нилу.

А как он узнал, что если отодвинуть от себя предмет на двойное расстояние, его образ на сетчатке глаза уменьшится вдвое? Ведь в жизни этого никто не замечает! Его записи бывают посвящены тому, что происходит в глубине океана, в воздухе или на Луне... И неважно, какой процент из всего этого соответствует положениям сегодняшней науки, не этому учит нас Леонардо. Главное — через его слова и рисунки мы чувствуем универсального, свободного человека, человека «больше нормы», которому, пользуясь его же словами, открывается «все, что существует во Вселенной как сущность, как явление или как воображаемое».

482. T.P.81.

Я говорю живописцам, что никогда никто не должен подражать манере другого, потому что он будет называться внуком, а не сыном природы в отношении искусства. Ведь если природные вещи существуют в столь великом изобилии, то скорее хочется и следует прибегнуть к ней, чем к мастерам, которые научились у нее. И это я говорю не для тех, кто стремится посредством искусства приобрести богатства, но для тех, кто от искусства жаждут славы и чести.

483.C.A.141 г.

Как живопись из века в век склоняется к упадку и теряется, когда у живописцев нет иного вдохновителя, кроме живописи уже сделанной.

Картина у живописца будет мало совершенна, если он в качестве вдохновителя берет картины других; если же он будет учиться на предметах природы, то он произведет хороший плод, — как это мы видим на живописцах после римлян, которые все время подражали один другому и из века в век все время толкали это искусство к упадку. После них пришел Джотто, флорентиец. Родившись в пустынных горах, где жили только козы и подобные звери, он, склоненный природой к такому искусству, начал рисовать на скалах движения коз, зрителем которых он был; и так начал он делать всех животных, которые ему встречались в округе: таким образом, после долгого изучения, он превзошел не только мастеров своего века, но и всех за мно-

гие прошедшие столетия. После него искусство снова упало, так как все подражали уже сделанным картинам, и так из столетия в столетие оно склонялось к упадку, вплоть до тех пор, когда флорентиец Томазо, прозванный Мазаччо, показал совершенным произведением, что те, которые вдохновлялись иным, чем природой — учительницей учителей, трудились напрасно.

Так хочу я сказать об этих математических предметах: те, кто изучают только авторов, а не произведения природы, те в искусстве внуки, а не сыны природы, — учительницы хороших авторов. — О величайшая глупость тех, которые порицают учащихся у природы и пренебрегают авторами — учениками этой природы!

NB *Очень важная и ясно выраженная мысль! Искусство происходит не из искусства, а из художественного преобразования «обычной», бесконечной, внехудожественной действительности. И хотя нужно осваивать то, что сделано другими до тебя, от одного этого не родится новое полноценное творчество. И еще: не только биография гениального Джотто, но также современный исследовательский опыт показывает, что ребенку, вступающему на путь художественного развития, весьма полезно иметь дело с простыми предметами обихода и сюжетами из повседневной жизни, а не только с тем, что принято считать чем-то эстетически значимым и что многократно изображено или описано большими мастерами. Если рядом кто скачет по камням — с нее и начни. Со временем и житие св. Франциска напишешь, как никто другой.*

Р.М.Рильке советовал начинающему поэту: не пиши стихов о любви, а то и сам не заметишь, как попадешь во власть великих образцов. Начни с неприметного, что лежит у твоих ног, на что никто не обращает внимание, — тогда скорее прорежется твой собственный голос в поэзии.

484. Ash. I, 25 г.

Существует некоторый род живописцев, которые вследствие своего скудного обучения по необходимости живут под покровом красоты золота и лазури; они с величайшей глупостью заявляют, что они, мол, не берутся за хорошие вещи ради жалкого вознаграждения и что и они сумели бы сделать хорошо, не хуже другого, лишь бы им хорошо платили. Так посмотри же на глупое племя! Разве не могут они задерживать какое-либо хорошее произведение, говоря: «Это за высокую цену, это — за среднюю, а это — сортовой товар», и показать, что у них есть произведения на всякую цену?

485. Т.Р.425.

Величайший порок обнаруживается у многих живописцев, именно — что они делают жилища людей и иные околичности таким образом, что городские ворота доходят только до колена обитателей, даже если они ближе к глазу зрителя, чем человек,

который обнаруживает желание в них войти. Мы видели портики, нагруженные людьми, и колонны, поддерживающие их, были в кулаке человека, на них опиравшегося, вроде тоненькой палочки. Также и других подобных вещей следует всячески избегать.

486. Ash. I, 16 г.

Тот общеупотребительный способ, которым пользуются живописцы на стенах капелл, следует весьма порицать на разумных основаниях. Именно, они изображают один сюжет в одном ряду со своим пейзажем и зданием, затем поднимаются на другую ступень и изображают снова один сюжет, изменяя точку зрения первого ряда, затем третий и четвертый, так что одна и та же стена видна сделанной с четырех точек зрения, что является высшей глупостью подобных мастеров. Мы знаем, что точка зрения помещается в глазу зрителя сюжета. И если бы ты захотел сказать: каким образом могу я изобразить жизнь святого разделенной на много сюжетов на одной и той же стене? — то на это я тебе отвечу, что ты должен поместить первый план с точкой зрения на высоте глаза зрителя этого сюжета, и именно в этом плане должен ты изобразить первый большой сюжет; потом, уменьшая постепенно фигуры, дома, на различных холмах и равнинах, сделаешь ты все околичности данного сюжета. А на остатке стены сверху сделай большие деревья для сравнения фигур, или ангелов, если они подходят к сюжету, или же птиц, облака и подобные вещи. Другим способом и не пытайся, так как всякое твоё произведение будет фальшивым.

Каким должен быть живописец

487. Ash. I, 31 v.

Эта милостивая природа позаботилась так, что ты во всем мире найдешь, чему подражать.

488. S.K.M. III, 48 г.

Живописец спорит и соревнуется с природой.

489. С.А.76 г.

Живописец, бессмысленно срисовывающий, руководствуясь практикой и суждением глаза, подобен зеркалу, которое подражает в себе всем противопоставленным ему предметам, не обладая знанием их.

490. Ash. I, 2 г.

Ум живописца должен быть подобен зеркалу, которое всегда превращается в цвет того предмета, который оно имеет в качестве объекта, и наполняется столькими образами, сколько существует предметов, ему противопоставленных. Итак, зная, что ты

не можешь быть хорошим живописцем, если ты не являешься универсальным мастером в подражании своим искусством всем качествам форм, производимых природой, и что ты не сумеешь их сделать, если ты их не видел и не зарисовал в душе, ты, бродя по полям, поступай так, чтобы твое суждение обращалось на различные объекты, и последовательно рассматривай сначала один предмет, потом другой, составляя сборник из различных вещей, отборных и выбранных из менее хороших. И не поступай так, как некоторые живописцы, которые, утомясь своим воображением, оставляют работу и прогуливаются пешком для упражнения, сохраняя усталость в душе; они не только не хотят обращать внимание на различные предметы, но часто, при встрече с друзьями или родственниками, они, приветствуемые ими, их не видят и не слышат, и те принимают их не иначе как за обиженных.

491 Т. Р. 77.

В числе глупцов есть некая секта, называемая лицемерами, которые непрерывно учатся обманывать себя и других, но больше других, чем себя, а в действительности обманывают больше самих себя, чем других. И это именно они упрекают живописцев, изучающих в праздничные дни предметы, ведущие к истинному познанию всех свойственных произведениям природы фигур, и ревностно старающихся по мере своих сил приобрести их знание. Но такие хулители пусть умолкнут, ибо это есть способ познать Творца столь многих удивительных вещей, способ полюбить столь великого изобретателя. Поистине, великая любовь порождается великим знанием того предмета, который ты любишь, и если ты его не узнаешь, то лишь мало или совсем не можешь его любить; и если ты его любишь за то благо, которого ты ожидаешь от него, а не ради собственной его высшей доблести, то ты поступаешь как собака, которая виляет хвостом и радуется, прыгая перед тем, кто может дать ей кость. Но если бы она знала доблесть этого человека, то она любила бы его гораздо больше, если бы она эту доблесть могла иметь в виду.

492. Ash. I, 26 г.

Тот мастер, который убедил бы себя, что он может хранить в себе все формы и явления природы, показался бы мне, конечно, украшенным великим невежеством, ибо таких вещей, как названные явления, бесконечно много, и память наша не обладает такой вместимостью, чтобы ее было достаточно. Поэтому ты, живописец, смотри, чтобы алчность к заработку не преодолела в тебе чести искусства, ибо заработок чести куда значительнее, чем честь богатств. Так вот, на этом и на других основаниях, которые можно было бы привести, старайся прежде всего рисунком передать в ясной для глаза форме намерение и изобретение, заранее созданное в твоём воображении; затем

двигайся дальше, отнимая и прибавляя до тех пор, пока ты не будешь удовлетворен; затем вырисовывай людей одетых или нагих, в соответствии с тем, как ты это расположил в своем произведении, и делай так, чтобы в отношении размера и величины, подчиненных перспективе, в произведение не попало ничего такого, что не было бы как следует обсуждено в соответствии с разумом и явлениями природы. И это будет для тебя путем сделаться почитаемым в твоём искусстве.

493. Ash. I, 25 v.

Можно с очевидностью сказать, что некоторые ошибаются, называя хорошим мастером того живописца, который хорошо делает только голову или фигуру. Конечно, невелико дело, изучая одну только вещь в течение всей своей жизни, достигнуть в этом некоторого совершенства. Но так как мы знаем, что живопись обнимает и включает в себе все вещи, произведенные природой и созданные случайной деятельностью людей, и, наконец, все то, что может быть понято при помощи глаз, то мне кажется жалким мастером тот, кто только одну фигуру делает хорошо. Или ты не видишь, сколько и каких движений производится людьми? Разве ты не видишь, сколько существует различных животных, а также деревьев, трав, цветов, какое разнообразие местностей гористых и равнинных, источников, рек, городов, зданий общественных и частных, орудий, приспособленных для человеческого употребления, различных одежд, украшений и ремесел? Все эти вещи достойны того, чтобы быть в равной мере хорошо исполненными и как следует примененными тем, кого ты хочешь называть хорошим живописцем.

494. T. P. 60.

Тот не будет универсальным, кто не любит одинаково всех вещей, содержащихся в живописи; так, если кому-либо не нравятся пейзажи, то он считает, что эта вещь постигается коротко и просто; как говорил наш Боттичелли, это изучение напрасно, так как достаточно бросить губку, наполненную различными красками, в стену, и она оставит на этой стене пятно, где будет виден красивый пейзаж. Правда, в таком пятне видны различные выдумки, — я говорю о том случае, когда кто-либо пожелает там искать, — например, головы людей, различные животные, сраженья, скалы, моря, облака и леса и другие подобные вещи, — совершенно так же, как при звоне колоколов, в котором можно расслышать, будто они говорят то, что тебе кажется. Но если эти пятна и дадут тебе выдумку, то все же они не научат тебя закончить ни одной детали. И этот живописец делал чрезвычайно жалкие пейзажи.

NB *В который раз перечитывая этот фрагмент, я вдруг впервые поняла, как проста тайна человеческой универсальности! Дело не в*

«равновесии двух полушарий мозга», не во «всестороннем развитии способностей». Универсален тот, кто любит все и притом — в равной мере.

Не Возьмусь судить, верна ли критика пейзажа у Боттичелли. Но, думаю, нельзя требовать от каждого художника такой универсальной «эстетической любви», как у Леонардо или, скажем, у Пушкина. Для кого-то «своим» окажется лишь определенный пласт бесконечной действительности, а значит, и какие-то предпочтительные жанры в искусстве, круг сюжетов, предметов и т.д. Тогда он может стать, к примеру, пейзажистом или еще хуже — маринистом, и это не помешает ему быть настоящим художником.

Случается, что ребенок, казавшийся неспособным к тому или другому виду искусства, вдруг создает полноценное произведение, если задание нечаянно коснется того, что для него ценно и значимо.

Вот задача, достойная гуманной педагогики искусства — не выстраивать всех в безликие шеренги, а искать ту «ценностную» область действительности, где скорее начнет раскрываться творческий потенциал конкретного ребенка.

496. G. 25 г.

Недостойн похвалы тот живописец, который хорошо делает только одну-единственную вещь, например — нагое тело, голову, платья, или животных, или пейзажи, или другие частности, ибо нет столь тупого таланта, который, обратившись к одной-единственной вещи и постоянно ею занимаясь, не сделал бы ее хорошо.

497. T. P. 57.

Жалок тот мастер, произведение которого опережает его суждение; тот мастер продвигается к совершенству искусства, произведения которого превзойдены суждением.

498. T. P. 62.

Тот живописец, который не сомневается, немногого и достигает. Когда произведение превосходит суждение творца, то такой художник немногого достигает, а когда суждение превосходит произведение, то это произведение никогда не перестает совершенствоваться, если только скупость не помешает этому.

499. T. P. 406.

Когда произведение стоит наравне с суждением, то это печальный знак для такого суждения; а когда произведение превосходит суждение, то это еще хуже, как это случается с теми, кто удивляется, что сделал так хорошо; когда же суждение превосходит произведение, то это самый лучший знак, и если юноша оказывается в таком положении, то он, без сомнения, станет превосходнейшим творцом. Правда, он скомпонует мало произведений, но они будут такого качества, что будут ос-

танавливать людей, чтобы с удивлением созерцать их совершенства.

NB Если я верно понимаю Леонардо, речь идет о том, что замысел и мечта художника, тот идеальный «образ мира», который он носит в себе и который заставляет его браться за кисть, должен быть выше достижимого на этот момент результата. И этот зазор между замыслом и достижением создает пространство роста, постоянного движения вперед.

Это — вопрос педагогический. Когда замысел ребенка, то, чего он хочет, начинает заметно преобладать над тем, что он может воплотить, он по видимости терпит творческую неудачу. Но для чуткого педагога такая неудача как раз и послужит признаком потенциальной одаренности и подскажет, в чем именно и как помочь этому ребенку.

Но это и вопрос более общего порядка, связанный не только с творческим развитием в искусстве или в какой-то другой области культуры. Это и принципы духовно-нравственного самовоспитания человека. Если я стал «равен себе», вполне стал тем, кем и мечтал стать, то движение закончено.

Мой «замысел о себе самом» всегда должен быть выше моего наличного уровня, тогда у меня есть надежда расти, преодолевать свои границы. Неспроста такую духовную работу над собой сравнивают иногда с работой художника над произведением.

Но в условиях краткой земной жизни такая вечная неудовлетворенность, устремленная вперед, оборачивается и другой стороной. Творчество Леонардо да Винчи невысказанно по объему, — и все же отмечено какой-то фрагментарностью, незавершенностью, которая может нас огорчать. Такой человек, как сам он пишет, «скомпонует мало произведений». Зато сколько проектов, сколько полуреализованных изобретений, полудоказанных открытий...

В записных книжках стареющего Леонардо не раз появляется вопрос: «Скажи мне, сделал ли ты хоть что-нибудь?»

500. Ash. I, 26 т.

Само собой разумеется, человек во время занятия живописью не должен отвергать суждение каждого, так как мы ясно знаем, что человек, даже если он и не живописец, будет обладать знанием о форме другого человека, и будет очень хорошо судить, если тот горбат, или если у него одно плечо высоко или низко, или если у него большой рот или нос, или другие недостатки. Если мы знаем, что люди могут правильно судить о творениях природы, то в сколько большей степени придется нам признать, что они могут судить о наших ошибках; ведь мы знаем, насколько человек ошибается в своих произведениях, и если ты не признаешь этого в себе, то прими это во внимание у других, и ты извлечешь выгоду из ошибок других.

Будь, таким образом, готов терпеливо выслушивать мнение других; рассмотри хорошенько и подумай хорошенько, имел ли этот хулигатель основание хулить тебя или нет; если ты найдешь,

что да, — поправь; а если ты найдешь, что нет, то сделай вид, что не понял его, или, если ты этого человека ценишь, то приведи ему разумное основание того, что он ошибается.

501. Ash. I, 17 v.

Я напоминаю тебе, живописец, что если ты собственным суждением или по указанию кого-либо другого откроешь какую-нибудь ошибку в своих произведениях, то исправь их, чтобы при обнаружении такого произведения ты не обнаружил вместе с ним и своего несовершенства. И не извиняйся перед самим собой, убеждая себя покрыть свой позор следующим своим произведением, так как живопись не умирает непосредственно после своего создания, как музыка, но на долгое время

В При всей простоте и самоочевидности этих увещеваний Леонардо, их актуальность сегодня просто пугает. Сам уклад жизни и бездумная пропаганда этого уклада приводят к тому, что все больше молодых людей прилагают все усилия, чтобы стать и магнитом зависти, и денежным ящиком воров.

Как убедить, что «быть» несравнимо важнее, чем «иметь»; что «я» и «мое» — далеко не одно и то же; что главные ценности — не те, которые могут у тебя отнять? Что, согласно Писанию, все богатства мира не стоят того, чтобы ради них повредить своей душе?

Это, может быть, самые насущные задачи образования (именно образования, а не обучения). Но, отодвигая гуманитарно-художественные дисциплины на задний план, мы никогда не приблизимся к их решению в условиях светской общеобразовательной школы.

будет свидетельствовать о твоём невежестве. И если ты скажешь, что за исправлением уходит время, которое, если использовать его для другого произведения, дало бы тебе большой заработок, то ты должен понять, что заработанных денег нужно немного для того, чтобы с излишком удовлетворить наши жизненные потребности; если же ты желаешь денег в изобилии, то ты ими воспользуешься не до конца, и это уже не твое; и все сокровище, которым ты не воспользуешься, оказывается точно так же нашим, а то, что ты зарабатываешь и что не служит тебе в твоей жизни, оказывается в руках других без твоего благоволения. Но если ты будешь учиться и как следует шлифовать свои произведения теорией двух перспектив, ты оставишь произведения, которые доставят тебе больше почестей, чем деньги, ибо деньги почитают ради их самих, а не ради того, кто ими обладает: последний всегда становится магнитом зависти и денежным ящиком воров, и знаменитость богача исчезает вместе с его жизнью; остается знаменитым сокровище, а не собиратель сокровищ. Куда много больше слава доблести смертных, чем слава их сокровищ. Сколько ушло императоров и сколько князей, и не осталось о них никакого воспоминания! А они добивались государств и богатств

только для того, чтобы оставить славу о себе. И сколько было тех, кто жили в бедности, без денег, чтобы обогатиться доблестью! И желание это настолько же больше осуществлялось для доблестного, чем для богатого, насколько доблесть превосходит богатство. Не видишь ли ты, что сокровище само по себе не восхваляет своего собирателя после его жизни, как это делает наука, которая всегда является свидетелем и трубным гласом своего творца, потому что она — дочь того, кто ее породил, а не падчерица, как деньги. И если ты скажешь, что можешь лучше удовлетворить свое чревоугодие и сладострастие посредством этого сокровища, а отнюдь не доблестью, то посмотри на других, которые только и служили гнусным желаниям тела, как прочие дикие звери; какая слава осталась от них? И если ты будешь извинять себя тем, что ты должен был бороться с нуждой и поэтому не имел времени учиться и сделать себя поистине благородным, то обвиняй в этом лишь самого себя, так как только обучение доблести является пищей и души, и тела. Сколько философов, рожденных в богатстве, отстраняли сокровища от себя, чтобы не быть ими опозоренными! И если бы ты стал извинять себя детьми, которых тебе нужно кормить, то им достаточно немногого; поступай же так, чтобы пищей их были доблести, а это — верные богатства, ибо они покидают нас только лишь вместе с жизнью. И если ты скажешь, что собираешься сначала приобрести денежный капитал, который поддержит тебя в старости, то знай, что выученное никогда не исчезнет и не даст тебе состариться, а копилка у доблестей будет полна снов и пустых надежд.

502. Ash. I, 28 г.

Мы знаем твердо, что ошибки узнаются больше в чужих произведениях, чем в своих, и часто, порицая чужие маленькие ошибки, ты не увидишь своих больших. И чтобы избежать подобного невежества, сделай так, чтобы быть прежде всего хорошим перспективистом, затем ты должен обладать полным знанием мер человека и других животных, и кроме того — быть хорошим архитектором, то есть знать все то, что относится к форме построек и других предметов, находящихся над землею; а форм этих бесконечно много, и чем больше ты их будешь знать, тем более похвальна будет твоя работа; те же, в которых ты не напрактиковался, не отказываясь срисовывать с натуры. Но, возвращаясь к обещанному выше, я говорю, что, когда ты пишешь, у тебя должно быть плоское зеркало и ты должен часто рассматривать в него свое произведение. Видимое наоборот, оно покажется тебе исполненным рукою другого мастера, и ты будешь лучше судить о своих ошибках, чем иначе; хорошо также часто вставать и немного развлекаться чем-нибудь другим, так как при возвращении к вещи ты лучше о ней судишь, а если ты постоянно находишься рядом с ней, то сильно обманыва-

ешья. Хорошо также удалиться от нее, так как произведение кажется меньшим, легче охватывается одним взглядом и лучше распознаются несоответствия и диспропорции в членах тела и цветах предметов, чем вблизи.

503. Т. Р. 499.

Как фигуры часто похожи на своих мастеров. Это происходит потому, что суждение наше и есть то, что движет руку при создании очертаний данной фигуры с различных точек зрения, вплоть до того, пока она не будет удовлетворять. А так как это суждение — одна из сил нашей души, посредством которой она komponует по своему желанию форму того тела, где она обитает, то если ей нужно снова сделать при помощи рук человеческое тело, она охотно снова делает то тело, которое она впервые изобрела. И отсюда происходит так, что тот, кто влюбляется, охотно влюбляется в похожие на себя предметы.

504. Т. Р. 108.

Величайший недостаток живописцев — это повторять те же самые движения, те же самые лица и покрои одежд в одной и той же исторической композиции и делать большую часть лиц похожей на их мастера; это много раз вызывало мое изумление, так как я знавал живописцев, которые во всех своих фигурах, казалось, портретировали самих себя с натуры, и в этих фигурах видны движения и манеры их творца. Если он быстр в разговоре и в движениях, то его фигуры так же быстры; если мастер набожен, таковыми же кажутся и его фигуры со своими искривленными шеями; если мастер не любит утруждать себя, его фигуры кажутся срисованной с натуры ленью; если мастер непропорционален, фигуры его таковы же; если он глуп, он широко обнаруживает себя в своих исторических композициях, они — враги всякой цельности, [фигуры их] не обращают внимания на свои действия; наоборот, один смотрит сюда, другой туда, как во сне; и так каждое свойство в живописи следует за собственным свойством живописца. Так как я много раз размышлял о причине такого недостатка, мне кажется, что нужно прийти к такому заключению: душа, правящая и управляющая каждым телом, есть то, что образует наше суждение еще до того, как оно станет нашим собственным суждением. И именно так создала она всю фигуру человека, как рассудила, что будет хорошо, — с длинным носом или коротким, или курносым, — и так же определила его высоту и фигуру. И так велико могущество этого суждения, что оно движет рукою живописца и заставляет его повторять самого себя, так как этой душе кажется, что это и есть правильный способ изображать человека и что тот, кто поступает не так, как она, ошибается. И если она находит кого-нибудь, кто похож на ее тело, ею же составленное, того она любит и часто влюбляется в него. Поэтому многие влюбляются и

берут себе в жены похожих на себя; и часто дети, рождающиеся от них, похожи на своих родителей.

505. Т. Р. 109.

Живописец должен делать свою фигуру по правилу природного тела, которое, по общему признанию, обладает похвальной пропорциональностью. Сверх этого он должен измерить самого себя и посмотреть, в какой части он сам отличается — много или мало — от этой вышеназванной похвальной фигуры. Узнав это, он должен защищаться всем своим обучением, чтобы в создаваемых им фигурах не впадать в те же самые недостатки, которые свойственны ему самому. И знай, что с этим пороком ты должен больше всего сражаться, ибо это такой недостаток, который родился вместе с суждением. Ведь душа, госпожа твоего тела, и есть то, что является твоим собственным суждением, и она охотно наслаждается созданиями, похожими на то, что она создала при составлении своего тела. И отсюда получается, что нет столь безобразной с виду женщины, которая не нашла бы какого-нибудь любовника, — лишь бы только она не была чудовишна. Итак, помни, что ты должен изучить недостатки, свойственные тебе, и избегать их в тех фигурах, которые ты komponуешь.

506. С. А. 181 г.

Живописцу необходимы: математика, относящаяся к этой живописи, отсутствие товарищей, чуждающихся своих занятий, мозг, способный изменяться в зависимости от разнообразия предметов, перед ним находящихся, и удаленность от других забот. И если при созерцании и определении какого-либо случая, — как, например, это бывает, когда предмет приводит в движение чувство, — тогда о таких случаях нужно рассудить, который из них наиболее труден для определения, и его проследить до самой последней его ясности и потом проследить определение другого. Но прежде всего — иметь душу, подобную поверхности зеркала, которая преобразуется во столько разных цветов, сколько цветов у противостоящих ей предметов; товарищи его должны быть схожи с ним в таких занятиях, а если он не находит их, то пусть он будет с самим собой в своих размышлениях, так как в конце концов он не найдет более полезного общества.

508. Ash. I, 27 v.

Чтобы телесное благополучие не портило благополучия разума, живописец или рисовальщик должен быть отшельником, и в особенности — когда он намерен предаться размышлениям и рассуждениям о том, что, постоянно появляясь перед глазами, дает материал для памяти, чтобы сохраниться в ней. И если ты будешь один, ты весь будешь принадлежать себе. И если ты будешь в обществе одного-единственного товарища, то ты будешь

принадлежать себе наполовину, и тем меньше, чем больше будет нескромность его поведения; и если ты будешь со многими, то будешь еще больше подвергаться подобным неудобствам; и если бы ты захотел сказать: я буду поступать по-своему, я буду держаться в стороне, чтобы я смог лучше наблюдать формы природных вещей, то я говорю, что это плохо выполнимо, так как ты не сможешь сделать так, чтобы часто ухо твое не было открыто для их болтовни. Нельзя служить двум господам. Ты будешь плохим товарищем, а еще хуже будет результат размышлений об искусстве. И если ты скажешь: я буду настолько держаться в стороне, что их слова не достигнут меня и не помешают мне, то на это я тебе говорю, что тебя будут считать за чудака; но не видишь ли ты, что, поступая так, ты тоже оказался бы в одиночестве?

509. Т. Р. 71.

Я говорю и утверждаю, что рисовать в обществе много лучше, чем одному, и по многим основаниям. Первое — это то, что тебе будет стыдно, если в среде рисовальщиков на тебя будут смотреть как на неуспевающего, и этот стыд будет причиной хорошего учения; во-вторых, хорошая зависть тебя побудит быть в числе более восхваляемых, чем ты, так как похвалы другим будут тебя прищипывать; и еще то, что ты уловишь от работы тех, кто делает лучше тебя; и если ты будешь лучше других, то извлечешь выгоду, избегая ошибок, и хвалы других увеличат твои достоинства.

510. Ash. I, 16 г.

Маленькие комнаты или жилища собирают ум, а большие его рассеивают.

Обучение живописца

511. S. K. M. III, 24 v.

Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя.

NB *Почему педагогика XV—XVI веков, которая и педагогикой-то не была, давала такие результаты, к которым не смогли даже приблизиться позднейшие академии и другие образовательные учреждения, специально созданные, чтобы отбирать и учить художников?*

Мастер брал подростка в помощники, полностью подчинял его своим задачам и своему влиянию, меньше всего думал о раскрытии самобытной индивидуальности ученика, но именно в этих условиях выросло больше самостоятельных художников, чем когда бы то ни было. И многие из них, подобно Леонардо, перерастали своих выдающихся учителей.

Что же таилось в этой, казалось бы, антипедагогической ситуации и давало столь удивительные плоды? Вот задача, которую педагогика творчества (не только художественного!) должна попы-

таться разгадать. И не только разгадать, но и задаться вопросом, какие черты той педагогической ситуации можно воспроизвести в условиях современного общего образования, если оно действительно, а не на словах хочет стать развивающим образованием.

512. G.25 г.

Много есть людей, обладающих желанием любовью к рисунку, но неспособных. Это узнается у мальчиков, которые не старательны и никогда не заканчивают своих вещей тенями.

513. Ash. I, 17 v.

Юноша должен прежде всего учиться перспективе; потом — мерам каждой вещи; потом — рисунки хорошего мастера, чтобы привыкнуть к хорошим членам тела; потом — с натуры, чтобы утвердиться в основах изученного; потом рассматривать некоторое время произведения руки различных мастеров; наконец — привыкнуть к практическому осуществлению и работе в искусстве.

514. Ash. I, 27 v.

Если ты, рисовальщик, хочешь учиться хорошо и с пользой, то приучайся рисовать медленно и оценивать, какие света и сколько их содержат первую степень светлоты, и подобным же образом из теней, какие более темны, чем другие, и каким способом они смешиваются друг с другом, и каковы их размеры; сравнивать одну с другой; в какую сторону направляются линейные очертания, и какая часть линий изгибается в ту или другую сторону, и где они более или менее отчетливы, а также широки или тонки. Напоследок, чтобы твои тени и света были объединены без черты или края, как дым. И когда ты приучишь руку и суждение к такому прилежанию, то техника придет к тебе так быстро, что ты этого и не заметишь.

515. Ash. I, 23 г.

Мы ясно знаем, что зрение — это одно из быстрейших действий, какие только существуют; в одной точке оно видит бесконечно много форм и тем не менее понимает сразу лишь один предмет. Предположим случай, что ты, читатель, окидываешь одним взглядом всю эту исписанную страницу, и ты сейчас же выскажешь суждение, что она полна разных букв, но не узнаешь за это время, ни какие именно это буквы, ни что они хотят сказать; поэтому тебе необходимо проследить слово за словом, строку за строкой, если ты хочешь получить знание об этих буквах; совершенно так же, если ты хочешь подняться на высоту здания, тебе придется восходить со ступеньки на ступеньку, иначе было бы невозможно достигнуть его высоты. И так говорю я тебе, которого природа обращает к этому искусству. Если ты хочешь обладать знанием форм вещей, то начи-

най с их отдельных частей и не переходи ко второй, если ты до этого не хорошо усвоил в памяти и на практике первую. Если же ты поступишь иначе, то потеряешь время или, поистине, очень растянешь обучение. И я напоминаю тебе — научись прежде прилежанию, чем быстроте.

516. Ash. I, 24 г.

Если ты хочешь хорошо запомнить изученную вещь, то придерживайся следующего способа: когда ты срисовал один и тот же предмет столько раз, что он, по-твоему, запомнился, то попробуй сделать его без образца; заранее же рисуй твой образец через тонкое и гладкое стекло и положи его на ту вещь, которую ты сделал без образца; заметь как следует, где прорись не совпадает с твоим рисунком; и где ты найдешь ошибку, там запомни это, чтобы больше не ошибаться; мало того, возвращаясь к образцу, чтобы срисовывать столько раз неверную часть, пока ты не усвоишь ее как следует в воображении. Если же у тебя для прориси не оказалось бы гладкого стекла, то возьми лист пергамента, очень тонкого и хорошо промасленного и потом высушенного; когда ты попользуешься им для одного рисунка, ты сможешь стереть его губкой и сделать второй.

517. Ash. I, 26 в.

Если вы, рисовальщики, хотите получить от игр некоторое полезное развлечение, то вам всегда надлежит пользоваться вещами в интересах вашей профессии, то есть так, чтобы придать правильное суждение глазу и научиться оценивать истинную ширину и длину предметов; и чтобы приучить ум к подобным вещам, пусть один из вас проведет какую-либо прямую линию на стене, а каждый из вас пусть держит в руке тоненький стебелек или соломинку и отрезает от нее кусок такой длины, какую ему кажется первая линия, находясь при этом на расстоянии в десять локтей; затем каждый из вас пусть подходит к образцу, чтобы измерить по нему определенные им размеры, и тот, кто наиболее приблизится своею мерой к длине образца, тот пусть будет лучшим и повелителем и получит от всех призов, заранее вами установленный. Следует также взять укороченные меры, то есть взять дротик или трость и рассматривать его с некоторого расстояния, и каждый пусть своим суждением оценит, сколько раз данная мера уложится на этом расстоянии. Или еще — кто лучше проведет линию в локоть, а потом это измеряется натянутой нитью. Подобные игры придают правильность суждениям глаза, самому главному действию в живописи.

518. Ash. I, 26 г.

Также я испытал на себе, что получается немалая польза от того, чтобы, лежа в постели в темноте, повторять в воображении поверхностные очертания форм, прежде изученные, или же

другие достойные внимания предметы, захваченные тонким размышлением. И на самом деле это очень похвально и полезно для того, чтобы закреплять себе предметы в памяти.

519. Ash. I, 22 v.

Я не премину поместить среди этих наставлений новоизобретенный способ рассматривания; хоть он и может показаться ничтожным и почти что смехотворным, тем не менее он весьма полезен, чтобы побудить ум к разнообразным изобретениям. Это бывает, если ты рассматриваешь стены, запачканные разными пятнами, или камни из разной смеси. Если тебе нужно изобрести какую-нибудь местность, ты сможешь там увидеть подобие различных пейзажей, украшенных горами, реками, скалами, деревьями, обширными равнинами, долинами и холмами самым различным образом; кроме того, ты можешь там увидеть разные битвы, быстрые движения странных фигур, выражения лиц, одежды и бесконечно много таких вещей, которые ты сможешь свести к дельной и хорошей форме; с подобными стенами и смесями происходит то же самое, что и со звоном колокола — в его ударах ты найдешь любое имя или слово, какое ты себе вообразишь.

Не презирай этого моего мнения, в котором я тебе напоминаю, что пусть тебе не покажется обременительным остановиться иной раз, чтобы посмотреть на пятна на стене, или на пепел огня, или на облака, или на грязь, или на другие такие же места, в которых, если ты хорошенько рассмотришь их, ты найдешь удивительнейшие изобретения, чем ум живописца побуждается к новым изобретениям, будь то к композициям битв животных и людей или к различным композициям пейзажей и чудовищных предметов, как то чертей и тому подобных вещей, которые станут причиной твоей славы, так как неясными предметами ум побуждается к новым изобретениям. Но научись сначала хорошо делать все части тех предметов, которые ты собираешься изображать, как части животных, так и части пейзажей, то есть скалы, деревья и тому подобное.

NB Часто цитируемый фрагмент Леонардо подсказывает способ постоянного оживления и укрепления зрительного и слухового воображения путем интерпретации «неясных форм», то есть таких, которые, в отличие от однозначно считываемой «информации», дают тебе свободу и право интерпретировать их по-своему. С другой стороны, они требуют от тебя инициативы, усилия самостоятельного творческого «прочтения».

Есть тут и другая сторона: Леонардо учит воспринимать всю «фактуру» чувственного слоя окружающего мира, в том числе и самые невзрачные стороны его, как потенциальный источник художественных замыслов. Помните, в чем А.Ахматова видела истоки поэзии? «Сердитый окрик, // Дегтя запах свежий, // Таинственная плесень на стене...»

По-моему, способность человека слышать имена, интонацию речи в звуках колокола не менее важна для музыкального творчества, а также для сотворческого слушания музыки, чем, скажем, точный звуковысотный слух.

О живописи и перспективе

530. Ash.I, 22 v.

Живопись распространяется на все десять обязанностей глаза, а именно: на мрак, свет, тело, цвет, фигуру, место, удаленность, близость, движение и покой. Из этих обязанностей должно быть соткано это мое маленькое произведение, напоминая живописцу, по какому правилу и способу должен он подражать в своем искусстве всем этим вещам, произведению природы и украшению мира.

521. Т. Р. 438.

Свет, мрак, цвет; тело, фигура, место; удаленность; близость; движение и покой.

Из этих десяти областей действия глаза живопись обладает семью; из них первая — свет, за ним следуют мрак, цвет, фигура, место, удаленность и близость; я исключаю отсюда тело, движение и покой; таким образом, остаются свет и мрак, что можно назвать тенью и освещением, или же светлым и темным, и цвет. Тело я сюда не отношу потому, что живопись сама по себе является вещью поверхностной, а у поверхности нет тела, как это определяется в геометрии.

Лучше сказать: то, что видимо, перечисляется в науке живописи. Итак, десять категорий глаза, названные выше, на разумном основании составят десять книг, на которые я делю мою «живопись». Но свет и мрак составляют только одну книгу, которая трактует об освещении и тени; из них будет сделана одна книга, так как тень окружается или же соприкасается со светом, и то же случается у света с тенью, и всегда в пограничных местах перемешиваются свет и тень.

522. Т.Р.6.

Наука живописи распространяется на все цвета поверхностей и на фигуры тел, облакаемых ими на их близость и отдаленность с соответствующими степенями уменьшения в зависимости от степеней расстояния. Эта наука — мать перспективы, то есть [учения] о зрительных линиях. Эта перспектива делится на три части. Первая из них содержит только очертания тел; вторая — об уменьшении [ослаблении] цветов на различных расстояниях; третья — об утере отчетливости тел на равных расстояниях. Но первую, которая распространяется только на очертания и границы тел, называют рисунком, то есть изображением фигуры какого-либо тела. Из нее исходит другая наука, которая

распространяется на тень и свет, или, лучше сказать, на светлое и темное; эта наука требует многих рассуждений. Наука же о зрительных линиях породила науку астрономии, которая является простой перспективой, так как все это только зрительные линии и сечения пирамид.

523. Т. Р. 136.

Самым главным в живописи является то, что тела, ею изображенные, кажутся рельефными, а фоны, их окружающие, со своими удалениями кажутся уходящими в глубь стены, на которой вызвана к жизни такая картина посредством трех перспектив, то есть уменьшением фигур тел, уменьшением их величин и уменьшением их цветов. Из этих трех перспектив первая происходит от глаза, а две другие произведены воздухом, находящимся между глазом и предметами, видимыми этим глазом. Второе в живописи — это подходящие позы, изменяющиеся от телосложения, дабы люди не казались братьями.

524. Т. Р. 123.

Живопись только потому доступна зрителям, что она заставляет казаться рельефным и отделяющимся от стены то, что на самом деле ничто, а краски доставляют лишь почет мастерам, их делающим, так как в них нет ничего удивительного, кроме красоты; эта же красота является заслугой не живописца, а того, кто породил цвета. И какая-нибудь вещь может быть одета безобразными красками и удивлять собою своих зрителей, так как она кажется рельефной.

525. Т. Р. 412.

Первое намерение живописца — сделать так, чтобы плоская поверхность показывала тело рельефным и отделяющимся от этой плоскости, и тот, кто в этом искусстве наиболее превосходит других, заслуживает наибольшей похвалы; такое достижение — или венец этой науки — происходит от теней и светов, или, другими словами, от светлого и темного. Итак, тот, кто избегает теней, избегает славы искусства у благородных умов и приобретает ее у невежественной черни, которая не хочет от живописи ничего другого, кроме красоты красок, забывая вовсе красоту и чудесность показывать рельефным плоский предмет.

526. Т. Р. 413.

Много большего исследования и размышления требуют в живописи тени, чем ее очертания; доказательством этому служит то, что очертания можно прорисовать через вуали или плоские стекла, помещенные между глазом и тем предметом, который нужно прорисовать: но тени не охватываются этим правилом вследствие неощутимости их границ, которые в большинстве случаев смутны, как это показано в книге о тени и свете.

527. Ash. I, 1 г.

Я говорю, что втиснутое в границы труднее, чем свободное. Тени образуют свои границы определенными ступенями, и кто этого не знает, у того вещи не будут рельефными. Эта рельефность — самое важное в живописи и ее душа. Рисунок свободен, ибо ты видишь бесконечно много лиц, и все они различны: у одного длинный нос, а у другого короткий. Поэтому и живописец может пользоваться этой свободой, а где есть свобода, там нет правила.

528. Т. Р. 236.

Не всегда хорошо то, что красиво. И это я говорю для тех живописцев, которые так влюблены в красоту красок, что не без большого сожаления придают им самые слабые и почти неощутимые тени, недооценивая их рельефности. В этой ошибке они подобны тем, кто красивыми словами ничего не говорит.

529. Т. Р. 410.

Зеркало с плоской поверхностью содержит в себе истинную картину на этой поверхности; и совершенная картина, исполненная на поверхности какой-либо плоской материи, подобна поверхности зеркала, и вы, живописцы, находите в поверхности плоских зеркал своего учителя, который учит вас светотени и сокращениям каждого предмета; среди ваших красок есть одна, более светлая, чем освещенные части зеркального образа такого предмета, и также среди этих красок находится некоторая, более темная, чем любая темнота этого предмета; отсюда происходит, что ты, живописец, делаешь при помощи их свои картины похожими на картины зеркала, когда они видимы одним глазом, так как два глаза охватывают предмет, меньший, чем глаз.

530. Т. Р. 118.

Живописцы часто впадают в отчаяние от неестественности своего подражания, видя, что их картины не так же рельефны и живы, как вещи, видимые в зеркале; они ссылаются на то, что у них есть краски, которые по светлоте или по темноте значительно превосходят качество светов и теней вещи, видимой в зеркале, обвиняя в данном случае свое незнание, а не причину, так как они ее не знают.

Невозможно, чтобы написанная вещь казалась настолько рельефной, чтобы уподобиться зеркальной вещи, хотя как та, так и другая находятся на одной поверхности. Исключение составляет тот случай, когда она видима одним глазом. Причиной этому являются два глаза, так как они видят одну вещь за другую, как ab видят n ; m не может полностью закрыть n , ибо основание зрительных линий настолько широко, что оно видит второе тело позади первого. Если же ты закроешь один глаз, как

на S , то тело f закроет g , так как зрительная линия порождается в одной-единственной точке и образует основание в первом теле; поэтому вторая вещь такой же величины никогда не может быть увидена.

531. Ash. I, 24 v.

Если ты хочешь видеть, соответствует ли твоя картина вся в целом предмету, срисованному с натуры, то возьми зеркало, отрази в нем живой предмет и сравни отраженный предмет со своей картиной и как следует рассмотри, согласуются ли друг с другом то и другое подобие предмета. И прежде всего потому следует брать зеркало себе в учителя, и именно плоское зеркало, что на его поверхности вещи подобны картине во многих отношениях; именно, ты видишь, что картина, исполненная на плоскости, показывает предметы так, что они кажутся выпуклыми, и зеркало на плоскости делает то же самое; картина — это всего лишь только поверхность, и зеркало — то же самое; картина неосязаема, поскольку то, что кажется круглым и отделяющимся, нельзя обхватить руками, — то же и в зеркале; зеркало и картина показывают образы предметов, окруженные тенью и светом; и то и другое кажется очень далеко по ту сторону поверхности. И если ты знаешь, что зеркало посредством очертаний, тени и света заставляет казаться тебе вещи отделяющимися, и если у тебя есть среди твоих красок, теней и светов более сильные, чем краски, тени и света зеркала, то, конечно, если ты умеешь хорошо скомпоновать их друг с другом, твоя картина будет тоже казаться природной вещью, видимой в большое зеркало.

532. A. 40 v.

Если ты хочешь изобразить предмет на близком расстоянии и чтобы он при этом вызвал такое же впечатление, как и природные вещи, то перспектива твоя неминуемо будет казаться ложной, со всеми теми обманчивыми явлениями и диспропорциями, какие можно себе только представить в жалком произведении, разве что зритель поместит свой глаз как раз на том же расстоянии, той же высоте и в том же направлении, которые занял и ты, набрасывая [эти] предметы. Если ты поступишь так, то произведение твое, при условии хорошего распределения света и тени, без сомнения вызовет впечатление действительности, и ты не согласишься, что предметы [эти] нарисованы. В обратном случае и не пытайся изобразить какую-либо вещь, не приняв дистанцию по крайней мере в 20 раз большей, чем наибольшая высота и ширина изображаемого предмета; тогда произведение твое удовлетворит всякого зрителя независимо от того, в каком бы месте он ни находился.

Перспектива есть показательное [или: доказательное] рассуждение, при помощи которого опыт подтверждает, что все вещи отсылают глазу свои собственные подобия по линиям пирамид.

Перспектива

534. С. А. 138 г (b).

Воздух полон бесчисленными подобиями вещей, которые в нем распределены и все представлены сразу во всех и все в каждой. Почему случается, что если будут два зеркала, так отраженные друг к другу, что они смотрят друг на друга по прямой линии, то первое будет отражаться во втором, а второе в первом. Первое, отражающееся во втором, несет в себе свое подобие вместе со всеми подобиями, в нем представленными, в числе которых находится подобие второго зеркала, и так, от подобия к подобию, они уходят в бесконечность так, что каждое зеркало имеет в себе бесконечное число зеркал, одно меньше другого и одно внутри другого.

Итак, на этом примере доказывається, что каждая вещь отсылает свое подобие во все те места, которые могут видеть эту вещь, а также и обратно — эта вещь способна воспринять на себя все подобия вещей, которые ей предстоят.

Таким образом, глаз посылает через воздух свое подобие всем противостоящим ему объектам и получает их на себя, то есть на свою поверхность, откуда общее чувство их рассматривает и те, что нравятся ему, посылает памяти.

535. С. Л. 138 v (в).

Что образы всех вещей рассеяны по воздуху, тому пример виден во многих зеркалах, поставленных в круг, и они бесконечно много раз будут отражать друг друга; и один, достигнув другого, отскакивает обратно и к своей причине и оттуда, уменьшаясь, отскакивает к предмету второй раз и потом возвращается, и так делает бесконечное число раз.

Если ты ночью поместишь свет между двух плоских зеркал, отстоящих друг от друга на один локоть, ты увидишь в каждом из этих зеркал бесконечное число светов, один меньше другого и один меньше другого. Если ты ночью поместишь свет между стенами комнаты, все части этих стен окажутся окрашенными образами этого света, и все те, которые будут видны свету, точно так же будут его видеть, то есть когда между ними не будет никакого препятствия, перебивающего прохождение образов. Этот же пример особенно ясен при прохождении солнечных лучей, которые все распространяются на все объекты, и такова причина каждой малейшей части объекта, и всякий сам по себе несет до своего объекта подобие своей причины.

Что каждое тело само по себе наполняет весь противоположащий ему воздух своими образами и что этот самый воздух в то же самое время принимает в себя образы бесчисленного множества других предметов, в нем находящихся, это ясно доказывается этими примерами, и каждое тело целиком представлено во всем воздухе и целиком в малейшей его части, все предметы по всему воздуху и все в каждой малейшей части. Каждый во всем и все в каждой части.

536. Ash. I, 23 г.

Линейная перспектива распространяется на действие зрительных линий, чтобы при помощи измерений доказать, насколько второй предмет меньше первого и насколько третий меньше второго и так постепенно вплоть до конца видимых предметов. Я нахожу из опыта, что второй предмет, если он настолько же удален от первого, насколько первый удален от твоего глаза, то хотя бы они и были равны друг другу по размерам, второй будет настолько же меньше первого. И если третий предмет, равный по размерам второму и третьему перед ним, удален от второго настолько же, насколько второй удален от третьего, то он будет вдвое меньше второго; и, таким образом, постепенно, при равных расстояниях, они будут всегда уменьшаться вдвое — второй по отношению к первому, только бы промежутки не входили в число 20 локтей. И при данной промежутке в 20 локтей подобная тебе фигура потеряет $\frac{4}{5}$ своей величины, при 40 она потеряет $\frac{9}{10}$ и затем $\frac{19}{20}$ при 80 локтях, и так последовательно она будет уменьшаться, если ты пришьешь плоскость сечения удаленной от тебя на удвоенный твой рост, так как один только рост вызовет очень большое отличие между [планами] первого и второго локтя.

537. С. А. 190 v (в).

Блоха и человек могут достигнуть глаза и войти в него под равными углами, но от этого суждение не ошибается, хотя человек кажется не больше блохи.

Спрашивается причина.

538. С. А. 176 v (в).

О живописи.

Насколько теряется в правильном распознавании фигуры предмет, насколько он из-за расстояния уменьшается в своих размерах.

539. А. 8 v.

Об уменьшении предметов от различных расстояний.

Второй предмет, удаленный от первого, как первый от глаза, будет казаться вдвое меньше первого, хотя бы оба были одинаковой величины.

О степенях уменьшения.

Если ты проведешь линию сечения на расстоянии одного локтя от глаза, то первый предмет, отстоящий от твоего глаза на четыре локтя, потеряет $3/4$ своей величины на плоскости сечения. Если он отстоит на восемь локтей от глаза, то он уменьшается на $7/8$, а если он отстоит на 16 локтей, то он уменьшится на $15/16$ своей высоты. Так будет постепенно продолжаться и далее. Если предыдущее расстояние удвоится, то удвоится и уменьшение.

541. Ash. I, 19 г.

Почему из двух вещей равной величины написанная покажется больше, чем рельефная?

Причину этого, как и многого другого, не так легко показать, но все же я попытаюсь удовлетворить, если и не во всем, то, по крайней мере, насколько смогу больше. Перспектива уменьшений разумно доказывает нам, что предметы тем больше уменьшаются, чем дальше они от глаза, и эти основания прекрасно подтверждаются опытом. Итак, зрительные линии, находящиеся между объектом и глазом, достигая поверхности картины, все пересекаются одной и той же границей; а линии, которые находятся между глазом и скульптурой, имеют различные границы и длину. Та линия длиннее, которая простирается до члена тела более далекого, чем другие; и поэтому этот член тела будет казаться меньшим; и так как там много линий более длинных, чем другие, и оттого, что там много частей более далеких, чем другие, то и получается, что они, будучи дальше, нам кажутся меньшими; а так как они кажутся меньшими, то своим уменьшением они делают меньше и всю совокупность объекта. Этого не случается с картиной. Так как линии оканчиваются на одном и том же расстоянии, то они оказываются неуменьшенными; следовательно, неуменьшенные частицы не уменьшают и совокупности объекта. Поэтому и картина не уменьшается так, как скульптура.

542. С. А. 191 г (а).

Тело, рожденное перспективой Леонардо да Винчи, ученика опыта.

Это тело должно быть сделано не по примеру какого-либо тела, но только одними простыми линиями.

513. Ash. I, 35 в.

Существует еще другая перспектива, которую я называю воздушной, ибо вследствие изменения воздуха можно распознать разные расстояния до различных зданий, ограниченных снизу одной единственной [прямой] линией: как, например, если смотреть на многие здания по ту сторону стены, когда все

они кажутся одной и той же величины над верхним краем этой стены, а ты в картине хотел бы заставить казаться одно дальше другого. [В этом случае] следует изображать воздух несколько плотным.

Ты знаешь, что в таком воздухе самые последние предметы, в нем видимые, как, например, горы, вследствие большого количества воздуха, находящегося между твоим глазом и горою, кажутся синими, почти цвета воздуха, если солнце на востоке. Поэтому делай первое здание над этой стеной своего цвета, более удаленное делай менее профилированным и более синим; то, которое ты хочешь, чтобы оно было настолько же более отодвинуто назад, делай его настолько же более синим, и то, которое ты хочешь, чтобы оно было удалено в пять раз, делай его в пять раз более синим. И в силу этого правила здания, которые находятся над одной прямой линией и кажутся одинаковой величины, ясно распознаются, какое дальше и какое больше, чем другое.

544. Ash. I, 22 v.

Как живописец должен применять на практике перспективу цветов.

Если ты хочешь вводить эту перспективу изменения и потери или же уменьшения собственной сущности цветов, то выбери в поле предметы, расположенные через сто локтей друг от друга, например деревья, дома, людей и места. Для первого дерева ты берешь хорошо укрепленное стекло и так же неподвижно устанавливаешь свой глаз, и на это стекло переводишь ты дерево по его форме. Потом ты настолько отодвигаешь стекло в сторону, чтобы природное дерево почти совпадало с нарисованным тобою, потом раскрашиваешь свой рисунок таким образом, чтобы по цвету и форме можно было сравнить одно с другим, или чтобы оба, если закрыть один глаз, казались нарисованными и нарисованное на стекле казалось бы на том же расстоянии. Это же правило применяй ко вторым и третьим деревьям постепенно от ста к ста локтям. Эти [картины] всегда будут служить тебе как твои помощники и учителя, если ты будешь их применять в своих произведениях там, где они будут на месте, и тогда они будут хорошо удалять твое произведение. Но я нахожу, как правило, что второе уменьшится на четыре пятых по сравнению с первым, если оно будет удалено от первого на двадцать локтей.

545. T. P. 694 f, b.

Вещи на расстоянии кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине не покажутся на одинаковом расстоянии. И не очерчивай их край определенными границами, потому что границы суть линии или углы, которые, являясь преде-

лами мельчайших вещей, будут неразличимы не только издали, но и вблизи.

Если линия, а также математическая точка суть невидимые вещи, то и границы вещей, будучи также линиями, невидимы вблизи. Поэтому ты, живописец, не ограничивай вещи, отдаленные от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и части тел неощутимы.

546. Ash. I, 20 v.

Мы ясно видим, что все образы воспринимаемых предметов, которые находятся перед нами, как большие, так и маленькие, доходят до чувства через маленький зрачок в глазу. Если через столь маленький вход проходит образ громадности неба и земли, то лицо человека, которое среди столь больших образов предметов является почти ничем, занимает из-за удаленности, которая его уменьшает, так мало этого зрачка, что оно делается почти что не воспринимаемым. И так как путь от поверхности [глаза] до впечатления проходит через темную среду, то есть через пустой нерв, который темен на вид, то эти образы, не обладая сильным цветом, окрашиваются в эту темноту пути и, достигнув впечатления, кажутся темными. Другая причина не может быть выставлена никаким образом. Если та точка, которая находится в зрачке, черная, то, — раз он наполнен прозрачной жидкостью вроде воздуха, — она выполняет ту же службу, что и дыра, проделанная в доске, которая при рассматривании кажется черной. И предметы, видимые через воздух светлый и темный, смешиваются в темноту.

547. Ash. I, 20 v.

Перспектива уменьшений нам показывает, что чем дальше предмет, тем он становится меньше. И если ты будешь рассматривать человека, удаленного от тебя на расстояние выстрела из самострела, и ты будешь держать ушко маленькой иголки близ глаза, то ты сможешь увидеть, что много людей досылает через него свои образы к глазу и в то же время все они уместятся в данном ушке. Итак, если человек, удаленный на выстрел из самострела, посылает глазу свой образ, занимающий маленькую часть игольного ушка, то как сможешь ты в столь маленькой фигуре различить или рассмотреть нос, или рот, или какую-либо часть этого тела? А не видя, ты не сможешь узнать человека, который не показывает членов тела, придающих людям различные формы.

518. T. P. 117.

В вещах небольшого размера нельзя уловить свойство их ошибки, как в больших, и причина этого в том, что если эта маленькая вещь изображает человека или другое животное, то части его, вследствие огромного уменьшения, не могут быть

прослежены до должного конца своим творцом, как это следовало бы, и поэтому [вещь] остается незаконченной; раз она не закончена, ты не можешь уловить ее ошибок.

Пример: смотри издали на человека с расстояния в триста локтей и усердно постарайся рассудить, красив ли он или безобразен, чудовищен ли он или обычного вида; ты увидишь, что при всех твоих усилиях ты не сможешь убедить себя составить такое суждение. Причина этому та, что вследствие данного расстояния этот человек уменьшается настолько, что нельзя уловить свойства отдельных частей. Если ты хочешь хорошо увидеть данное уменьшение вышеназванного человека, то помести палец на расстоянии пяди от глаза и настолько повышай и опускай этот палец, чтобы верхний его край граничил с ногами фигуры, которую ты рассматриваешь, и тогда тебе откроется невероятное уменьшение. Поэтому часто издали сомневаешься в образе друга.

549. Ash. I, 31 v.

Я говорю, что предметы кажутся малыми по форме потому, что эти предметы далеки от глаза. Если это так, то между глазом и предметом должно быть много воздуха, а много воздуха мешает отчетливости форм этих предметов; поэтому маленькие частицы этих тел будут неразличимы и невоспринимаемы. Итак, ты, живописец, делай маленькие фигуры только намеченными и незаконченными, а если ты будешь делать иначе, то поступишь вопреки явлениям природы, твоей наставницы; предмет становится маленьким вследствие большого расстояния между глазом и предметом, большое расстояние заключает в себе много воздуха, много воздуха образует собою плотное тело, которое мешает глазу и отнимает у него маленькие частицы предметов.

550. Ash. I, 17 v.

Картина должна быть видна из одного-единственного окна, как это видно на примере тел, сделанных так: [круглый шар]. Если ты хочешь на высоте изобразить круглый шар, то тебе нужно сделать его продолговатым, похожим на это, и стоять настолько позади, чтобы он, сокращаясь, показался круглым.

NB *Остановимся на минуту и зададимся вопросом: можно ли считать Леонардо да Винчи педагогом?*

Ученики у него были. По меньшей мере один из них — Франческо Мельци — стал заметным мастером. Но педагогом («детоводителем») в нашем смысле слова он, конечно, не был. Как не было и нынешней педагогики искусства и таких учебных заведений, куда мастера приходили бы не для того, чтобы работать над своими произведениями, а чтобы обучать других своей профессии.

Тогда могут ли тексты Леонардо представлять для нас педагогический интерес?

Думаю, что могут, и даже очень большой. Только адресованы они не педагогам, которых тогда не было; это не методики обучения других. Тексты Леонардо обращены к самому обучающемуся, он с ним на «ты»; это педагогика самообучения художника. В первую очередь — художника, но в принципе всякого человека, который хочет серьезно овладеть какой-либо областью деятельности.

И такую педагогику можно назвать гуманной: она учит не тому, как сделать что-то с другим, зачастую не сообразуясь с его желаниями, а помогает юноше, который захотел стать художником, осуществить этот свой выбор.

О том, как изображать лицо, фигуру и одежды

О частях лиц

637. С. А. 119.

Если бы природа установила одно-единственное правило для качества частей лица, все лица людей были бы так похожи друг на друга, что нельзя было бы отличить одно от другого; но она так разнообразила пять частей лица, что хотя она для размеров их и установила почти всеобщие правила, тем не менее она их не соблюдала в качестве этих частей, так что одну от другой ясно можно отличить.

638. Т. Р. 285.

Движения частей лица, вызываемые душевными состояниями, таковы. Первые из них: смех, плач, крик, пение различными голосами, высокими или низкими, удивление, гнев, радость, печаль, страх, страдание при мучении и другое тому подобное, о чем будет упомянуто. Во-первых, о смехе и плаче, которые очень похожи в движениях рта и щек и в прищуриваниях глаз и отличны только в бровях и в промежутках между ними. Обо всем этом мы скажем на своем месте, а именно — об изменениях, которые претерпевают лицо, руки и весь человек при каждом из данных состояний и которые тебе, живописец, необходимо знать, в противном случае твое искусство покажет тела поистине дважды мертвые. И также я напоминаю тебе, что движения не должны быть столь бьющими мимо цели и столь превеличенными, чтобы мирная картина казалась битвой или мавританским танцем пьяных; и прежде всего, чтобы [люди], окружающие событие, ради которого и изображался этот исторический сюжет, были заняты этим событием и движениями показывали бы удивление, почтение, горе, подозрение, страх, радость или чего требует то событие, ради которого расставились или же сбежались твои фигуры. И что твои исторические сюжеты не должны размещаться один над другим с разными горизонтами на одной и той же живописной поверхности, так,

чтобы она казалась мелочной лавкой со своими ящичками, расписанными картинками.

639. Т. Р. 286.

О движениях человеческого лица.

Душевные состояния приводят в движение лицо человека различными способами; один смеется, другой плачет, иной веселится, другой печалится, один обнаруживает гнев, другой — жалость, один удивляется, другие ужасаются, одни кажутся глупцами, другие — размышляющими и созерцающими. И такие состояния должны сопровождаться движением рук, лица и всего человека.

640. Т. Р. 384.

О смехе и плаче и их различии.

Тот, кто смеется, не отличается от того, кто плачет, ни глазами, ни ртом, ни щеками, но только неподвижным положением бровей, которые соединяются у того, кто плачет, и поднимаются у того, кто смеется. У того, кто плачет, присоединяются также руки, рвущие одежду и волосы и разрывающие ногтями кожу лица, чего не случается с тем, кто смеется.

641. Т. Р. 385.

Не делай лицо у плачущего с теми же движениями, что и у смеющегося, так как часто они похожи друг на друга и так как на самом деле их следует различать, точно так же, как отличается состояние плача от состояния смеха; ведь при плаче брови и рот изменяются при различных причинах плача, так как одни плачут от гнева, другие от страха, одни от нежности и радости, другие от предчувствия, одни от боли и мучения, другие от жалости и горя, потеряв родных или друзей; при этих плачах один обнаруживает отчаяние, другой не слишком опечален, одни только слезливы, другие кричат, у одних лицо обращено к небу и руки опущены, причем пальцы их переплелись, другие напуганы, с плечами, поднятыми к ушам; и так дальше, в зависимости от вышеназванных причин. Тот, кто изливает плач, приподнимает брови в месте их соединения и сдвигает их вместе, и образует складки посредине над ними, опуская углы рта. У того же, кто смеется, они подняты, а брови раскрыты и удалены [друг от друга].

NB *Невозможно не вернуться к одной теме, уже затронутой выше, в связи с высказываниями Альберти.*

Когда я учился в специальной художественной школе, мастера Возрождения и, конечно, Леонардо считались у нас «своими людьми», реалистами, а мы, взрослые и маленькие советские художники, вроде бы продолжали и развивали ту же реалистическую традицию.

Нас учили «строить» голову, лицо, рисовать фигуру в разных положениях, делать беглые наброски людей в движении. Но за 7 лет я, кажется, ни разу не услышал главного: в конечном счете это нужно для того, чтобы постигать и с максимальной выразительностью передавать через движение тела — внутреннюю жизнь человеческой души. Чтобы через видимое показать невидимое. А ведь все дело-то в этом!

642. Т. Р. 739.

О красоте и безобразии.

Красота и безобразия кажутся более могущественными рядом друг с другом.

О красоте лиц

643. Т. Р. 291.

Не делай мускулов резко очерченными, но пусть мягкие света неощутимо переходят в приятные и очаровательные тени; этим обуславливается прелесть и красота.

644. Т. Р. 58.

Я неизменно наблюдал у всех тех, кто делает своей профессией портретирование лиц с натуры, что делающий с наибольшим сходством оказывается более жалким компоновщиком исторических сюжетов, чем любой другой живописец. Это происходит от того, что делающий лучше всего одну вещь убедился, что по природе он больше всего расположен именно к этой вещи, чем к какой-либо иной, и поэтому он больше любил, а большая любовь сделала его более прилежным; всякая же любовь, обращенная на частность, пренебрегает целым, так как все ее радости объединились в этой единственной вещи, бросая всеобщее для частности. Так как сила такого таланта сведена к небольшому пространству, то у него нет силы расширяться; и этот талант поступает подобно вогнутому зеркалу, которое, улавливая солнечные лучи, либо отразит это же количество лучей на большое пространство, и тогда отразит их с меньшей теплотой, либо оно отразит их все на меньший участок, и тогда такие лучи обладают громадной теплотой, но действующей на небольшом участке. Так поступают и эти живописцы, не любя ни одной другой части живописи, кроме только лица человека; а еще хуже, что они не знают иной части искусства, которую бы они ценили или о которой они имели бы суждение; и так как в их вещах нет движения, ибо и сами они ленивы и неподвижны, то они хулят ту вещь, в которой движений больше и более быстрых, чем в тех произведениях, какие сделали они сами, говоря, что это похоже на одержимых и мастеров в мавританских танцах.

Правда, нужно соблюдать соразмерность, то есть движения должны быть вестниками движений души того, кто их произ-

водит, то есть если нужно изобразить кого-нибудь, кто должен показать боязливую почтительность, то она не должна быть исполнена с такой смелостью и самоуверенностью, чтобы получить впечатление отчаяния, или как если бы исполнялось приказание... Так, я видел на днях ангела, который, казалось, намеревался своим благовещением выгнать Богоматерь из ее комнаты посредством движений, выражавших такое оскорбление, какое можно только нанести презреннейшему врагу; а Богоматерь, казалось, хочет в отчаянии выброситься в окно. Пусть это запомнится тебе, чтобы не впадать в такие же ошибки.

В этом я ни перед кем не буду извиняться. Ведь если кто-нибудь будет уверять, что [это] говорю ему [только] потому, что осуждаю всякого, кто делает на свой лад, а ему кажется, что он делает хорошо, то ты в этом узнаешь тех, которые работают, никогда не прибегая к совету творений природы, и заботятся только о том, чтобы сделать побольше и за одно лишнее солды заработка в день будут скорее шить башмаки, чем заниматься живописью. Но о них я не буду распространяться в более пространств речах, так как я не допускаю их к искусству, дочери природы. Но, говоря о живописцах и их суждениях, я утверждаю, что тому, кто придает слишком много движения своим фигурам, кажется, что тот, кто придает им столько движения, сколько подобает, делает фигуры сонными; тому же, кто придает им немного движения, кажется, что тот, кто придает должное и подобающее движение, делает их одержимыми. И поэтому живописец должен наблюдать поведение людей, говорящих друг с другом холодно или горячо, понимать содержание разговора и смотреть, соответствуют ли ему их движения.

645. С. А. 139 г (d).

Картины или написанные фигуры должны быть сделаны так, чтобы зрители их могли с легкостью распознавать состояние их души по их позе. И если тебе предстоит сделать порядочного человека, который говорит, сделай так, чтобы движения его были спутниками хороших слов, и подобным же образом, если тебе предстоит изобразить человека скотоподобного, сделай его со свирепыми движениями, тычущим руками на направлению к слушателю, и голова вместе с грудью, выброшенные вперед ног, пусть сопровождают руки говорящего.

Наподобие немого, который, видя двух собеседников, хотя он и лишен слуха, тем не менее благодаря действиям и движениям этих собеседников понимает тему их спора. Мне приходилось видеть во Флоренции немого по случайной причине, который, если ты говорил с ним громко, он тебя не понимал, а если говорил с ним тихо, не звонким голосом, он понимал тебя по одному движению губ. Но ты мог бы сказать мне: разве громко говорящий не так же движет губами, как говорящий ти-

хо? И раз один шевелит *как же*, как и другой, разве один не будет понят так же, как другой? В этом случае я предоставляю решение опыту; заставь кого-нибудь говорить тихо, а потом заставь [его говорить громко], и обрати внимание на губы.

О живописи

646. С. А. 349 г (b).

Делай так, чтобы произведение твое соответствовало цели и намерению, то есть, когда ты делаешь свою фигуру, чтобы ты хорошенько подумал, что она такое, а также о том, что ты хочешь, чтобы она делала.

647. L. 79 г.

Чтобы быть хорошим расчленителем поз и жестов, которые могут быть приданы обнаженным фигурам, живописцу необходимо знать анатомию нервов, костей, мускулов и сухожилий, чтобы знать при различных движениях и усилиях, какой нерв или мускул является причиной данного движения, и только их делать отчетливыми и увеличившимися, но не все сплошь, как это делают многие, которые, чтобы показаться великими рисовальщиками, делают свои обнаженные фигуры деревянными и лишенными прелести, кажущимися смотрящему на них больше мешком с орехами, чем поверхностью человеческого тела, или же пучком редисок скорее, чем мускулистым обнаженным телом.

648. Ash. I, 27г.

Живописец, знакомый с природой нервов, коротких и длинных мускулов, будет хорошо знать при движении члена тела, сколько нервов и какие нервы были тому причиной, и какой мускул, опадая, является причиной сокращения этого нерва, и какие жилы, обращенные в тончайшие хрящи, окружают и включают в себя названный мускул. Также сможет он разнообразно и всесторонне показать различные мускулы посредством различных движений фигуры, и не будет делать так, как многие, которые при различных позах всегда показывают то же самое на руках, на спине, на груди и на ногах, чего нельзя относить к числу малых ошибок.

649. E. 19 v.

О живописец-анатомист, берегись, чтобы слишком большое знание костей, связок и мускулов не было бы для тебя причиной стать деревянным живописцем при желании показать на своих обнаженных фигурах все их чувства. Итак, если ты хочешь обезопасить себя от этого, то смотри, каким образом мускулы у стариков или у худых покрывают или же одевают их кости; и кроме того, прими во внимание правило, как те же самые

мускулы заполняют поверхностные промежутки между ними, и каковы те мускулы, которые никогда не теряют отчетливости при любой степени толщины, и каковы те мускулы, у которых при малейшей тучности теряется отчетливость в их соединени-ях; и не раз случается, что при потолстении из многих мускулов образуется один-единственный мускул, и не раз случается, что при похудании или постарении из одного единственного муску-ла образуется много мускулов. Такая теория будет показана на своем месте во всех своих частностях, особенно же относительно промежутков между суставами каждого члена.

Не упусти также того разнообразия, которое образуют выше-названные мускулы суставов членов каждого животного вследствие различия движений любого члена, так как с некоторых сторон этих суставов целиком теряется отчетливость таких мускулов, по причине увеличения или уменьшения мяса, из кото-рого эти мускулы состоят.

650. Ash. I, 27 г.

Зимними вечерами юноши должны воспользоваться для изу-чения вещей, приготовленных летом, то есть все обнаженные фигуры, которые ты сделал летом, ты должен объединить вмес-те и сделать выбор их наилучших частей и тел, применять их на практике и как следует запоминать.

Затем на следующее лето выбери кого-нибудь, кто хорошо сложен и не взражен в шнуровке, чтобы человек этот не был полосатым, и заставь его принимать изящные и пристойные по-зы. И если он и не обнаружит хороших мускулов внутри очер-таний членов тела, то это неважно; довольствуйся лишь тем, чтобы получить от него хорошие позы, а члены ты исправишь с помощью тех, что изучил зимою.

651. A. 23 г.

Так, живописец, у которого неуклюжие руки, будет делать их такими же в своих произведениях; то же самое случится у него с каждым членом тела, если только длительное обучение не оградит его от этого. Итак, живописец, смотри хорошенько на ту часть, которая наиболее безобразна в твоей особе, и своим учением сделай от нее хорошую защиту, ибо если ты ското-подобен, то фигуры твои будут казаться такими же и неосмыс-ленными, и подобным же образом каждая часть, хорошая или жалкая, какая есть в тебе, обнаружится отчасти в твоих фигурах.

653. G. 5 v.

Живописец должен пытаться быть универсальным, так как он много теряет в достоинстве от того, что одну вещь делает хо-рошо, а другую плохо, как многие, которые изучают только раз-меренную и пропорциональную наготу и не ищут ее разнообра-зия; ведь человек может быть пропорциональным и в то же вре-

мя толстым и коротким, или длинным и тонким, или средним, и кто такого разнообразия не учитывает, тот всегда делает свои фигуры по шаблону, так что кажется, будто все это сестры, а это заслуживает всяческого порицания.

654. Т. Р. 270.

О всеобщих мерах тел.

Я говорю: всеобщие меры должны соблюдаться в длине фигур, а не в толщине, так как это одно из похвальнейших и удивительнейших явлений среди творений природы, что ни в одном из ее творений, в пределах любого вида, ни одна частность в точности не похожа на другую. Итак, ты, подражатель такой природы, смотри и обращай внимание на разнообразие очертаний. Мне очень нравится, если ты избегаешь уродливых вещей, как, например, длинных ног и короткого туловища, узкой груди и длинных рук; бери поэтому меры суставов, а толщину, в которой [природа] очень изменчива, изменяй также и ты.

Если ты все же захочешь делать свои фигуры по одной и той же мере, то знай, что их не отличишь одну от другой, чего не видно в природе.

655. Т. Р. 101.

Меры или подразделения статуи.

Раздели голову на двенадцать степеней, каждую степень раздели на двенадцать точек; каждую точку раздели на двенадцать минут, минуты на малые [минуты], а малые [минуты] на полумалые [минуты].

656. С. А. 160 г (а).

Если человек в 2 локтя мал, то в 4 — велик, ибо похвален средний путь, середина же 2 и 4 — 3; итак, возьми человека ростом в 3 локтя и измерь его по тому правилу, которое я тебе дам. Если ты скажешь мне, что я смогу ошибиться, считая хорошо пропорциональным такого, который как раз несразмерен, на это я отвечу тебе, что тебе необходимо увидеть многих людей ростом в 3 локтя; и с их наибольшего количества людей, которые отклоняются меньше чем на локоть, по одному из них, наилучшей грации, возьми свои меры. Длина руки равна $1/3$ локтя и 9 раз укладывается в человеческом росте, и также голова, и от шейной дужки до плеча, и от плеча до соска, и от одного соска до другого, и от каждого соска до дужки.

657. Венец, гал. (120), 20, 1, А.

Витрувий, архитектор, полагает в своем произведении об архитектуре, что меры человека природой распределены таким образом, что 4 пальца образуют ладонь, 4 ладони образуют ступню, 6 ладоней образуют локоть [cubito], 4 локтя образуют человека, 4 ладони образуют шаг, 24 ладони образуют человека, и

таковы меры при его построении. Если ты настолько раздвинешь ноги, что понишься головой на $1/14$ своей высоты, и настолько раздвинешь и подвинешь руки, что вытянутыми пальцами ты коснешься линии самой верхней части головы, то знай, что центром крайних точек раздвинутых членов тела будет пупок, и пространство, находящееся между ногами, составит равносторонний треугольник.

О пропорциональности членов тела

658. Т. Р. 272.

Все части любого животного должны соответствовать своему целому, то есть если [животное] коротко и толсто, то каждый член тела у него должен быть сам по себе коротким и толстым, а если оно длинно и тонко, то оно должно иметь длинные и тонкие члены тела, и среднее должно иметь члены тела такой же посредственности. То же самое я имею в виду сказать и о растениях, если только они не изуродованы человеком или ветрами, ибо такие [растения] возрождают юность на старости, и, таким образом, их естественная пропорциональность оказывается разрушенной.

659. С. А. 375 г (с).

Чудовищен тот, кто имеет очень большую голову и короткие ноги, и [еще более] чудовищен тот, кто при богатых одеждах обладает великой бедностью; поэтому мы скажем, что пропорционален тот, в ком части его соответствуют целому.

660. Т. Р. 304.

Существует два вида движения животных: движение места и движение действия. Движение места — когда животное перемещается с места на место, а движение действия — это такое движение, которое производится животным самим по себе, без перемены места. Движение места бывает трех видов: восхождение, нисхождение и хождение по ровному месту; к этим трем видам присоединяются два: медленность и быстрота, и два других: движение прямое и извилистое; и, наконец, еще один: прыжок. Движения же действия бесконечны, вместе с бесконечными видами деятельности, осуществляемыми человеком, часто не без вреда для него самого.

Движения бывают трех видов: [простое] — места, простое — действия, и третье — это движение, составленное из [движений] действия и места.

Медленность и быстрота не должны причисляться к движениям места, но к свойствам этих движений. Бесконечны сложные движения, так как к ним относятся: танцевание, фехтование, жонглирование, сеяние, пахание, гребля; но гребля является простым [движением] действия, так как движение действия,

производимое человеком при гребле, смешивается с движением места не посредством движения человека, но посредством движения лодки.

661. Ash. I, 29 v.

Члены тела вместе с телом должны быть изящно приноровлены к тому действию, которое ты желаешь чтобы производила фигура. И если ты хочешь сделать фигуру, которая показывала бы собою изящество, ты должен делать члены тела стройные и вытянутые, не обнаруживающие слишком много мускулов; а те немногие, которые ты к месту покажешь, делай нежными, то есть мало отчетливыми, с неокрашенными тенями; члены тела, в особенности руки, делай непринужденными, то есть так, чтобы ни один член тела не следовал по прямой линии за тем членом, который с ним соединяется; и если бедро, полюс человека, оказывается, служа опорой, [в таком положении], что правое выше левого, то делай сустав верхнего плеча склоняющимся прямо по отвесной линии над наиболее выступающим местом бедра, и пусть это правое плечо будет ниже левого; а дужка всегда должна быть над серединой сустава той ступни, на которую опирается [тело]; у ноги, которая не поддерживает, колено должно быть ниже другого и близко к другой ноге. Положений головы и рук бесконечно много, поэтому я не буду распространяться и не буду приводить относительно них никакого правила; скажу только, что они должны быть легки и прелестны в различных изгибах, и следует объединять подбородок с суставами, которые здесь находятся, чтобы они не казались кусками дерева.

662. Ash. I, 30 r.

Что касается удобства этих членов тела, то ты должен принять во внимание: когда ты хочешь изобразить [человека], который вследствие какого-либо случайного повода должен повернуться назад или в сторону, то не заставляй его передвигать ступни и все члены тела в ту сторону, куда повернута голова; наоборот, ты заставишь его совершать [это движение], распределяя этот поворот на четыре сустава, то есть на суставы ступни, колена, бедра и шеи. И если он опирается на правую ногу, то делай колено левой согнутым внутрь и ступню несколько приподнятой с внешней стороны; левое плечо должно быть несколько ниже правого; затылок должен встречаться с тем же самым местом, куда повернута внешняя сторона щиколотки левой ступни; левое плечо должно находиться над внешней точкой правой ступни по отвесной линии; и всегда применяй фигуры так, чтобы туда, куда повернута голова, не поворачивалась бы и грудь; ведь природа для нашего удобства сделала нам шею, которая с легкостью может двигаться в разные стороны, если глаз хочет повернуться в разные места; и этому же отчасти служат

другие суставы. И если ты делаешь сидящего человека, а руки его, как это иногда бывает, располагаются поперек за какой-нибудь работой, то делай так, чтобы грудь поворачивалась над суставом бедра.

663. С. А. 349 г (в).

Если тебе нужно изобразить человека, который движет, или поднимает, или тянет, или несет груз, равный собственному, то ты должен приспособить ноги соответствующим образом под его особой.

Живопись

676. Т. Р. 180.

Хороший живописец должен писать две главные вещи: человека и представление его души. Первое — легко, второе — трудно, так как оно должно быть изображено жестами и движениями членов тела. Этому следует учиться у немых, так как они делают это лучше, чем все другие люди.

677. Ash. I, 20 г.

Делай фигуры с такими жестами, которые достаточно показывали бы то, что творится в душе фигуры, иначе твое искусство не будет достойно похвалы.

67. Ash. I, 29 г.

Фигура недостойна похвалы, если она, насколько это только возможно, не выражает жестами страстей своей души.

679. Т. Р. 297.

То движение, которое задумано как свойственное душевному состоянию фигуры, должно быть сделано очень решительным и чтобы оно обнаруживало в ней большую страсть и пылкость. В противном случае такая фигура будет названа дважды мертвой: мертвой, так как она изображена, и мертвой еще раз, так как она не показывает движения ни души, ни тела.

680. Т. Р. 376.

Если фигуры не делают жестов определенных и таких, которые членами тела выражают представление их души, то фигуры эти дважды мертвы: мертвы преимущественно потому, что живопись сама по себе не живет, она — выразительница живых предметов без жизни, а если к ним не присоединяется жизненность жеста, то они оказываются мертвыми и во второй раз. Поэтому прилежно старайтесь наблюдать за теми, кто разговаривают друг с другом, двигая руками, и если это люди, к которым можно приблизиться, старайтесь послушать, какая причина побуждает их к тем движениям, которые они производят. Очень

хорошо будут видны мелочи в отдельных жестах у немых, не умеющих рисовать, хотя и немного таких, которые не помогали бы себе и не изображали бы рисунком; итак, учитесь у немых делать такие движения членов тела, которые выражали бы представление души говорящего. Наблюдайте смеющихся, плачущих, рассматривайте кричащих от гнева, и так все состояния нашей души. Соблюдайте соразмерность и принимайте во внимание, что господину не подобает ни по месту, ни по жесту двигаться, как слуге, или ребенку — как отроку, но наподобие старца, который едва держится; не делай у мужика жестов, подобающих знатному и воспитанному человеку, или у сильного, как и у слабого, или жестов блудниц, как жесты честных женщин, или жесты мужчин, как женщин.

681. Т. Р. 368.

Руки и кисти во всех своих действиях должны обнаруживать намерения того, кто движет ими, насколько это только возможно, ибо тот, кто обладает страстным суждением, сопровождает ими душевные намерения во всех своих движениях. И хорошие ораторы, когда хотят убедить в чем-нибудь своих слушателей, всегда сопровождают руками свои слова, хотя некоторые глупцы не заботятся о таком украшении и кажутся на своей трибуне деревянными статуями, изо рта которых выходит через трубу голос какого-то человека, стоящего неподалеку от этой трибуны. Такое поведение является большим недостатком у живых, а еще много большим у изображенных фигур. Если им не поможет их творец жестами, определенными и соответствующими намерению, которое ты предполагаешь в таких фигурах, то о такой фигуре будут судить как о дважды мертвой, то есть мертвой, так как она не живая, и мертвой в своих жестах. Но, чтобы вернуться к нашему намерению, здесь ниже будет изображено и сказано о многих состояниях, а именно: о движении гнева, горя, страха, внезапного испуга, плача, бегства, желания, приказа, лени, старания и тому подобных.

682. Т. Р. 404.

И ты, живописец, учись делать свои произведения так, чтобы они привлекали к себе своих зрителей и удерживали их великим удивлением и наслаждением, а не привлекали бы их и потом прогоняли, как это делает воздух с тем, кто ночью высклевывает голым из постели, чтобы посмотреть, какой это воздух — пасмурный или ясный, и тотчас же, гонимый его холодом, возвращается в постель, откуда он только что поднялся; но делай произведения свои похожими на тот воздух, который в жару привлекает людей из их постелей и удерживает их наслаждением пользоваться летней прохладой. И не стремись стать раньше практиком, чем ученым, чтобы скупость не победила славы, которая по заслугам приобретается таким искусством. Разве ты не

видишь, что среди [всех] человеческих красот красивейшее лицо останавливает проходящих, а не богатые уборы? И это я говорю тебе, который украшает свои фигуры золотом или другими богатыми узорами. Не видишь ли ты, что сияющие красоты юности уменьшаются в своем совершенстве от чрезмерных и слишком изысканных украшений, не видал ли ты, как горские женщины, закутанные в безыскусственные и бедные одежды, приобретают большую красоту, чем те, которые украшены? Не следует носить вычурных головных уборов и причесок, ибо для пустых голов [достаточно, если] один-единственный волос положен на одну сторону больше, чем на другую, [чтобы уже] носитель его ждал для себя от этого великого позора, думая, что окружающие оставляют все свои первоначальные мысли и только и говорят об этом и только это и порицают; у подобных людей в советниках всегда зеркало и гребень, и ветер, губитель роскошных причесок, их главный враг. Делай поэтому у своих голов волосы так, чтобы они шутливо играли с воображаемым ветром вокруг юных лиц и изящно украшали их различными завитками. Не делай так, как те, которые намаживают их клеем и заставляют лица казаться как бы покрытыми глазурью, — возрастающие человеческие безумства, которым недостаточно, что корабельщики привозят с Востока гуммиарабик для защиты от ветра, чтобы он не растрепал выровненной прически, так что они добиваются еще большего.

683 Т. Р. 536.

Драпировки, одевающие фигуры, должны обладать складками, приспособленными таким образом к окружению одеваемых ими членов тела, чтобы на освещенные части не накладывались складки с темными тенями, а на затененных частях не образовывалось бы складок слишком светлых, и чтобы очертания этих складок в некоторых частях окружали бы закрытые ими члены тела, а не пересекали бы их; они не должны давать теней, которые уходили бы дальше вглубь того, что уже не является поверхностью одетого тела. И в действительности драпировка должна быть таким образом приспособлена, чтобы она не казалась необитаемой, то есть чтобы она не казалась грудой одежд, содранных с человека, как это делают многие, которые настолько влюбляются в различные группировки различных складок, что заполняют ими всю фигуру, забывая цель, ради которой эта драпировка сделана, именно — ради изящного одевания и окружения того члена тела, на который она наложена, а не ради того, чтобы сплошь заполнять освещенные выпуклости членов тела вспученными или выпустившими воздух пузырьками. Я не утверждаю, что нельзя делать ни одной красивой сборки, но пусть она будет сделана на той части фигуры, где члены тела между собою и телом собирают эту драпировку. И прежде всего разнообразие драпировки в исторических [сюжетах]. Так, например, у

одних делай складки с выступающими изломами — это должно быть у плотных драпировок; пусть у какой-нибудь драпировки будут мягкие складки и изгибы их не острыми, а кривыми, — это бывает у саржи, атласа и других редких материй, как то у полотна, вуали и тому подобных; сделай также драпировки с немногими и большими складками, как у толстых драпировок, например у войлока, грубого сукна и других одеял. Эти напоминания я делаю не для мастеров, а для тех, которые не хотят учиться, ибо эти последние, конечно, не мастера, так как тот, кто не учится, тот боится, что он будет лишен заработка, а кто гоняется за заработком, тот покидает учение, заключающееся в творениях природы, учительницы живописцев, ибо то, чему от них научишься, забывается, а то, чему еще не на учился, больше не заучивается.

684. Ash. I, 18 г.

Если фигуры одеты плащом, то они не должны так обнаруживать голое тело, чтобы плащ казался лежащим прямо на теле, разве только ты хочешь, чтобы плащ как раз и был прямо на теле; ведь ты должен подумать о том, что между плащом и телом находятся другие одежды, которые мешают тому, чтобы формы членов тела обнаруживались на поверхности плаща, и ту форму члена тела, которую ты делаешь явной, делай ее настолько толстой, чтобы она под плащом показывала другие одежды; и только у нимфы или у ангела ты покажешь почти что всю толщину членов тела, — их ведь изображают одетыми в тонкие одежды, развевающиеся или прижатые дуновением ветра; у них и им подобных можно прекрасно показывать форму их членов тела.

685 3. Ash. I, 17 v.

Одной драпировке не следует придавать путаницы многих складок; наоборот, их следует делать только там, где они поддерживаются руками, остальное же пусть падает попросту туда, куда его тянет его природа. И фигура не должна быть пересечена слишком большим количеством линий или изломов складок. Драпировки следует срисовывать с природы, именно — если ты хочешь сделать шерстяную материю, то применяй складки соответственно этому; если же эта материя будет шелковой, или тонкой, или крестьянской, или льняной, или вуалью, то разнообразь у каждой из них ее складки, и не делай одежды, как это делают многие, срисовывая их с моделей, покрытых бумагой или тонкой кожей, так как ты очень сильно ошибешься.

686. T. P. 536.

Многочисленны те, которые любят складки сборок одежд с углами острыми, твердыми и отчетливыми; другие — с углами почти неощутимыми; третьи — вовсе без углов, а вместо них делают извивы. Из этих трех сортов одни предпочитают толстые

драпировки и с немногими складками, другие — тонкие и с большим числом складок, третьи придерживаются середины. Ты же следуй всем этим трем мнениям, помещая складки каждого сорта в своей исторической композиции, присоединяя туда и такие, которые кажутся старыми и заплатаанными, а также новые, изобилующие материей, и какие-нибудь бедные, в зависимости от качества того, кого ты одеваешь. И так же делай их цвета.

687. Ash. I, 4 г.

Та часть складки, которая находится наиболее далеко от своих сжатых краев, будет наиболее сведена к своей первоначальной природе. По природе каждый предмет жаждет удержаться в своей сущности; материя, так как она одинаковой плотности и частоты как с лицевой стороны, так и с обратной, жаждет расположиться ровно; поэтому, когда она какой-нибудь складкой или оборкой вынуждена покинуть эту ровность, она подчиняется природе этой силы в той части самой себя, где она наиболее сжата. А та часть, которая наиболее удалена от этого сжатия, ты увидишь, что она возвращается к первоначальной своей природе, то есть к растянутому и широкому состоянию.

688. Т. Р. 533.

Соблюдай соразмерность, с которой ты одеваешь фигуры, в зависимости от их положения и возраста. И прежде всего, чтобы драпировки не заслоняли движения, то есть членов тела, и чтобы эти члены тела не пересекались бы ни складками, ни тенями драпировок. И подражай, насколько только можешь, грекам и латинянам в способе показывания членов тела, когда ветер прижимает к ним драпировки; делай немного складок, много их делай только у старых мужчин, облаченных тогами и облеченных властью.

689. Т. Р. 541.

Костюмы фигур должны быть приспособлены к возрасту и благопристойности, то есть старец должен быть облачен в тогу, а юноша украшен таким костюмом, который едва закрывал бы шею выше плеч, за исключением тех, которые посвятили себя религии. И следует избегать, насколько можно больше, костюмов своего века, разве только встретятся такие, как вышеназванные; ими не следует пользоваться, кроме разве у таких фигур, которые должны быть похожи на надгробные статуи в церквях, чтобы они предохранили от смеха наших преемников над глупыми выдумками людей или же чтобы они заставляли удивляться своим благородством и красотой.

И я теперь вспоминаю, что в дни моего детства я видел людей, больших и малых, у которых края одежд были повсюду изрезаны зубцами, от головы до пят и по бокам; и в то время

это казалось такой прекрасной выдумкой, что изрезывали зубцами еще и эти зубцы, и носили такого рода капюшоны и башмаки и изрезанные зубцами разноцветные петушинные гребни, которые выступали из главных швов одежды; а также я видел [такие же] башмаки, шляпы, кошельки, оружие, которое носят для нападения, воротники у одежд, нижние края камзолов, шлейфы одежд; действительно, у всякого, кто хотел казаться красивым, все, до самого рта, было изрезано длинными и острыми зубцами.

В другое время начали разрастаться рукава, и они были так велики, что каждый сам по себе был больше всего костюма. Потом одежды начали подниматься к шее настолько, что в конце концов покрывали всю голову. Потом начали обнажать до такой степени, что материя не могла поддерживаться плечами, так как она на них не опиралась. Потом начали так удлинять одежды, что у людей руки все время были нагружены материей, чтобы не наступать на нее ногами; потом одежды стали такими короткими, что одевали только до бедер и локтей, и были столь узки, что причиняли огромное мучение, и многие из них лопались. И ноги были так затянuty, что пальцы ложились друг на друга и покрывались мозолями.

О композиции

690. К. 110 v.

Люди и слова [уже] сделаны, и если ты, живописец, не умеешь обращаться со своими фигурами, ты подобен оратору, который не умеет пользоваться своими словами.

691. С. А. 199 v.

Я говорю, что прежде всего нужно выучить члены тела и их работу и, покончив с этими сведениями, нужно проследить жесты в зависимости от тех состояний, которые случаются с человеком, и, в-третьих, компоновать исторические сюжеты, обучение которым должно происходить на природных жестах, производимых в зависимости от [данного] случая посредством соответствующих состояний; и [следует] наблюдать их на улицах, площадях и полях и отмечать их краткими записями очертаний: то есть так, что для головы делается, для руки — прямая и согнутая линия, и так же делается для ног и туловища; и потом, вернувшись домой, следует делать такие воспоминания в совершенной форме.

Говорит противник, что для того, чтобы стать практиком и делать много произведений, лучше первое время обучения отвести срисовыванию различных композиций, сделанных на бумаге или на стенах разными мастерами, и что на них приобретается быстрая практика и хороший навык. Ему следует ответить, что такой навык был бы хорош, если бы он приобретался на произ-

ведениях хорошей композиции и сделанных прилежными мастерами; и так как такие мастера столь редки, что мало их найдется, то надежнее идти к природным вещам, чем к тем, которые подражают этому природному [образцу] с большим ухудшением, и приобретать жалкие навыки, ибо тот, кто может идти к источнику, не должен идти к кувшину.

692. Ash. I, 27 v.

Поэтому, когда ты как следует изучишь перспективу и будешь знать на память все части и тела предметов, старайся часто, во время своих прогулок пешком, смотреть и наблюдать места и позы людей во время разговора, во время спора, или смеха, или драки, в каких они позах и какие позы у стоящих кругом, разнимающих их или просто смотрящих на это; отмечай их короткими знаками такого рода в своей маленькой книжечке, которую ты всегда должен носить с собою; пусть она будет с окрашенной бумагой, чтобы тебе не приходилось ее стирать, но чтобы ты мог менять старые [наброски] на новые, так как это не такие вещи, чтобы их стирать, — наоборот, сохраняй с большой тщательностью, ибо существует такое количество бесконечных форм и положений вещей, что память не в состоянии удерживать их; поэтому храни их как своих помощников и учителей.

693. T. P. 179.

Движения человека должны быть изучены после того, как приобретено знание членов и целого во всех движениях членов и суставов; затем, кратко отмечая их немногими знаками, [следует] рассматривать действия людей в разных настроениях, но так, чтобы они не видели, что ты их наблюдаешь. Ведь если они заметят такое наблюдение, то душа их будет занята тобою, и ее покинет та неукротимость действия, которым первоначально душа была целиком захвачена; так, например, когда двое разгневанных спорят друг с другом и каждому кажется, что он прав, тогда они с великой яростью поводят бровями, движут руками и другими членами тела, и их позы соответствуют их намерениям и их словам. Этого ты не сможешь сделать, если бы ты захотел заставить их изображать гнев или другое состояние, как смех, плач, горе, восхищение, страх и тому подобное, поэтому ты всегда старайся носить с собою маленькую книжечку из бумаги, приготовленной посредством костяной муки, и серебряным карандашом кратко отмечай такие движения, и таким же образом отмечай позы окружающих и их группировку. Это научит тебя компоновать исторический сюжет. И когда книга твоя будет полна, отложи ее в сторону и сохраняй для подходящего случая, и возьми другую, и поступай с ней так же; это будет в высшей степени полезно для твоего способа компоновки, чему я посвящаю отдельную книгу, которая будет следовать за книгой

«Знание фигур и членов тела в отдельности и изменения их составов».

694. Т. Р. 189.

О ты, компоновщик исторических сюжетов, не расчлений резко ограниченными очертаниями отдельных членений данного сюжета, иначе с тобою случится то, что обыкновенно случается со многими и различными живописцами, которые хотят, чтобы каждый малейший след угла был действителен. Они своим искусством могут отлично приобретать богатства, но не хвалу, ибо часто существо изображено с движениями, не соответствующими душевному движению; сделав прекрасное, приятное и вполне законченное расчленение, ему покажется обидным передвигать эти члены вверх или вниз или больше вперед, чем назад. Такие живописцы не заслуживают никакой похвалы в своей науке.

Или ты никогда не видал поэтов, komponующих свои стихи? Им не скучно выводить красивые буквы, они не ленятся подчищать некоторые из этих стихов, чтобы заменить их лучшими. Поэтому, живописец, грубо komponуй члены тела своих фигур и прежде обращай внимание на движения, соответствующие душевным состояниям живых существ, составляющих данный сюжет, чем на красоту и доброкачественность их частей. Ведь ты должен понимать, что если такая невырисованная композиция тебе удастся и будет соответствовать своему замыслу, то тем более она будет удовлетворять тебя, когда будет потом украшена законченностью, соответствующей всем ее частям. Я не раз видел на облаках и стенах пятна, которые побуждали меня к прекрасным изображениям различных вещей.

И хотя эти пятна были вовсе лишены совершенства в любой части, все же они были не лишены совершенства в движениях и других действиях.

695. Ash. I, 8 v.

Набросок исторического сюжета должен быть быстр, а расчленение не должно быть слишком законченным. Довольствуясь лишь положением этих членов тела, ты сможешь впоследствии закончить их на досуге, если это тебе захочется.

696. Т. Р. 177.

Помни, изобретатель, когда ты делаешь одну-единственную фигуру, — избегай ее сокращений, как в частях, так и в целом, так как ты принужден будешь бороться с незнанием невежд в таком искусстве. Но в исторических сюжетах делай сокращения всеми способами, как тебе придется, и особенно в битвах, где по необходимости случаются бесконечные искривления и выгибы участников такого раздора, или, лучше сказать, зверского безумства.

697. Т. Р. 178.

В исторических сюжетах должны быть люди различного сложения, возраста, цвета тела, поз, тучности, худобы; толстые, тонкие, большие, маленькие, жирные, сухощавые, дикие, культурные, старые, молодые, сильные и мускулистые, слабые и с маленькими мускулами, веселые, печальные; с волосами курчавыми и прямыми, короткими и длинными, с быстрыми и трусливыми движениями; и столь же различны должны быть одежды, цвета и все, что требуется в этом сюжете. Самый большой грех живописца — это делать лица похожими друг на друга; повторение поз — большой порок.

698. Т. Р. 377.

Соблюдай соразмерность, то есть приличие жеста, одежды, места и соответствие достоинству или незначительности тех предметов, которые ты хочешь изобразить, а именно: царь должен быть с бородою, с важностью в лице и в одежде, помещенные должно быть украшено, окружающие должны стоять с почетом и восхищением, одежды должны быть достойными и соответствующими важности царского двора. А незначительные — без украшений, незаметны и ничтожны. Окружающие должны быть такими же, с жестах подлыми и самонадеянными, и все члены их тела должны соответствовать такой композиции. И жесты старика не должны быть похожи на жесты юноши, женщины — на жесты мужчины, жесты взрослого человека — на жесты ребенка.

699. Т. Р. 182.

Не делай никогда в исторических сюжетах так много украшений на твоих фигурах и других телах, чтобы они заслоняли форму и позу такой фигуры и сущность вышеназванных других тел.

700. Т. Р. 188.

Композиции живописных исторических сюжетов должны побуждать зрителей и созерцателей к тому же самому действию, как и то, ради которого этот исторический сюжет был изображен. Например: если этот сюжет представляет ужас, страх и бегство, или же горе, плач и сетования, или наслаждение, радость и смех и тому подобные состояния, то души наблюдающих должны привести члены их тела в такие движения, чтобы казалось, что они сами участвуют в том же самом событии, которое представлено посредством фигур в данном историческом сюжете. Если же они этого не делают, то талант такого художника ничтожный.

701. Т. Р. 187.

Я говорю также, что в исторических сюжетах следует смешивать по соседству прямые противоположности, чтобы в со-

поставлении усилить одно другим, и тем больше, чем они будут ближе, то есть безобразный по соседству с прекрасным, большой с малым, старый с молодым, сильный со слабым, и так следует разнообразить, насколько это только возможно, и как можно ближе [одно от другого].

702. Т. Р. 379.

Как правило, при обычных исторических композициях делай старцев лишь кое-где и отдельно от молодых. Ведь старцы — редки, и их привычки не соответствуют привычкам молодежи, а там, где нет соответствия в привычках, там не завязывается и дружба...

708. S. K. M. II, 2 г.

Один, который испил, оставляет чашу на своем месте и поворачивает голову к говорящему. Другой сплетает пальцы своих рук и с застывшими бровями оборачивается к товарищу; другой с раскрытыми руками, показывает ладони их, и поднимает плечи к ушам, и открывает рот от удивления. Еще один говорит на ухо другому, и тот, который его слушает, поворачивается к нему, держа нож в одной руке и в другой — хлеб, наполовину разрезанный этим ножом. Другой при повороте, держа нож в руке, опрокидывает этой рукою чашу на столе.

709. S. K. M. II, 1 г.

Один положил руки на стол и смотрит, другой дует на кусок, один наклоняется, чтобы видеть говорящего, и заслоняет рукою глаза от света, другой отклоняется назад от того, кто нагнулся, и между стеною и нагнувшимся видит говорящего.

710. Ash. I, 21 г.

Если ты хочешь изобразить одного, говорящего среди многих, то позаботься обдумать тему, на которую он должен рассуждать, и приспособить в нем все жесты, относящиеся к этой теме. Именно: если эта тема убеждает, то и жесты должны этому соответствовать; если же в этой теме разъяняются различные доводы, то делай так, чтобы говорящий держал двумя пальцами правой руки один палец левой, загнув предварительно два меньших; лицо должно быть решительно обращено к народу; рот должен быть приоткрыт, чтобы казалось, что человек говорит; если же он сидит, то должно казаться, что он несколько приподнимается, подавшись головой вперед; если же ты делаешь его на ногах, то делай его несколько наклонившимся грудью и головой к народу, который ты изобразишь молчаливым и внимательным все должны смотреть оратору в лицо с жестами удивления. Сделай рот у какого-нибудь старика закрытым в изумлении от услышанных изречений, с опущенными углами, увлекающими за собою многочисленные складки щек; брови

должны быть приподняты в месте их соединения и образовывать много складок на лбу. Некоторые должны сидеть с переплетенными пальцами рук, держа в них усталое колено; у других одно колено поверх другого, и на нем — рука, держащая локоть другой руки, которая своей кистью поддерживает бородастый подбородок какого-нибудь согбенного старца.

ВВ *За последние сто с лишним лет мы привыкли к резким, подчас кричащим формам выразительности, к экспрессивности, связанной с деформациями образов. И как приученный к окрикам ребенок перестает реагировать на естественное обращение, так и мы порой воспринимаем сдержанное и гармоническое творчество Леонардо как нечто статичное и холодноватое. Нам даже может показаться, что он сам не следует собственным указаниям. Но, вживаясь в его образы, мы скоро оценим и величие «Мадонны Литты», и счастливую игру «Мадонны Бенуа», и ярость участников «Битвы при Ангиари», и поразительное разнообразие характеристик внутреннего состояния апостолов в «Тайной вечере» (об этом говорит сам Леонардо), и драматический порыв многочисленных фигур, окружающих величавую и кроткую Богородицу в «Поклонении волжских» и т.п.*

Пейзажи

730 Т. Р. 68.

Божественность, которой обладает наука живописца, делает так, что дух живописца превращается в подобие божественного духа, так как он свободной властью распоряжается рождением разнообразных сущностей разных животных, растений, плодов, пейзажей, полей, горных обвалов, мест страшных и ужасных, которые пугают своих зрителей, а также мест приятных, нежных, радующих цветистыми пестрыми лугами, склоняющимися в нежных волнах под нежным дуновением ветра и глядящими ему вслед, когда он убегает от них; реки, под напором великих дождей низвергающиеся с высоких гор и гонящие перед собою вырванные с корнями деревья, вперемешку с камнями, корнями, землей и пеной, преследуя все то, что противостоит их падению; и море с его бурями спорит и вступает в схватку с ветрами, сражающимися с ним; оно высоко вздымается гордыми валами и, падая, рушит их на ветер, хлещущий их основания; они же смыкаются и запирают его под собою, а он рвет их в ключья и раздирает, мешая их с мутной пеной, на ней срывая бешенство своей злобы; и иногда, подхваченная ветрами, пена убегает от моря, рассыпаясь по высоким скалам соседних предгорий, где, перебравшись через вершины гор, она спускается по ту сторону их, в долины; другая же часть становится добычей неистовства ветров, смешиваясь с ними; часть убегает от ветров и снова падает дождем на море, а часть разрушительно опуска-

ется с высоких предгорий, гоня впереди себя все то, что противостоит ее падению; и часто встречается с надвигающейся волной и, сталкиваясь с нею, поднимается к небу, наполняя воздух мутным и пенистым туманом; отнесенный ветрами к краю предгорий, он порождает темные облака, которые становятся добычей ветра, своего победителя.

721. Т Р. 936.

Горизонты находятся на разных расстояниях от глаза потому, что то место называется горизонтом, где светлота воздуха граничит с границею земли, и горизонт находится в стольких местах, видимых одной и той же отвесной линией, проходящей через центр мира, сколько существует высот глаза, видящего горизонт. Ведь глаз, помещенный у верхней пленки моря, видит этот горизонт вблизи полумили или около того; а если человек поднимается с глазом на свою полную высоту, то горизонт виден удаленным от него на семь миль; и так с каждой степенью высоты он открывает [перед собою] более удаленный от себя горизонт, и поэтому случается так, что находящиеся на высоких вершинах гор, близких к морю, видят круг горизонта очень удаленным от себя; но находящиеся среди земли не имеют горизонта на равном расстоянии [от себя], так как поверхность земли неравномерно удалена от центра мира и, следовательно, не обладает совершенной сферичностью, как верхняя пленка воды; это и есть причина такого многообразия расстояний между глазом и горизонтом.

Горизонт водной сферы никогда не будет выше подошвы ступней того, кто его видит, если тот соприкасается этими подошвами с местом соприкосновения границы моря с границею не покрытой водою земли.

Горизонт неба иногда очень близок, и в особенности для того, кто находится сбоку от горных высот: тот видит зарождение его на границе этих высот. А повернувшись назад к горизонту моря, он его увидит очень удаленным. Очень удален горизонт, видимый с побережья Египетского моря; рассматриваемый против течения Нила, по направлению к Эфиопии с ее прибрежными равнинами, горизонт виден смутным, даже нераспознаваемым, так как здесь — три тысячи миль равнины, которая все время повышается вместе с высотой реки, и такая толща воздуха располагается между глазом и эфиопским горизонтом, что каждый предмет делается белым, и поэтому такой горизонт теряет свою распознаваемость. И такие горизонты кажутся очень красивыми в картине. Правда, следует сделать по бокам несколько гор со степенями уменьшенных цветов, как этого требует порядок уменьшения цветов на больших расстояниях.

722. Т. Р. 237.

Волнующееся море не имеет всеобщего цвета, но кто смотрит на него с земли, тот видит его темного цвета, и тем более темным, чем оно ближе к горизонту. Отсюда же он видит некоторую светлоту, или блики, которые медленно движутся, подобно белым овцам в стаде.

Тот же, кто смотрит на море, находясь в открытом море, тот видит его синим. Это происходит оттого, что с земли море кажется темным, так как видишь на нем волны, которые отражают темноту земли; в открытом же море они кажутся синими, так как ты видишь в волнах синий воздух, отраженный этими волнами.

723. Т. Р. 927.

Та краснота, в которую окрашиваются облака в большей или меньшей степени, возникает тогда, когда солнце находится на горизонте вечером или утром, и так как то тело, которое обладает некоторой прозрачностью, до некоторой степени пронизано солнечными лучами, когда солнце показывает себя вечером или утром. И так как те части облаков, которые находятся ближе к краям их клубов, более тонки по своей плотности, чем к середине этих клубов, то солнечные лучи пронизывают их более сияющей краснотою, чем те плотные части, которые остаются темными, будучи непроницаемыми для таких солнечных лучей; и всегда облака тоньше в местах соприкосновения своих клубов, чем в середине, как это доказано здесь выше. И поэтому краснота облаков имеет различные качества красного.

Я говорю, что глаз, находящийся между клубами облаков и солнечным телом, увидит середины этих клубов больше сияющими, чем в какой-либо другой части. Но если глаз находится сбоку, таким образом, что линии, идущие от клубов к глазу и от солнца к тому же самому глазу, образуют угол меньше прямого, тогда наибольшее освещение таких клубов облаков будет по краям этих клубов.

То, что здесь говорится о красноте облаков, разумеется [применительно к тому случаю], когда солнце находится позади облаков. Если же солнце находится перед этими облаками, тогда клубы их будут более сияющими, чем промежутки между ними, — то есть в середине между клубами и впадинами, — но не по сторонам, которые видят темноту неба и земли.

724. Т. Р. 934.

Облако, находящееся под луною, темнее, чем любое другое, а более удаленные — светлее; та же часть облака, которая прозрачна в середине или по краям этого облака, кажется светлее всякой другой подобной части в прозрачных местах облаков, более удаленных, так как с каждой степенью расстояния середи-

на облаков становится светлее, а их светлые части становятся более непрозрачными и красноватыми гаснувшей краснотою; края же их темноты, вступающие в их прозрачную светлоту, обладают дымчатыми и смутными границами, и то же самое делают края их светлоты, граничащие с воздухом. А облака небольшой толщины — целиком прозрачные, и больше по направлению к середине, чем по краям, которые мертвого красноватого оттенка, цвета грязного и мутного. И чем дальше облака отстоят от луны, тем белесоватее их свет, выступающий вокруг темноты облака, и в особенности против луны; а совсем тонкое облако не имеет черноты и мало белесоватости, так дым движется в тем более косом направлении, чем сильнее ветер, его движитель. Дым бывает настолько различных цветов, насколько различных предметы, его порождающие.

Дым не образует очерченных теней, и его собственные границы тем менее отчетливы, чем они дальше от своей причины; предметы, стоящие за ним, тем менее ясны, чем плотнее клубы дыма, и они [клубы] тем белее, чем они ближе к началу и синее к концу. Огонь будет казаться тем более темным, чем большее количество дыма располагается между глазом и этим огнем. Где дым более далек, там предметы меньше им заслоняются.

Пейзаж с дымом делай вроде густого тумана, в котором видны дымы в различных местах со своим пламенем, освещающим у их начала наиболее густые клубы этого дыма. И чем выше горы, тем они яснее своих подножий, как это видно и при тумане.

732. G. 22 v.

Дымы видны лучше и более отчетливыми в восточной стороне, чем в западной, если солнце стоит на востоке, и это происходит по двум причинам. Первая — это то, что солнце просвечивает своими лучами частицы такого дыма, осветляет их и делает их более отчетливыми. Вторая — это то, что крыши домов, видимые к востоку в это время, затенены, так как их скат не может освещаться солнцем. То же самое происходит и с пылью, — оба они тем более светonosны, чем они плотнее; плотнее же они к середине.

733. G. 23 r.

Если солнце стоит на востоке, то дым города не будет виден на западе, так как его не видно ни пронизанным солнечными лучами, ни на темном фоне, ибо крыши домов показывают глазу ту же самую часть, которая обращена к солнцу, а на этом светлом фоне дым виден очень мало.

Но пыль с той же точки зрения будет на вид темнее, чем дым, так как она обладает более плотной материей, чем дым, материя влажная.

734. Е. 3 в.

У зданий, видимых на большом расстоянии вечером или утром в тумане или плотном воздухе, обнаруживается только светлота их освещенных солнцем частей, обращенных к горизонту; те же части названных зданий, которые невидимы для солнца, остаются почти цвета средней темноты тумана.

735 G. 19 в.

Когда солнце на востоке, а глаз помещается над центром города, тогда этот глаз увидит, что в южной стороне этого города крыши наполовину затенены, наполовину освещены, и так же и на северной стороне; восточная будет совсем темной, а западная совсем светлой.

736. G. 15 г.

У людей и лошадей в напряженной битве части тела будут тем темнее, чем они ближе к земле, их несущей. И это подтверждается на стенках колодца, которые становятся все темнее, чем дальше уходят вглубь; происходит это оттого, что самая глубокая часть колодца видит меньшую часть и видима меньшей части освещенного воздуха, чем какая-либо другая его часть. А земля, того же цвета, как и ноги упомянутых людей и лошадей, будет всегда освещена между более равными углами, чем названные ноги.

737. Т. Р. 452.

Нижние границы удаленных предметов будут менее ощутимы, чем их верхние границы, и это особенно случается с горами и холмами, вершины которых делают себе фоном склоны других гор, находящихся за ними; у них верхние границы видны более отчетливыми, чем их основания, так как верхняя граница темнее, ибо она меньше заслонена плотным воздухом, который находится в низких местах, а это и есть то, что путает данные границы оснований холмов. То же самое случается с деревьями, зданиями и другими предметами, которые поднимаются в воздух. И от этого происходит то, что часто высокие башни, видимые на большом расстоянии, кажутся толстыми у вершины и тонкими у подножья, так как верхняя часть показывает углы боковых сторон, граничащие с передней стороной, ибо тонкий воздух не так прячет их от тебя, как плотный у их подножий. Это происходит согласно седьмому положению первой книги, которое гласит: где плотный воздух располагается между глазом и солнцем, он более сияет внизу, чем наверху. И где воздух белее, там он больше заслоняет от глаза темные предметы, чем если бы этот воздух был синим; так, если с большого расстояния рассматривать зубцы крепостей, имеющие пространства между ними, равные ширине этих зубцов, то пространства кажутся много большими, чем зубец; а с более

далекого расстояния промежуток заслоняет и покрывает весь зубец, и такая крепость будет казаться совершенно прямой и без зубцов.

NB Леонардо излагает некие непреложные, объективные истины «живописи как науки», и его указания обращены к «художнику вообще». Он совершенно не озабочен тем, что сейчас называют «индивидуальными траекториями развития».

Да этого и быть не могло. Скорее всего, люди искусства стали осознавать ценность индивидуальной неповторимости художника лишь позже, когда она стала исчезать под влиянием академического обучения, стригущего под одну гребенку. А во времена Леонардо не было, кажется, оснований, чтобы озадачиться этим вопросом.

Но, с моей точки зрения, путь работы над собой, который предлагает Леонардо, благоприятен для индивидуального становления художника. Потому что главным источником развития здесь является не искусство, уже созданное другими, а любовное и пристальное наблюдение жизни в ее неповторимых и выразительных проявлениях. Той самой «единственной жизни», которую, согласно М.Бахтину, каждый проходит своей, единственной тропой и видит со своего, единственного места в бытии. Причем «видит» и в переносном — целостном и философском, и в самом прямом смысле слова: никто другой никогда не увидит мир в точности так, как каждый из нас. А значит — и не изобразит.

Дело тут не сводится к прямолинейной работе с натуры, но это уже слишком специальный вопрос, чтобы обсуждать его здесь.

СКАЗКИ, БАСНИ И ПРИТЧИ*

Кремень и огниво

Получив однажды сильный удар от огнива, кремень возмущенно спросил у обидчика:

— С чего ты так набросилось на меня? Я тебя знать не знаю. Ты меня, видимо, с кем-то путаешь. Оставь, пожалуйста, мои бока в покое. Я никому не причиняю зла.

— Не сердись, дружок, понапрасну, — с улыбкой промолвило огниво в ответ. — Если ты наберешься немного терпения, то вскоре увидишь, какое чудо я извлеку из тебя.

При этих словах кремень успокоился и стал терпеливо сносить удары огнива. И наконец из него был высечен огонь, способный творить подлинные чудеса. Так терпение кремня было по заслугам вознаграждено.

Сказка сказана для тех, кто поначалу робует в учебе. Но если запастись терпением и проявить старание, то посеянные се-

* Печатается по: Леонардо да Винчи. Сказки, легенды, притчи — Л.: Детская литература», 1983.

мена знания непременно дадут добрые всходы. Ученья корень горек, да плод сладок.

Каштан и инжир

Однажды каштан с удивлением увидел, как, взобравшись на соседний инжир и пригибая к себе ветки, человек стал срывать спелые ягоды. Видать, они пришлись ему по вкусу, и он тут же принялся уписывать их за обе щеки, всюю работая крепкими зубами.

— Послушай-ка, сосед! — обратился каштан к инжиру, недовольно покачивая кроной. — В чем ты провинился перед матерью-природой, коли она так обделила тебя? Посмотри, как славно я устроен! Видишь, как надежно упрятаны и защищены мои вкусные плоды, не чета твоим. Природа не поскупилась, заботясь о них.

Довольный собой каштан с нежностью посмотрел на свои плоды и продолжал:

— Природа одела их в тонкие рубашки, а затем принарядила в прочные камзолы на шелковистой подкладке. Мало того, они у меня упрятаны в крепкие скорлупки-кольчуги, усеянные острыми шипами. Так что человеку не видать моих каштанов как своих ушей!

Прослышав такие речи, сосед не смог удержаться и громко расхохотался. Насмеявшись вдоволь и переведя дух, инжир ответил наконец:

— Плохо же ты, брат, знаешь человека, коли так опрометчиво судишь о нем! Он настолько умен и ловок, что доберется и до твоих неприступных плодов. Вооружившись шестью, палками и камнями, он вытрясет из тебя всю душу и посшибает каштаны. А когда они попадают на землю, примется топтать и давить их камнями. Так что твои хваленые красавцы выскочат как угорелые из колючих скорлупок.

Подумав немного, инжир сказал напоследок:

— Мне было бы грешно обижаться на природу. Все со мной обходится ласково и учтиво, а мои сочные плоды срывают только руками, стараясь не помять и не раздавить их. Да и я не хочу оставаться в долгу, радуя людей вкусными ягодами.

Муравей и пшеничное зерно

Оставшееся на поле после жатвы пшеничное зерно с нетерпением ждало дождя, чтобы поглубже зарыться в сырую землю в преддверии наступающих холодов.

Пробегавший мимо муравей заметил его. Обрадовавшись находке, он не раздумывая взвалил тяжелую добычу на спину и с трудом пополз к муравейнику.

Чтобы засветло поспеть к дому, муравей ползет без остановки, а поклажа все тяжелее давит его натруженную спину.

— Зачем ты надрываешься? Брось меня здесь! — взмолилось пшеничное зерно.

— Если я тебя брошу, — ответил муравей, тяжело дыша, — мы останемся на зиму без пропитания. Нас много, и каждый обязан промышлять, дабы умножать запасы в муравейнике.

Тогда зерно подумало и сказало:

— Я понимаю твои заботы честного труженика, но и ты вникни в мое положение. Послушай меня внимательно, умный муравей!

Довольный тем, что можно немного перевести дух, муравей сбросил со спины тяжелую ношу и присел отдохнуть.

— Так знай же, — сказало зерно, — во мне заключена великая животворная сила, и мое назначение — породить новую жизнь. Давай заключим с тобой один договор.

— Какой такой договор?

— А вот какой. Если ты не потащишь меня в муравейник и оставишь на родном поле, — пояснило зерно, — то ровно через год получишь взамен сто таких же пшеничных зерен.

Удивленный муравей недоверчиво покачал головой.

— Верь мне, дорогой муравей, я говорю сущую правду! Если ты сейчас откажешься от меня и повременишь, то потом я сторицей вознагражу твоё терпение и твой муравейник не будет внакладе.

Муравей задумался, почесывая затылок: «Сто зерен в обмен на одно. Да такие чудеса только в сказках бывают».

— А как ты это сделаешь? — спросил он, раздраемый любопытством, но все еще не веря.

— Положись на меня! — ответило зерно. — Это великая тайна жизни. А теперь вырой небольшую ямку, закопай меня, а летом сызнова возвращайся.

В условленный срок муравей вернулся на поле. Пшеничное зерно сдержало свое обещание.

Кедр

В одном саду рос кедр. С каждым годом он мужал и становился все выше и краше. Его пышная крона царственно возвышалась над остальными деревьями и отбрасывала на них густую тень. Но чем больше он разрастался и тянулся вверх, в нем росло непомерное высокомерие. С презреньем поглядывая на всех свысока, однажды он повелительно крикнул:

— Уберите прочь этот жалкий орешник! — И дерево было срублено под корень.

— Освободите меня от соседства несносного инжира! Он докучает мне своим глупым видом, — приказал в другой раз капризный кедр. И инжир постигла та же участь.

Довольный собой, горделиво покачивая ветвями, спесивый красавец не унимался:

— Очистите вокруг меня место от старых яблонь! — И деревья пошли на дрова.

Так неугомонный кедр повелел истребить одно за другим все деревья, став полновластным хозяином в саду, от бывлой красы которого остались одни пни.

Но однажды разразился сильный ураган. Зазнавшийся кедр изо всех сил противостоял ему, крепко держась за землю мощными корнями. А ветер, не встретив на своем пути других деревьев, беспрепятственно набрасывался на одиноко стоящего красавца, нещадно ломая, круша и пригибая его книзу. Наконец истерзанный кедр не выдержал яростных ударов, треснул и повалился наземь.

Камень и дорога

Жил-был на свете большой красивый камень. Протекавший мимо ручей до блеска отполировал его бока, которые так и сверкали на солнце.

Но со временем ручей высох, а камень продолжал лежать на пригорке. Вокруг него было раздолье для высоких трав и ярких полевых цветов.

Сверху камню хорошо была видна пробегавшая внизу мощная дорога, по обочине которой были свалены в кучи голыши и булыжники.

Оставшись в одиночестве без привычного журчания веселого ручья, камень все чаще стал с тоской поглядывать вниз на дорогу, где всегда царило оживление. Однажды ему сделалось так грустно, что он не выдержал и воскликнул:

— Не век же мне вековать одному! Что проку от трав и цветов? Куда разумнее жить бок о бок с моими собратьями на проезжей дороге, где жизнь бьет ключом.

Сказав это, он сдвинулся в дорожной толчее, где его грубо отшвыривали в сторону, пока не очутился на дороге среди таких же, как он, камней.

Кто только не проходил и не проезжал по дороге! И колеса повозок с железными ободьями, и копыта лошадей, коров, овец, коз, и шегольские сапоги с ботфортами, и подбитые гвоздями крепкие крестьянские башмаки.

Камень оказался в дорожной толчее, где его грубо отшвыривали в сторону, топтали, крошили, облавали потоками грязи, а порой он бывал выпачкан по уши коровьим пометом.

Куда девалась его бывлая красота! Теперь он с грустью поглядывал вверх на пригорок, где когда-то мирно лежал среди благоухающих цветов. Ему ничего более не оставалось, как тщетно мечтать о возврате утраченного спокойствия и одиночества. Не зря говорят: «Что имеем — не храним, потерявши — плачем».

Ручей

Один легкомысленный ручей запомнил, что своими водами он обязан дождю. После сильного ливня он так непомерно раздулся, что, утратив скромность, вознамерился стать полноводной рекой.

Чтобы расширить русло, разбушевавшийся не на шутку ручей принялся подтачивать берег, размывая землю и обрушивая камни.

Но вот ветер разогнал тучи, и снова выглянуло яркое солнце. Сам того не ведая, строптивый ручей оказался пленником сооруженной им запруды. Чтобы не превратиться в грязную лужу и не высохнуть на солнцепеке, ему пришлось немало попотеть, плулая среди разбросанных камней, прежде чем он смог спуститься в долину и отдать свои воды их законной хозяйке — реке.

Персиковое дерево

В одном саду рядом с орешником росло персиковое дерево. Оно то и дело с завистью поглядывало на ветви соседа, щедро усыпанные орехами.

— Отчего у него столько плодов, а у меня так мало? — не переставало ворчать неразумное дерево. — Разве это справедливо? Пусть и у меня будет столько же персиков! Чем я хуже его?

— Не зарься на чужое! — сказала ему как-то росшая поблизости старая слива. — Неужели ты не видишь, какой крепкий ствол и гибкие ветки у орешника? Чем ворчать понапрасну да завидовать, постарайся-ка лучше вырастить добротные сочные персики.

Но ослепленное черной завистью персиковое дерево не желало прислушаться к добрым советам сливы, и никакие доводы на него не действовали. Оно тут же повелело своим корням поглубже вгрызться в землю и поболее извлечь живительных соков и влаги. Ветвям оно приказало не скупиться на завязь, а цветам превратиться в плоды.

Когда прошла пора цветения, дерево оказалось увешанным с ног до головы зреющими плодами.

Наливаясь соком, персики тяжелели день ото дня, и ветвям было нелегко удерживать их на весу.

И вот однажды дерево застонало от натуги, ствол с треском надломился, а спелые персики попадали все до одного на землю, где и сгнили у подножия невозмутимого орешника.

Лев

У малышей еще не прорезались глаза. Они пока беспомощно ползают между лап мамы львицы и тыкаются слепыми мор-

дочками в теплый материнский живот в поисках вкусного молока, оставаясь глухи к любому другому зову.

Стараясь не мешать своей подруге ухаживать за сосунками, гордый лев стоял в стороне и внимательно наблюдал за своим семейством.

Вдруг он тряхнул царственной гривой и издал мощный раскатистый рев.

Лвята тотчас прозрели, а все остальные обитатели саванны в ужасе разбежались.

Подобно грозному львиному рыку, пробуждающему лвят к жизни, справедливая похвала или хула разумных родителей помогает раскрытию добродетелей в наших детях. Тем самым взрослые побуждают ребят к учебе и радению, изгоняя из них прочь все некрасивое и дурное.

Орешник и вяз

Орешник гордо покачивал ветвями, сплошь усыпанными еще не созревшими плодами.

Подняв глаза, он с удивлением обнаружил, что рядом выросло дерево с густой кроной, на ветвях которого, кроме листьев, ничего не было.

— Кто дал тебе право застить свет и мешать моим орехам набираться сил? — грозно спросил орешник. — Отвечай! Ты кто такой?

— Я вяз, — робко и учтиво ответил сосед.

— Ах ты вяз, в листьях по уши увяз! — передразнил его недовольный орешник. — А где же твои плоды? Не стыдно ли тебе без толку расти и мешать другим? Вот погоди! Скоро созреют мои орехи, попадают на сырую землю и прорастут. Тогда мы тебя разом со свету сживем.

И действительно, орехи удались на славу — все как на подбор. Но однажды мимо проходили солдаты. Увидев орешник, они с жадностью набросились на него, посрывали все орехи и обломали ветки.

Сердобольный вяз с сочувствием посмотрел на присмирившего соседа.

— Бедный орешник! Напрасно ты пророчил мне погибель, не ведая, что тебя самого ждет печальная участь. И мне тебя вдвойне жаль, ибо пострадал ты из-за собственных орехов.

Орешник еще долго сокрушался, залечивая раны, а добрый вяз продолжал разрастаться, никому не завидуя и не желая худого.

Сыновья благодарности

Как-то поутру два старых удода, самец и самка, почувствовали, что на сей раз им не вылететь из гнезда. Густая пелена за-

стлала им очи, хотя небо было безоблачным и день обещал быть солнечным. Но оба видели лишь мутную дымку и ничего уже не различали вокруг. Они были стары и немощны. Перья на крыльях и хвосте потускнели и ломались, словно старые сучья. Силы были на исходе.

Старики удода решили не покидать более гнездо и вместе ожидать последний час, который не замедлит явиться.

Но они ошиблись — явились их дети. Поначалу показался один из сыновей, случайно пролетавший мимо. Он заметил, что старым родителям нездоровится и туго приходится одним, и полетел оповестить остальных братьев и сестер.

Когда все молодые удода были в сборе подле отчего дома, один из них сказал:

— От наших родителей мы получили величайший и бесценный дар — жизнь. Они вскормили и вырастили нас, не жалея ни сил, ни любви. И теперь, когда оба больны, слепы и уже не в состоянии прокормить себя, наш святой долг — вылечить и выводить их!

После этих слов все дружно принялись за дело. Один немедленно приступили к постройке нового, более теплого гнезда, другие отправились на ловлю букашек и червячков, а остальные полетели в лес.

Вскоре было готово новое гнездо, куда дети бережно перенесли старых родителей. Чтобы согреть их, они накрыли стариков крыльями, как наседка согревает собственным теплом еще не вылупившихся птенцов. Затем родителей напоили родниковой водой, накормили и осторожно выщипали свалывшийся пух и старые ломкие перья.

Наконец из леса вернулись остальные удода, принеся в клюве травку, исцеляющую от слепоты. Все принялись врачевать больных соком чудодейственной травки. Но лечение шло медленно, и пришлось запастись терпением, подменяя друг друга и не оставляя родителей ни на минуту одних.

И вот настал радостный день, когда отец и мать раскрыли глаза, огляделись и узнали всех своих детей. Так сыновья благодарность и любовь исцелили родителей, вернув им зрение и силы.

Сердечная теплота

Два молодых страуса были вне себя от горя. Всякий раз, как они принимались высидывать яйца, те лопались под тяжестью их тела.

Отчаявшись добиться своего, они решили отправиться за советом к умной бывалой страусихе, жившей на другом конце пустыни.

Много дней и ночей пришлось бежать им, пока они не добрались до цели.

— Помоги нам! — взмолились оба. — Вразуми и научи нас, несчастных, как высидывать яйца! Сколько мы ни старались, нам так и не удалось получить потомство.

Внимательно выслушав их горестную историю, умная страусиха сказала в ответ:

— Дело это многотрудное. Помимо желанья и старания здесь надобно еще кое-что.

— Что же? — разом воскликнули оба страуса. — Мы на все согласны!

— А коли так, слушайте и запоминайте! Самое главное — это сердечная теплота. Вы должны с любовью относиться к снесенному яйцу, постоянно заботясь о нем, как о самой дорогой для вас ценности. Только теплота ваших сердец способна вдохнуть в него жизнь.

Окрыленные надеждой страусы отправились в обратный путь.

Когда яйцо было снесено, самка и самец принялись бережно ухаживать за ним, не спуская с него глаз, полных любви и нежности.

Так прошло немало дней. От постоянного бдения оба страуса еле держались на ногах. Но их вера, терпение и старания были вознаграждены. Однажды в яйце что-то дрогнуло, оно треснуло и раскололось, а из скорлупы выглянула пушистая головка крохотного страусенка.

Лоза и крестьянин

Лоза не могла нарадоваться, видя, как весной крестьянин осторожно вскопал вокруг нее землю, стараясь не задеть заступом нежные корни, как он любовно ухаживал за ней, подвязывал, ставил прочные подпорки, чтобы ей вольготнее было расти. В благодарность за такую заботу она решила во что бы то ни стало одарить человека сочными душистыми гроздьями.

Когда пришла пора сбора винограда, лоза была с ног до головы увешана крупными кистями. Рачительный хозяин все их срезал одну за другой и бережно уложил в корзину. Затем, подумав, выкопал колья и подпорки и пустил их на дрова.

И бедной лозе ничего не осталось, как горевать от незаслуженной обиды и мерзнуть всю зиму на голой земле. Но на следующий год она не была уже столь щедрой, и недальновидный крестьянин жестоко поплатился за свою жадность.

Летучая мышь и ласточка

Прилепившись к стене сарая под козырьком крыши, летучая мышь укрылась с головой перепончатыми крыльями, чтобы не видеть солнечного света. Так она провела весь день до заката.

Когда солнце скрылось за горизонтом и небо потемнело, она высунула голову из-под крыши и осторожно огляделась вокруг.

— Наконец-то погас этот отвратительный свет! — сказала она. — Ах, как затекли мои бедные лапки! Уж теперь я их разомну и всласть полетаю в ночном приволье.

Как раз в это время возвращалась домой запоздалая ласточка, уставшая после дневных забот. Она чуть было не столкнулась с летучей мышью, которая незаметно, по-воровски, вылетала из своего укрытия под навесом.

— Чтоб тебе пусто было! — в сердцах промолвила ласточка. — Ты, как злое наваждение, не можешь жить открыто и честно.

Ласточка была права. Добру незачем таиться и некого бояться, ибо оно всех одаривает теплом и радостью, как солнечный день. А вот летучая мышь, боясь ослепнуть, сторонится и бежит от света, точно ложь от правды.

Великодушие

Высунув голову из гнезда, орленок увидел множество птиц, летающих внизу среди скал.

— Мама, что это за птицы? — спросил он.

— Наши друзья, — ответила орлица сыну. — Орел живет в одиночестве — такова его доля. Но и он порой нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц? Все, кого ты видишь внизу, — наши верные друзья.

Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок продолжал с интересом наблюдать за полетом птиц, считая отныне их своими верными друзьями.

Вдруг он закричал:

— Ай-ай, они украли у нас еду!

— Успокойся, сынок! Они ничего у нас не украли. Я сама их угостила. Запомни раз и навсегда, что я скажу тебе! Как бы орел ни был голоден, он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. На такой высоте они не в силах найти себе пропитание, и им следует помогать.

Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском.

Лев и ягненок

Однажды голодному льву подбросили в клетку живого ягненка. Малыш был настолько наивен и добродушен, что ничуть не оробел при виде царя зверей. Приняв его, видимо, за свою маму, несмышлениш подошел к грозному мохнатому зверю, ла-

сково заблеял и уставился на него своими широко раскрытыми ясными глазами, полными безграничной любви, кротости и восхищения.

Лев был обезоружен такой доверчивостью и не посмел растерзать ягненка. Недовольно ворча, он так и заснул в тот раз годным.

Обезьянка и птенец

Прыгая с ветки на ветку, молоденькая обезьянка нашла гнездо с птенцами. Она тотчас запустила в него лапу, но птенцы мгновенно упорхнули в разные стороны. Не повезло лишь самому слабому из них, не умевшему пока летать.

Не чувствуя под собою ног от радости, обезьянка вернулась домой с птенчиком в руках. Он так очаровал ее, что она принялась его ласкать, чмокать, облизывать, качать на руках и крепко прижимать к груди.

Мать умиленно посмотрела на дочь, но не пожурела за шалость.

— Ты только посмотри, мама, какой он милый и потешный! — восторженно кричала обезьянка. — Ах, как я его люблю!

Она продолжала целовать и тискать пичужку, пока та не задохнулась в жарких объятьях.

Пусть призадумаются некоторые родители, неспособные вовремя одернуть своих детей, потакающая опасным забавам, которые никогда добром не кончаются.

Орел-насмешник

Отдохнув после удачной охоты и сытной трапезы, орел высоко взмыл в небо и стал парить на могучих крыльях в голубом просторе. Несмотря на головокружительную высоту, острое зрение позволяло ему видеть все, что творится на земле. Он различал даже рыб в озере, не говоря уж о зайцах, резвящихся на лесной поляне. Но вот его внимание привлек филин, сидевший на суку. «Какое странное существо, — подумал орел. — Вряд ли это птица». Подгоняемый любопытством, он начал спускаться вниз и, подлетев поближе, крикнул незнакомцу:

— Эй ты! Как тебя зовут?

— Я филин, — ответила птица, дрожа от страха.

— Ха, ха, ха! — рассмеялся орел и сел рядом на сук. — Отчего ты, братец, так безобразен и смешон? Одни глаза да перья.

Орел был в благодушном настроении, и его подмывало позабавиться над перепуганным до смерти филином.

— А ну-ка посмотрим поближе на это пугало да послушаем, каков у него голосок. Если он столь же прекрасен, как и его хозяин, придется заткнуть уши.

Продолжая насмехаться над бедной птицей, орел раздвинул крыльями густые ветки, чтобы вплотную приблизиться к своей жертве.

Как раз в этом месте крестьянин расставил силки и густо смазал смолой самые толстые ветки и ствол. Орел вдруг почувствовал, что его крылья прилипли к дереву. Как ни старался он высвободиться, перья сильнее слипались, а крылья и когтистые лапы окончательно запутались в сетях. Тогда филин сказал насмешнику:

— Напрасно ты куражился, орел! Стоило спускаться с небес, где тебе не грозит никакая беда? А теперь расплачивайся за насмешки!

Медвежонок и пчелы

Не успела медведица отлучиться по делам, как ее непоседливый сынок, забыв о мамином наказе сидеть дома, вприпрыжку помчался в лес. Сколько здесь раздолья и незнакомых, манящих запахов! Не то что в тесной душной берлоге. Вне себя от радости медвежонок принялся гоняться за бабочками, пока не наткнулся на большое дупло, откуда так сильно пахло, что в носу зашекетало.

Приглядевшись, малыш обнаружил, что пчел здесь видимо-невидимо. Одни летали с грозным жужжанием вокруг дупла, точно часовые, а другие прилетали с добычей и, юркнув внутрь, снова улетали в лес.

Завороженный этим зрелищем, любопытный медвежонок не мог удержаться от соблазна. Ему не терпелось поскорее выведать, что творится внутри дупла. Вначале он просунул туда нос и понюхал, а затем погрузил лапу и почувствовал что-то теплое и липкое. Когда он вытащил лапу наружу, она была вся в меду.

Не успел он лизнуть сладкую лапу и зажмуриться от удовольствия, как на него налетела туча свирепых пчел, которые впелись ему в нос, уши, рот... От нестерпимой боли медвежонок взвыл и стал отчаянно защищаться, давя лапами пчел. Но те еще пуще жалили. Тогда он принялся кататься по земле, стараясь заглушить жгучую боль, но и это не помогало.

Не помня себя от страха, малыш пустился наутек к дому. Весь искусанный, прибежал он в слезах к своей маме. Медведица для порядка пожурала его за баловство, а затем промыла покусанные места студеной ключевой водой.

С той поры медвежонок твердо знал, что за сладкое приходится горько расплачиваться.

Завещание орла

Старый орел давно потерял счет годам, живя в гордом одиночестве среди неприступных скал. Но силы ему стали изменять, и он почувствовал, что конец его близок.

Мощным призывным клекотом орел созвал своих сыновей, живших на склонах соседних гор. Когда все были в сборе, он оглядел каждого и молвил:

— Все вы вскормлены, возвращены мной и с малых лет приучены смело смотреть солнцу в глаза. Я уморил голодом тех ваших братьев, кои не переносили ослепительного сиянья. Вот отчего вы по праву летаете выше всех остальных птиц. И горе тому, кто посмеет приблизиться к вашему гнезду! Все живое трепещет пред вами. Но будьте великодушны и не чините зла слабым и беззащитным. Не забывайте старую добрую истину: бояться себя заставишь, а уважать не принудишь.

Сыновья с почтением внимали речам родителя.

— Дни мои сочтены, — продолжал тот. — Но в гнезде я не хочу умирать. Нет! В последний раз устремлюсь в заоблачную высь, куда смогут поднять меня крылья. Я полечу навстречу солнцу, чтобы в его лучах сжечь старые перья, и тотчас рухну в морскую пучину...

При этих словах воцарилась такая тишина, что даже горное эхо не осмелилось ее нарушить.

— Но знайте! — сказал отец сыновьям напоследок. — В этот самый миг должно совершиться чудо: из воды я вновь выйду молодым и сильным, чтобы прожить новую жизнь. И вас ждет та же участь. Таков наш орлиный жребий!

И вот, расправив крылья, старый орел поднялся в свой последний полет. Гордый и величавый, он сделал прощальный круг над скалой, где взрастил многочисленное потомство и прожил долгие годы. Храня глубокое молчание, его сыновья наблюдали, как орел смело устремился навстречу солнцу.

Лесной жаворонк

В глухом лесу жил старый отшельник. Он любил тишину, уединение и водил дружбу с лесным жаворонком. Однажды к нему пришли два оруженосца из соседнего замка и попросили оказать помощь их заболевшему хозяину, которому, несмотря на старания знаменитых лекарей, с каждым часом становилось все хуже.

Сопровождаемый своим другом жаворонком, старик тут же отправился в путь за оруженосцами, и вскоре его ввели в замок.

У изголовья больного собрались четыре лекаря. Они вели между собой неспешный разговор, то и дело озабоченно покачивая головами.

— Помочь уже ничем нельзя, — тихо произнес один из них, по виду самый важный.

А отшельник, остановившись у порога, не спускал глаз со своего пернатого друга. Жаворонок сделал несколько кругов под потолком, а затем, подлетев к высокому подоконнику, уселся и стал пристально смотреть на больного.

— Выздоровеет! — утвердительно сказал старик, наблюдая за птицей.

— Как смеет этот мужлан и невежда совать нос в чужие дела! — разом воскликнули возмущенные лекари.

А тем временем умирающий приоткрыл глаза и, увидев перед собой сидящую на подоконнике птицу, попытался улыбнуться.

Его щеки постепенно начали розоветь, силы возвращаться, и, ко всеобщему удивлению, хозяин замка промолвил слабым голосом:

— Я чувствую себя немного лучше.

Прошло несколько дней. Окончательно оправившись после тяжелого недуга, знатный рыцарь пожаловал к отшельнику в лес, желая отблагодарить своего исцелителя.

— Не меня благодари, — сказал ему старик. — Это птица тебя исцелила. Жаворонок очень чуток к любой хвори. Коли он смотрит в сторону, оказавшись около больного, — надежды на выздоровление мало, и тут уже трудно чем-либо помочь. Если же он глаз не сводит с больного, то тому наверняка удастся побороть болезнь. Своим добрым, участливым взглядом пичужка приносит исцеление.

И в нашей жизни добро, как чуткий жаворонок, сторонится всего нездорового, уродливого и дурного, предпочитая жить бок о бок с честными, благородными помыслами и поступками. Подобно птицам, вьющим свои гнезда в тенистых лесах и на цветущих лугах, доброта всегда обитает в чутком, отзывчивом сердце.

Истинная любовь сказывается в несчастье. Как огонек, она тем ярче светит, чем темнее ночная мгла.

Гадюка и соловей

Пока соловьята безмятежно спали, тесно прижавшись друг к другу, их заботливые родители отправились на поиски корма.

Пронюхав это, гадюка поползла к гнезду, предвкушая легкую добычу. Но соловей уже поспешал к дому с червячком в клюве. Вовремя заметив злодейку, которая подкрадывалась к его гнезду, он закричал с мольбой в голосе:

— Остановись! Пощади моих невинных детушек! Взамен за их жизнь я спою тебе песню, прекрасней которой ты никогда еще не слыхала...

И он защелкал, засвистал на все лады. По лесу разнеслись нежные чарующие звуки, полные несказанной красоты и светлой печали.

Гадюка растерялась и остановилась в нерешительности. Но, чтобы не поддаваться очарованию соловьиных трелей, от которых даже яд в ее зубах мог утратить силу, она заткнула уши хвостом и поскорее убралась восвояси.

Богач и бедняк

Жил-был бедный ремесленник. Поработав в мастерской, он, бывало, навещал богатого синьора, жившего неподалеку.

Ремесленник стучал в дверь, осторожно входил и, оказавшись в богатых покоях перед знатным господином, снимал шляпу и отвешивал почтительный поклон.

— Что тебе, братец, от меня надобно? — спросил его как-то хозяин дома. — Вижу, как ты то и дело приходишь меня навещать, отвешиваешь поклон, а затем молча уходишь ни с чем. Коли ты нуждаешься в чем-нибудь, то сделай милость, проси, не стесняйся!

— Благодарю вас, ваша светлость, — с почтением ответил ремесленник. — Я прихожу к вам, чтобы отвести душу и посмотреть, как живет богатый человек. Такую роскошь можем себе позволить только мы, простолюдины. К сожалению, вы, знатные синьоры, лишены такой благодати и вам негде отвести душу, ибо вокруг вас обитают одни только бедняки, вроде меня.

ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА **1568—1639**

ГОРОД СОЛНЦА, ИЛИ ИДЕАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА* **Поэтический диалог**

Собеседники:

Главный Гостинник и Мореход из Генуи

Гостинник

Поведай мне, пожалуйста, о всех своих приключениях во время последнего плавания.

Мореход

Я уже рассказывал тебе о своем кругосветном путешествии, во время которого попал я в конце концов на Тапробану, где был вынужден сойти на берег. Там, опасаясь туземцев, укрылся я в лесу; когда же я наконец из него выбрался, очутился я на широкой равнине, лежащей как раз на экваторе.

Гостинник

Ну, а там что с тобой приключилось?

Мореход

Я неожиданно столкнулся с большим отрядом вооруженных мужчин и женщин, многие из которых понимали наш язык. Они сейчас же повели меня в Город Солнца.

Гостинник

Скажи мне, как же устроен этот город и какой в нем образ правления?

* В настоящем издании воспроизводится перевод с латинского Р.А.Петровского, впервые напечатанный в издательстве «Akademia» в 1934 г. и сделанный с 1-го издания работы 1623 г.

Мореход

Вид и устройство города

На обширной равнине возвышается высокий холм, на котором и расположена большая часть города; многочисленные же его окраины выходят далеко за подошву горы, размеры которой таковы, что город имеет в поперечнике свыше двух миль, а окружность его равна семи. Благодаря тому, что лежит он по горбу холма, площадь его больше, чем если бы он находился на равнине. Разделяется город на семь обширных поясов, или кругов, называющихся по семи планетам. Из одного круга в другой попадают по четырем мощным улицам сквозь четверо ворот, обращенных на четыре стороны света. И город так, право, выстроен, что если бы взят был приступом первый круг, то для взятия второго понадобилось бы употребить вдвое больше усилий; а для овладения третьим — еще того больше. Итак, чтобы захватить каждый следующий, надо было бы постоянно употреблять вдвое больше усилий и труда. Таким образом, если бы кто задумал взять этот город приступом, ему пришлось бы брать его семь раз. Но, по-моему, невозможно взять и первый круг: настолько широк окружающий его земляной вал и так укреплен он бастионами, башнями, бомбардами и рвами.

Итак, войдя северными воротами (которые окованы железом и так сделаны, что могут легко подыматься и опускаться и накрепко запираются благодаря удивительно ловкому устройству своих выступов, прилаженных для движения в выемках прочных косяков), увидел я ровное пространство шириною в семьдесят шагов между первым и вторым рядом стен. Оттуда можно видеть обширные палаты, соединенные со стеною второго круга так, что они, можно сказать, составляют как бы одно целое здание. На половине высоты этих палат идут сплошные арки, на которых находятся галереи для прогулок и которые поддерживаются снизу прекрасными толстыми столбами, опоясывающими аркады наподобие колоннад или монастырских переходов. Снизу входы в эти здания имеются лишь с внутренней, вогнутой стороны стены; в нижние этажи входят прямо с улицы, а в верхние — по мраморным лестницам, ведущим в подобные же внутренние галереи, а из них — в прекрасные верхние покои с окнами как на внутреннюю, так и на наружную сторону стены и разделенные легкими перегородками. Толщина выпуклой, то есть внешней, стены — восемь пядей, вогнутой — три, а промежуточных — от одной до полутора пядей.

Отсюда можно пройти к следующему проходу между стенами, шага на три уже первого, с которого видна первая стена следующего круга с подобными же галереями сверху и внизу; а с внутренней стороны идет другая стена, опоясывающая палаты, с такими же выступами и переходами, опирающимися снизу на колонны; сверху же, там, где находятся двери в верхние покои,

она расписана великолепною живописью. Таким образом, по подобным же кругам и через двойные стены, внутри которых находятся палаты с выступающими наружу галереями на колоннах, доходишь до самого последнего круга, идя все время по ровному месту; однако же при проходе сквозь двойные ворота (во внешних и внутренних стенах) приходится подниматься по ступеням, но устроенным так, что подъем почти не заметен: идешь по ним наискось, и высота лестниц поэтому едва ощутима. На вершине горы находится открытая и просторная площадь, посередине которой возвышается храм, воздвигнутый с изумительным искусством.

Гостинник

Продолжай же, продолжай, говори, заклинаю тебя жизнью!

Мореход

Устройство храма на вершине

Храм прекрасен своей совершенно круглою формой. Он не обнесен стенами, а покоится на толстых и соразмерных колоннах. Огромный, с изумительным искусством воздвигнутый купол храма завершается посередине, или в зените, малым куполом с отверстием над самым алтарем. Этот единственный алтарь находится в центре храма и обнесен колоннами. Храм имеет в окружности свыше трехсот пятидесяти шагов. На капители колонн снаружи опираются арки, выступающие приблизительно на восемь шагов и поддерживаемые другим рядом колонн, покоящихся на широком и прочном парапете вышиною в три шага; между ним и первым рядом колонн идут нижние галереи, вымощенные красивыми камнями; а на вогнутой стороне парапета, разделенного частыми и широкими проходами, устроены неподвижные скамьи; да и между внутренними колоннами, поддерживающими самый храм, нет недостатка в прекрасных переносных креслах. На алтаре виден только один большой глобус с изображением всего неба и другой — с изображением земли. Затем на своде главного купола нанесены все звезды неба от первой до шестой величины, и под каждой из них указаны в трех стихах ее название и силы, которыми влияет она на земные явления. Имеются там и полюсы, и большие и малые круги, нанесенные в храме перпендикулярно к горизонту, однако не полностью, так как внизу нет стены; но их можно дополнить по тем кругам, которые нанесены на глобусах алтаря. Пол храма блистает ценными камнями. Семь золотых лампад, именующихся по семи планетам, висят, горя неугасимым огнем. Малый купол над храмом окружают несколько небольших красивых келий, а за открытым проходом над галереями, или арками, между внутренними и внешними колоннами расположено много других просторных келий, где живут до сорока девяти священ-

ников и подвижников. Над меньшим куполом возвышается только своего рода флюгер, указывающий направление ветров, которых они насчитывают до тридцати шести. Они знают и какой год предвещают какие ветры, и какие перемены на суше и на море, но лишь в отношении своего климата. Там же, под флюгером, хранится написанный золотыми буквами свиток.

Гостинник

Прошу тебя, доблестный муж, разъясни мне подробно всю их систему управления. Это меня особенно интересует.

Мореход

Образ правления

Верховный правитель у них — священник, именующийся на их языке «Солнце», на нашем же мы называли бы его Метафизиком. Он является главою всех и в светском и в духовном, и по всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение. При нем состоят три соправителя: Пон, Син и Мор, или по-нашему: Мошь, Мудрость и Любовь.

Ведение правления Моши

В ведении Моши находится все касающееся войны и мира: военное искусство, верховное командование на войне; но и в этом он не стоит выше Солнца. Он управляет военными должностями, солдатами, ведает снабжением, укреплениями, осадами, военными машинами, мастерскими и мастерами, их обслуживающими.

Ведение правителя Мудрости

Ведению Мудрости подлежат свободные искусства, ремесла и всевозможные науки, а также соответственные должностные лица и ученые, равно как и учебные заведения. Число подчиненных ему должностных лиц соответствует числу наук: имеется Астролог, также и Космограф, Геометр, Историограф, Поэт, Логик, Ритор, Грамматик, Медик, Физик, Политик, Моралист. И есть у них всего одна книга, под названием «Мудрость», где удивительно сжато и доступно изложены все науки. Ее читают народу согласно обряду пифагорейцев.

Легкость усвоения наук при помощи картин

По повелению Мудрости во всем городе стены, внутренние и внешние, нижние и верхние, расписаны превосходнейшею живописью, в удивительно стройной последовательности отображающей все науки. На внешних стенах храма и на завесах,

ниспадающих, когда священник произносит слово, дабы не терялся его голос, минуя слушателей, изображены все звезды, с обозначением при каждой из них в трех стихах ее сил и движений.

На внутренней стороне стены первого круга изображены все математические фигуры, которых значительно больше, чем открыто их Архимедом и Евклидом. Величина их находится в соответствии с размерами стен, и каждая из них снабжена подходящей объяснительной надписью в одном стихе: есть там и определения, и теоремы, и т.п. На внешнем изгибе стены находится прежде всего крупное изображение всей земли в целом; за ним следуют особые картины всевозможных областей, при которых помещены краткие описания в прозе обычаев, законов, нравов, происхождения и сил их обитателей; также и алфавиты, употребляемые во всех этих областях, начертаны здесь над алфавитом Города Солнца.

На внутренней стороне стены второго круга, или второго ряда строений, можно видеть как изображения, так и настоящие куски драгоценных и простых всякого рода камней, минералов и металлов, с пояснениями при каждом в двух стихах. На внешней стороне изображены моря, реки, озера и источники, существующие на свете; так же как и вина, масла и все жидкости; указано их происхождение, качества и свойства; а на выступах стены стоят сосуды, наполненные жидкостями, выдержанными от сотни до трехсот лет, для лечения различных недугов. Там же, с соответствующими стихами, находятся и подлинные изображения града, снега, грозы и всех воздушных явлений.

На внутренней стороне стены третьего круга нарисованы все виды деревьев и трав, а иные из них растут там в горшках на выступах наружной стены строений; они снабжены пояснениями, где какие впервые найдены, каковы их силы и качества и чем сходствуют они с явлениями небесными, среди металлов, в человеческом теле и в области моря; каково их применение в медицине и т.д. На внешней стороне — всевозможные породы рыб речных, озерных и морских, их нравы и особенности, способы размножения, жизни, разведения, какая от них польза миру и нам, равно как и сходства их с предметами небесными и земными, созданные природой или искусственно; так что я был совершенно поражен, увидев рыбу епископа, рыбу цепь, панцирь, гвоздь, звезду, мужской член, в точности соответствующих по своему виду предметам, существующим у нас. Там можно увидеть и морских ежей, и улиток, и устриц и т. д. И все достойное изучения представлено там в изумительных изображениях и снабжено пояснительными надписями.

На внутренней стороне четвертого круга изображены всякие породы птиц, их качества, размеры, нравы, окраска, образ жизни и т.д. И Феникса они считают за действительно существующую птицу. На внешней стороне видны все породы пресмыка-

ющихся; змеи, драконы, черви; и насекомые: мухи, комары, слепни, жуки и т.д., с указанием их особенностей, свойств ядовитости, способов применения и т.д. И их там гораздо больше, чем даже можно себе представить.

На внутренней стороне стены пятого круга находятся высшие земные животные, количество видов которых просто поразительно: мы не знаем и тысячной их части. И такое их множество и таковы их размеры, что изображены они и на внешней стороне круговой стены. Сколько там одних только лошадиных пород, какие все это прекрасные изображения и как толково все это объяснено!

На внутренней стороне стены шестого круга изображены все ремесла с их орудиями и применение их у различных народов. Расположены они сообразно их значению и снабжены пояснениями. Тут же изображены и их изобретатели. На внешней же стороне нарисованы все изобретатели наук, вооружения и законодатели. Видел я там Моисея, Озириса, Юпитера, Меркурия, Ликурга, Помпилия, Пифагора, Замолксия, Солона и многих других; имеется у них и изображение Магомета, которого, однако, они презирают, как вздорного и ничтожного законодателя. Зато на почетнейшем месте увидел я образ Иисуса Христа и двенадцати апостолов, которых они глубоко чтут и превозносят, почитая их за сверхчеловеков. Видел я Цезаря, Александра, Пирра, Ганнибала и других достославных мужей, прославившихся на войне и в мирных делах, главным образом римлян, изображения которых находятся на нижней части стен, под портиками. Когда же стал я с изумлением спрашивать, откуда известна им наша история, мне объяснили, что они обладают знанием всех языков и постоянно отправляют по свету нарочных разведчиков и послов для ознакомления с обычаями, силами, образом правления и историей отдельных народов и со всем, что есть у них хорошего и дурного, и для донесения затем своей республике; и все это чрезвычайно их занимает. Узнал я там и то, что китайцами еще раньше нас изобретены бомбарды и книгопечатание. Для всех этих изображений имеются наставники, а дети без труда и как бы играючи знакомятся со всеми науками наглядным путем до достижения десятилетнего возраста.

Ведение правителя Любви

Ведению Любви подлежит, во-первых, деторождение и наблюдение за тем, чтобы сочетание мужчин и женщин давало наилучшее потомство. И они издеваются над тем, что мы, забывая усердно об улучшении пород собак и лошадей, пренебрегаем в то же время породой человеческой. В ведении того же правителя находятся воспитание новорожденных, врачевание, изготовление лекарств, посевы, жатва и сбор плодов, земледелие, скотоводство, стол и вообще все, относящееся к пище,

одежде и половым сношениям. В его распоряжении находится ряд наставников и наставниц, приставленных следить за всеми этими делами.

Метафизик же наблюдает за всем этим при посредстве упомянутых трех правителей, и ничто не совершается без его ведома. Все дела их республики обсуждаются этими четырьмя лицами, и к мнению Метафизика присоединяются во взаимном согласии все остальные.

Гостинник

Но скажи, пожалуйста, все эти их должности, учреждения, обязанности, воспитание, образ жизни — что это: республика, монархия или аристократия?

Мореход

Возникновение и необходимость наилучшей республики

Народ этот появился из Индии, бежавши оттуда после поражения монголами и насильниками, разорившими их родную страну, и решил вести философский образ жизни общиной.

И хотя общность жен и не установлена среди остального населения, живущего в их области, у них самих она принята на том основании, что у них все общее. Распределение всего находится в руках должностных лиц; но так как знания, почести и наслаждения являются общим достоянием, то никто не может ничего себе присвоить.

Они утверждают, что собственность образуется у нас и поддерживается тем, что мы имеем каждый свое отдельное жилище и собственных жен и детей. Отсюда возникает себялюбие, ибо ведь, чтобы добиться для своего сына богатства и почетного положения и оставить его наследником крупного состояния, каждый из нас или начинает грабить государство, ежели он ничего не боится, будучи богат и знатен, или же становится скрягою, предателем и лицемером, когда недостает ему могущества, состояния и знатности. Но когда мы отрешимся от себялюбия, у нас остается только любовь к общине.

Гостинник

Так ведь никто же не захочет работать, раз будет рассчитывать прожить на счет работы других, в чем Аристотель и опровергает Платона.

Мореход

Я — плохой спорщик, но тем не менее уверяю тебя, что они пылают такой любовью к родине, какую и представить себе трудно; гораздо больше даже, чем римляне, которые, как известно по преданиям, добровольно умирали за отечество, — пото-

му что значительно превосшли их в отрешении от собственности. Я, по крайней мере, уверен, что и братья, и монахи, и клирики наши, не соблазняйся они любовью к родным и друзьям, стали бы гораздо святее, меньше были бы привязаны к собственности и дышали бы большею любовью к ближнему.

Гостинник

Это, кажется, говорит святой Августин, но я заключаю, что среди этого рода людей никакого значения не имеет дружба, раз у них нет возможности оказывать друг другу взаимные одолжения.

Мореход

Наоборот, огромное: следует ведь обратить внимание на то, что хотя им и неоткуда делать друг другу никаких подарков, — потому что все, в чем они нуждаются, они получают от общины и должностные лица тщательно следят за тем, чтобы никто не получал больше, чем ему следует, никому, однако, не отказывая в необходимом, — но дружба у них проявляется на войне, во время болезни, при соревновании в науках, когда они помогают друг другу и взаимно делятся знаниями; а то в похвалах, словах, при исполнении обязанностей и во взаимном одолжении необходимого.

Все сверстники называют друг друга братьями; тех, кто старше их на двадцать два года, зовут они отцами, а тех, кто на двадцать два года моложе, — сыновьями. И должностные лица внимательно следят за тем, чтобы никто не нанес другому никакой обиды в этом братстве.

Гостинник

Каким же образом?

Мореход

Об обвинениях

У них столько же должностных лиц, сколько мы насчитываем добродетелей: есть должность, называемая Великодушие, есть — именуемая Мужество, затем Целомудрие, Щедрость, Правосудие — уголовное и гражданское, Усердие, Правдолюбие, Благотворительность, Любезность, Веселость, Бодрость, Воздержность и т.д. На каждую из подобных должностей избираются те, кого еще с детства признают в школах наиболее пригодным для ее занятия. Поэтому, так как нельзя среди них встретить ни разбоя, ни коварных убийств, ни насилий, ни кровосмешения, ни блуда, ни прочих преступлений, в которых обвиняем друг друга мы, — они преследуют у себя неблагодарность, злобу, отказ в должном уважении друг к другу, леность, уныние, гневливость, шутовство, ложь, которая для них ненави-

стнее чумы. И виновные лишаются в наказание либо общей трапезы, либо общения с женщинами, либо других почетных преимуществ на такой срок, какой судья найдет нужным для искупления проступка.

Гостинник

Скажи, а какой у них порядок выбора должностных лиц?

Мореход

Об одежде, воспитании и выборах

Этого ты как следует не поймешь, прежде чем не познакомишься с их образом жизни. Прежде всего да будет тебе известно, что мужчины и женщины у них носят почти одинаковую одежду, приспособленную к военному делу, только плащ у женщин ниже колен, а у мужчин доходит только до колен. И все они обучаются всяким наукам совместно. По второму и до третьего года дети обучаются говорить и учат азбуку, гуляя вокруг стен домов; они разделяются на четыре отряда, за которыми наблюдают поставленные во главе их четыре ученых старца. Эти же старцы спустя некоторое время занимаются с ними гимнастикой, бегом, метанием диска и прочими упражнениями и играми, в которых равномерно развиваются все их члены. При этом до седьмого года они ходят всегда босиком и с непокрытой головой. Одновременно с этим водят их в мастерские к сапожникам, пекарям, кузнецам, столярам, живописцам и т.д. для выяснения наклонностей каждого.

На восьмом году, после начального обучения основам математики по рисункам на стенах, направляются они на лекции по всем естественным наукам. Для каждого предмета имеется по четыре лектора; и в течение четырех часов все четыре отряда слушают их по очереди, так что в то время, как одни занимаются телесными упражнениями или исполняют общественные обязанности, другие усердно занимаются на лекциях.

Затем все они приступают к изучению более отвлеченных наук: математики, медицины и других знаний, постоянно и усердно занимаясь обсуждениями и спорами. Впоследствии все получают должности в области тех наук или ремесел, где они преуспели больше всего, — каждый по указанию своего вождя или руководителя. Они отправляются на поля и на пастбища наблюдать и учиться земледелию и скотоводству; и того почитают за достойнейшего, кто изучил больше искусств и ремесел и кто умеет применять их с большим знанием дела. Поэтому они издеваются над нами за то, что мы называем мастеров небогородными, а благородными считаем тех, кто не знаком ни с каким мастерством, живет праздно и держит множество слуг для своей праздности и распутства, отчего, как из школы пороков, и выходит на погибель государства столько бездельников и зло-

деев. Остальных должностных лиц избирают четыре главных правителя: Глава Государства по имени Солнце, Пон, Син и Мор и руководители соответственных наук и ремесел, хорошо знающие, кто наиболее пригоден заведовать тем или иным мастерством и ведать ту или иную добродетель. И никто не выступает сам в качестве соискателя, как это обычно принято, а предлагается на Совете должностными лицами, где каждый на основании своих сведений высказывается за или против избрания определенного лица.

Избрание Главы Государства

Но никто, однако, не может достичь звания Главы Государства, кроме того, кто знает историю всех народов, все их обычаи, религиозные обряды, законы, все республики и монархии, законодателей и изобретателей наук и ремесел и строение и историю неба. Также почитается для этого необходимым ознакомиться со всеми ремеслами (ведь всего в какие-нибудь два дня можно постичь одно из них, хотя и не овладевая им практически, но освоившись с ним по его применению и изображениям). Также надо знать и науки физические, и математические, и астрологические. Не так существенно знакомство с языками, так как у них имеется много переводчиков, которыми служат в их республике грамматик. Но преимущественно перед всем необходимо постичь метафизику и богословие; познать корни, основы и доказательство всех искусств и наук; сходства и различия в вещах; необходимость, судьбу и гармонию мира; мощь, мудрость и любовь в вещах и в Боге; разряды сущего и соответствия его с вещами небесными, земными и морскими и с идеальными в Боге, насколько это постижимо для смертных, а также изучить пророков и астрологию. Таким образом, уже задолго известно, кто станет Главой Государства. Но никто, однако, не возводится в это звание ранее достижения тридцатипятилетнего возраста. Должность эта несменяема до тех пор, пока не найдется такого, кто окажется мудрее своего предшественника и способнее его к управлению.

Гостинник

Но разве может кто бы то ни было обладать такою ученостью? Да и не способен, мне кажется, к управлению тот, кто посвятил себя наукам.

Мореход

Возможно ли, чтобы мудрецы способны были к управлению

Это же самое возражал им и я. Они же мне ответили: «Мы, несомненно, лучше знаем, что столь образованный муж будет

мудр в деле управления, чем вы, которые ставите главами правительства людей невежественных, считая их пригодными для этого лишь потому, что они либо принадлежат к владетельному роду, либо избраны господствующей партией. А наш Глава Государства, пусть он даже будет совершенно неопытен в делах управления государством, никогда, однако, не будет ни жестоким, ни преступником, ни тираном именно потому, что он столь мудр. Но, кроме того, да будет вам известно, что твой аргумент имеет силу применительно к вам, раз вы считаете учеными тех, кто лучше знает грамматику или логику Аристотеля или другого какого-либо автора. Для такого рода мудрости потребны только рабская память и труд, отчего человек делается косным, ибо занимается изучением не самого предмета, а лишь книжных слов, и унижает душу, изучая мертвые знаки вещей, и не понимает из-за этого ни того, каким образом Бог правит сущим, ни нравов и обычаев, существующих в природе и у отдельных народов. Но ничего такого не сможет случиться с нашим Главой Государства, ибо ведь никто не в состоянии изучить столько искусств и наук, не обладая исключительными способностями ко всему, а следовательно, в высшей степени и к правлению. Нам также прекрасно известно, что тот, кто занимается лишь одной какой-нибудь наукой, ни ее как следует не знает, ни других. И тот, кто способен только к одной какой-либо науке, почерпнутой из книг, тот невежествен и косен. Но этого не случается с умами гибкими, восприимчивыми ко всякого рода занятиям и способными от природы к постижению вещей, каковым необходимо и должен быть наш Глава Государства. Кроме того, как видишь, в нашем городе с такою легкостью усваиваются знания, что ученики достигают больших успехов за один год, чем у вас за десять или пятнадцать лет. Проверь это, пожалуйста, на наших детях».

Я был совершенно изумлен и справедливостью их рассуждений, и испытанием тех детей, которые хорошо понимали мой родной язык. Дело в том, что каждые трое из них должны знать или наш язык, или арабский, или польский, или какой-либо из прочих языков. И они не признают никакого иного отдыха, кроме того, во время которого приобретают еще больше знаний, для чего и отправляются они в поле — заниматься бегом, метанием стрел и копий, стрелять из аркебузов, охотиться на диких зверей, распознавать травы и камни и т.д. и учиться земледелию и скотоводству в составе то одного, то другого отряда.

Троим же соправителям Солнца полагается изучать лишь те науки, которые относятся к их области управления: с другими, общими для всех, они знакомятся только наглядным путем, свои же знают в совершенстве и, естественно, лучше всякого другого. Так, Мошь в совершенстве знает кавалерийское дело, построение войска, устройство лагеря, изготовление всякого

рода оружия, военных машин, военные хитрости и все вообще военное дело. Но, кроме того, эти правители непременно должны быть и философами, и историками, и политиками, и физиками...

О деторождении

... Когда же они родят, то кормят сами и воспитывают новорожденных в особых общих помещениях; грудью кормят они два года и больше, в зависимости от предписания Физика. Вскормленный грудью младенец передается на попечение начальниц, если это девочка, или начальников, ежели это мальчик. И тут вместе с другими детьми они занимаются, играючи, азбукой, рассматривают картины, бегают, гуляют и борются; знакомятся по изображениям с историей и языками. Одевают их в красивые пестрые платья. На восьмом году переходят они к естественным наукам, а потом и к остальным, по усмотрению начальства, и затем к ремеслам. Дети менее способные отправляются в деревню, но некоторые из них, оказавшиеся более успешными, принимаются обратно в город. Но в большинстве случаев, родившись под одним и тем же расположением звезд, сверстники сходятся и по способностям, и по нраву, и по наружности, отчего проистекает великое согласие в государстве, поддерживаемое неизменной взаимной любовью и помощью друг другу.

О наречении имен

Имена у них даются не случайно, но определяются Метафизиком в соответствии с особенностями каждого, как это было в обычае у древних римлян. Поэтому один называется «Красивый», другой — «Носатый», тот — «Толстоногий», этот — «Свирепый», иной — «Худой» и т. д. А ежели кто отличится в своем мастерстве или прославится каким-нибудь подвигом на войне или в мирное время, то к имени прибавляется соответствующее прозвище или сообразно мастерству, например: «Прекрасный Великий Живописец», «Золотой», «Отличный», «Проворный»; или же по подвигам, например: «Носатый Храбрец», «Хитрец», «Великий или Величайший Победитель», а то и по имени побежденного врага, вроде: «Африканский», «Азиатский», «Тосканский»; или если кто победил Манфреда или Тортелия, то и называется: «Худой Манфредий», «Тортелий» и т. д. Даются эти прозвища высшими властями и часто сопровождаются возложением венков, соответственно подвигу, мастерству и т.д. под звуки музыки. Ибо золото и серебро они ценят только как материал для посуды или для общих всем украшений.

Гостинник

Об искоренении зависти и честолюбия

Скажи, пожалуйста, а не бывает ли в их среде зависти или досады у тех, кого не выбрали в начальники или на какую-нибудь другую должность, которой они добивались?

Мореход

Нисколько. Ведь никто из них не терпит никакого недостатка не только в необходимом, но даже и в утехах. На деторождение они смотрят как на религиозное дело, направленное ко благу государства, а не отдельных лиц, при котором необходимо подчиняться властям. И то, что мы считаем для человека естественным иметь собственную жену, дом и детей, дабы знать и воспитывать свое потомство, это они отвергают, говоря, что деторождение служит для сохранения рода, как говорит святой Фома, а не отдельной личности. Итак, производство потомства имеет в виду интересы государства, а интересы частных лиц — лишь постольку, поскольку они являются частями государства; и так как частные лица по большей части и дурно производят потомство, и дурно его воспитывают, на гибель государства, то священная обязанность наблюдения за этим, как за первой основой государственного благосостояния, вверяется заботам должностных лиц, и ручаться за надежность этого может только община, а не частные лица.

О красоте женщин

...Среди них безобразия не встречается, так как у женщин благодаря их занятиям образуется и здоровый цвет кожи, и тело развивается, и они делаются статными и живыми; а красота почитается у них в стройности, живости и бодрости. Поэтому они подвергли бы смертной казни ту, которая из желания быть красивой начала бы румянить лицо, или стала бы носить обувь на высоких каблуках, чтобы казаться выше ростом, или длиннополое платье, чтобы скрыть свои дубоватые ноги. Но и при всем желании ни одна не могла бы там этого сделать: кто стал бы все это ей доставать? И они утверждают, что у нас все эти прихоти появились из-за праздности и безделья женщин, отчего портится у них цвет кожи, отчего они бледнеют и теряют гибкость и стройность; и потому приходится им краситься, носить высокие каблуки и добиваться красоты не развитием тела, а ленивой изнеженностью и таким образом вконец разрушать естественное развитие и здоровье не только свое, но и своего потомства.

Кроме того, если кто-нибудь страстно влюбится в женщину, то влюбленные могут и разговаривать, и шутить, и дарить друг другу венки из цветов или листьев, и подносить стихи. Однако,

если это может быть опасно для потомства, совокупление им ни в коем случае не разрешается, кроме того случая, что женщина беременна (чего и ждет мужчина) или же она неплодна. Но, впрочем, любовь у них выражается скорее в дружбе, а не в пылком любовном вождении.

Против гордости

Самым гнусным пороком считают они гордость, и надменные поступки подвергаются жесточайшему презрению. Благодаря этому никто не считает для себя унижительным прислуживать за столом или на кухне, ходить за больными и т.д.

Польза общего труда

Всякую службу называют они учением, говоря при этом, что одинаково почтенно ногам ходить, задю испражняться, а глазам видеть и языку говорить; ведь по необходимости и глаза выделяют слезы, а язык — слюни, подобно испражнениям. Поэтому каждый, на какую бы службу ни был он назначен, исполняет ее как самую почетную. Рабов, развращающих нравы, у них нет: они в полной мере обслуживают себя сами, и даже с избытком.

...Но в Городе Солнца, где обязанности, художества, труды и работы распределяются между всеми, каждому приходится работать не больше четырех часов в день; остальное время проводится в приятных занятиях науками, собеседовании, чтении, рассказах, письме, прогулках, развитии умственных и телесных способностей, и все это делается радостно. Не разрешается лишь играть в кости, камешки, шахматы и другие сидячие игры, а играют там в мяч, в лапту, в обруч, борются, стреляют в цель из лука, аркебузов, метают копыя и т.д.

Они утверждают, что крайняя нищета делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отверженными, лжецами, лжесвидетелями и т.д., а богатство — надменными, гордыми, невеждами, изменниками, рассуждающими о том, чего они не знают, обманщиками, хвастунами, черствыми, обидчиками и т.д. Тогда как община делает всех одновременно и богатыми, и вместе с тем бедными: богатыми — потому что у них есть все, бедными — потому что у них нет никакой собственности; и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им. И поэтому они всячески восхваляют благочестивых христиан и особенно превозносят апостолов.

О метафизике Начал метафизических полагают они два: сущее, то есть высшего Бога, и небытие, которое есть недостаток бытийности и необходимое условие всякого физического становления; ибо то, что есть, не становится, и, следовательно, того, что становится, раньше не было. Далее, от склонности к небытию рождаются зло и грех; грех имеет, таким образом, не

действующую причину, а причину недостаточную. Под недостаточной же причиной понимают они недостаток мощи, или мудрости, или воли. Именно в этом и полагают они грех: ибо тот, кто знает и может творить добро, должен иметь и волю к нему, ибо воля возникает из первых двух способностей, а не наоборот.

Изумительно то, что они поклоняются Богу — Троице, говоря, что Бог есть высшая мощь, от которой исходит высшая мудрость, которая точно так же есть Бог, а от них — любовь, которая есть и мощь и мудрость; ибо исходящее непременно будет обладать природой того, от чего оно исходит. При этом, однако, они не различают поименно отдельных лиц троицы, как в нашем христианском законе, потому что они лишены откровения, но они знают, что в Боге заключается исхождение и отношение самого себя к себе, в себя и от себя.

Таким образом, все существа метафизически состоят из мощи, мудрости и любви, поскольку они имеют бытие, и из немощи, неведения и ненависти, поскольку причастны небытию; и посредством первых стяжают они заслуги, посредством последних — грешат: или грехом природным — по немощи и неведению, или грехом вольным и умышленным, либо тройко: по немощи, неведению и ненависти — либо по одной ненависти. Ведь и природа в своих частных проявлениях грешит по немощи или неведению, производя чудовищ. Впрочем, все это предусматривается и устраняется Богом, ни к какому небытию непричастным, как существом всемогущим, всеведущим и всеблагим. Поэтому в Боге никакое существо не грешит, а грешит вне Бога. Но вне Бога мы можем находиться только для себя и в отношении нас, а не для него и в отношении к нему...

Гостинник

Господи, какие тонкости!

Мореход

Уверяю тебя, что если бы я все запомнил и не боялся сейчас опоздать, я бы нарасказал тебе изумительных вещей, но я пропущу корабль, ежели не потороплюсь.

Гостинник

Умоляю тебя, не утай от меня только одного: что говорят они о грехопадении Адама?

Мореход

О причине зол в мире

Они ясно сознают, что в мире царит великая испорченность, что люди не руководствуются истинными высшими целями, что достойные терпят мучения, что им не внимают, а что господствуют негодяи, хотя их благополучную жизнь они называют не-

счастьем, ибо она есть как бы ничтожное и показное бытие, так как ведь на самом деле не существует ни царей, ни мудрецов, ни подвижников, ни святых, раз они поистине не таковы. Из этого они заключают, что в делах человеческих из-за какого-то случая возникло великое смятение. Сначала они как будто были склонны считать вместе с Платоном, что небесные сферы в прежние времена вращались с нынешнего Запада туда, где, мы теперь считаем, находится Восток, а впоследствии стали двигаться в обратном направлении. Считали они возможным и то, что делами низшего мира управляет некое низшее божество по попущению первого божества, но теперь полагают, что это мнение нелепо. Но еще нелепее считать, что сначала хорошо правил миром Сатурн, затем уже хуже Юпитер, а затем — последовательно остальные планеты, хотя они и признают, что мировые эпохи распределяются по планетам. Уверены они и в том, что из-за перемещения абсид через каждые тысячу или тысячу шестьсот лет во всем происходят значительные изменения.

Наш век, очевидно, надо считать веком Меркурия, хотя он и перебивается великими соединениями, и роковое действие оказывают возвращения аномалий. В конце концов они признают, что счастлив христианин, довольствующийся верою в то, что столь великое смятение произошло из-за грехопадения Адама. Они полагают также, что от отцов на детей переходит скорее зло возмездия за вину, чем сама вина.

Но от сыновей вина переходит обратно на их отцов, поскольку те с небрежением относились к деторождению и совершали его не в надлежащее время и не в надлежащем месте, пренебрегали подбором и воспитанием родителей и дурно обучали и наставляли детей. Поэтому сами они тщательно следят за деторождением и воспитанием, говоря, что наказание и вина как сыновей, так и родителей затопляет государство. Из-за этого в теперешние времена все города погрязли в бедствиях и, что еще хуже, ныне называют миром и благоденствием самые эти бедствия, пребывая в неведении истинных благ, а мир представляется управляемым случаем. На самом же деле тот, кто созерцает устройство мира и изучает анатомию человека (которую сами они часто изучают на приговоренных к смерти), растений и животных, как и применение отдельных их частей и частиц, неизбежно принужден будет признать во всеуслышание мудрость и провидение Бога. Итак, человек должен быть всецело предан религии и всегда почитать своего Творца. Но это невозможно исполнить подобающим образом и без затруднений никому, кроме того, кто исследует и постигает творения Бога, соблюдает его заповеди и, будучи правильно умудрен в своих действиях, помнит: чего не хочешь самому себе, не делай этого другому, и что вы хотите, чтобы делали люди вам, делайте и вы им». Откуда следует, что как мы от сыновей и от людей, к которым сами не щедры, требуем уважения и добра, так мы сами гораздо

больше должны Богу, от которого все получаем, которому обязаны всем нашим существованием и всюду пребываем в нем. Ему же слава вовеки.

Гостинник

Поистине, раз они, знающие только закон природы, настолько близки к христианству, которое не добавляет сверх природных законов ничего, кроме таинств, способствующих их соблюдению, то для меня это служит весьма веским доказательством в пользу христианской религии, как самой истинной из всех и той, которая, по устранении злоупотреблений, будет господствовать на всем земном круге, как учат и уповают славнейшие богословы, которые утверждают, что потому и открыт Новый Свет испанцами (хотя первым открывшим его был доблестнейший наш генуэзец — Колумб), чтобы все народности объединились в едином законе. Итак, эти твои философы будут свидетелями истины, избранными Богом. Вижу я отсюда, что мы сами не ведаем, что творим, но служим орудиями Бога: люди ищут новые страны в погоне за золотом и богатством, а Бог преследует высшую цель; Солнце стремится спалить Землю, а вовсе не производить растения, людей и т.д., но Бог использует самую битву борющихся к их процветанию. Ему хвала и слава.

Мореход

О, если бы ты только знал, что говорят они на основании астрологии, а также и наших пророков о грядущем веке и о том, что в наш век совершается больше событий за сто лет, чем во всем мире совершилось их за четыре тысячи; что в этом столетии вышло больше книг, чем вышло их за пять тысяч лет; что говорят они об изумительном изобретении книгопечатания, аркебузов и применении магнита — знаменательных признаках и в то же время средствах соединения обитателей мира в единую паству, а также о том, как произошли эти великие открытия во время великих синодов...

...возникнет новая монархия, произойдет преобразование и обновление законов и наук, появятся новые пророки, и, утверждают они, предвещает все это великое торжество христианству. Но сначала ведь все исторгается и искореняется, а потом уже создается, насаждается и т.д.

Отпусти меня: у меня еще много дела! Но вот только что ты должен знать: они уже изобрели искусство летать — единственно, чего, кажется, недоставало миру, а в ближайшем будущем ожидают изобретения подзорных труб, при помощи которых будут видимы скрытые звезды, и труб слуховых, посредством которых слышна будет гармония неба.

О, чего только я не узнал от этих мудрецов о перемещениях абсид, эксцентриситетов, наклона эклиптики, равноденствий, солнцестояний, полюсов, о смещениях в небесных фигурах при

колебаниях небесного механизма на необъятном пространстве времени; о символических соотношениях между предметами нашего мира и того, что находится вне его, о том, сколько изменений последует после великого синода в равноденственных знаках Овна и Весов, при восстановлении аномалий, и какие изумительные явления последуют за великим соединением при утверждении того, что определено при изменении кругового движения.

Но, прошу тебя, не задерживай меня дольше, у меня еще много дела, ты знаешь, как я беспокоюсь. До другого раза. Вот только, чтобы не забыть: они неоспоримо доказывают, что человек свободен, и говорят, что если в течение сорокачасовой жесточайшей пытки, какую мучили одного почитаемого ими философа враги, невозможно было добиться от него на допросе ни единого словечка признания в том, чего от него добивались, потому что он решил в душе молчать, то, следовательно, и звезды, которые воздействуют издали и мягко, не могут заставить нас поступать против нашего решения. Но так как они хотя и неощутимо и мягко, но все-таки воздействуют на наше чувство, то тот, кто следует больше чувству, чем божественному разуму, и оказывается у них в порабощении. Ведь то же самое расположение звезд, которое из трупов еретиков испустило зловонные испарения, одновременно с этим из основателей ордена Иезуитов, Миноритов и Капуцинов источило благоухание добродетели. И под тем же расположением звезд Фернанд Кортес насадил божественную религию Христа в Мексике.

А о многом другом, что теперь ожидает мир, я еще расскажу тебе в другой раз. — Ересь апостол Павел относит к делам плоти; звезды же чувственных людей склоняют к ереси, соответственно характеру склоняемого, а людей разумных — к разумному, истинному и святому закону изначального разума и слова Божия. Богу же хвала вовеки. Аминь.

NB *Как не испытывать уважения к человеку, который «решил в душе молчать» — и перенес жесточайшие пытки, не отступив от своего решения!*

И все же нельзя не видеть за фасадом идеальной республики Томмазо Кампанеллы черты того, что в XX веке назвали бы «тоталитарной антиутопией». Во всяком случае, с точки зрения гуманной педагогики, проект Кампанеллы — это отрицательный пример, чем и полезен. Хотя бы потому, что раскрывает истинную суть утопического социализма, на который во многих отношениях и мы ориентировались, занимаясь социалистическим строительством в нашей стране.

* * *

Как видим, «гуманизм» — это не пение в унисон, а многоголосие (и это хорошо), а в чем-то и разноголосица (и это интересно). Можно ли считать, что в центре этого звучащего мира стоит Леонардо да Винчи? Что он-то и является «солнцем», вокруг которого ходят по своим разным орбитам планеты галактики гуманизма? Мне кажется — и да и нет.

Если иметь в виду «массу» и «размер», то, безусловно, — да. Если — универсальность, величие, внутреннюю свободу человека, — безусловно, да. Кажется, многое из того, о чем другие говорят или мечтают, он просто являет собою.

А с другой стороны, человеку такого всемирного масштаба тесно, мне кажется, в любых рамках, будь то гуманизм или даже целая эпоха Возрождения. Контуры его фигуры словно выходят за рамки и теряются в некоем духовном «сфумато». Мне он представляется и бесконечно более древним, чем его окружение, и несравненно более устремленным в будущее. Кто знает, какие еще открытия заставят нас вспомнить, что нечто похожее когда-то говорил и чертил Леонардо да Винчи? В то же время он, не в пример другим, укоренен и в своем времени. Заметьте: тексты гуманистов, даже католических священников, густо инкрустированы именами эллинов и латинян, которых время вынесло на берег Реки Забвения, и примерами из их жизни. У Леонардо в этом не возникает необходимости. Если он кого и вспоминает, то своих соотечественников: Джотто, Мазаччо, Боттичелли...

Впечатление таково, что он ближе других к вечности, где, как говорят, нет различия на то, что прошло, что есть и что только будет. Но, может быть, как раз такой человек и может быть неподвижным центром, вокруг которого вращаются планеты?

То главное, что можно взять у него для гуманной педагогики, для эстетического воспитания, также неподвластно времени и моде. Это, во-первых, заповедь любви ко всему существу, соединенной с пристальным вниманием; это — указание превыше всего ценить опыт собственной жизни и уроки бесконечной природы; это — стремление к предельной выразительности, к передаче «движения души через движения тела». И предостережение: не использовать искусство для достижения корыстных, меркантильных целей.

Что же касается гуманистического наследия в целом, то, при всей разнородности, в нем явно преобладают идеалы свободы, уни-

версальности и самоопределения человека. И с этой точки зрения оно представляет наибольший интерес для современной инновационной педагогики. Потому что многие ее направления живут идеями индивидуализации, «личностной ориентации» образования, творческой направленности, пространства выбора, самоактуализации и т.д. (Кстати, идея самоактуализации человека выдвинута психологами гуманистического направления. При всех огромных отличиях итальянских гуманистов XV века и американских ученых XX века совпадение названия нельзя считать совсем случайным!)

Важно только удержаться на тонком мостике, на котором балансирует мысль гуманистов. Почитая свободу человека (а в педагогической практике — свободу ребенка), не обожествить его. Помнить, что свобода человека — это не удовлетворение любых желаний и потребностей, а возможность свободным усилием приблизиться к Богу, как об этом сказал Пико делла Мирандола. Потому что по-настоящему свободен только «истинный человек», который, согласно гуманистам, не отошел от своего Творца.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ И СОВРЕМЕННИКОВ О ВИТТОРИНО ДА ФЕЛЬТРЕ*

1. Внешний вид и характер Витторино да Фельтре

Он был низкого роста, худой, [с лицом] красноватого цвета и как бы загорелый; нижняя губа, несколько выступающая вперед, лицо не безобразное и исполненное серьезности, так что его можно счесть с первого взгляда философом; и он пользовался таким уважением у школяров, что если вдруг смотрел пристальнее обычного, каждого мучила совесть за какой-нибудь промах, он так смущал его своим взглядом, что в румянце стыда читал признание в проступке. Но в любом случае был он учителем милосердным и ревнивым хранителем репутации другого человека; никакую вещь он не порицал публично, которая не была публично совершена. Обратившись к несомненным виновникам, он обычно произносил стих Овидия: «О, как лицо — вины предатель», которым тайно колот виновника, а в других вызывал отвращение к греху. Пылкая его натура особенно склоняла его к страсти и к гневу — эти два порока, рожденные вместе с ним, он благородно подавил в себе, так что не было в нем ничего лучше и изумительнее, чем целомудрие, никогда им не нарушаемое, как никогда не показывался он и недостойным образом разгневанным...

Еще голос у него был сладостный, ораторский, особенно любимый слушателями; поза и жесты достойные, аккуратные, приятные. Потому что с самого детства, бегая, прыгая, объезжая лошадей, — развлечения, до которых так жадны мальчишки, — он первенствовал среди сверстников; и также играл почти каждый день в мяч; это трудное упражнение он считал подходящим для сохранения здоровья и как бы необходимым для того, чтобы придать стройность и изящество позе.

* Печатается по: Образ человека в зеркале гуманизма. — М.: изд-во УПАО, 1999.

2. Его достоинство и независимость

Мантуанцами правил тогда Джованни Франческо Гонзага, государь славный высоким духом и успехами; поскольку он был человеком мудрейшим, он очень беспокоился относительно воспитания своих детей и любой совет принимал с большой осмотрительностью. Наконец, узнав о жизни и нравах Витторино от одного венецианского патриция, с которым у него в те времена были дружеские отношения, он сильно возжелал Витторино и с помощью патриция пригласил его на должность воспитателя своих детей, не условливаясь о вознаграждении.

Приглашенный с этой целью Витторино, достаточно свободный в словах, заявил, что он восхищается умом государя, тем, что человеку безвестному и новому, мало даже известному жизнью и нравами, он доверил столь значительную обязанность, в особенности не договариваясь о жалованье — поводе для вымогательства со стороны многих, которые, занимаясь торговлей, продаются каждому. Спросив затем относительно его успехов, поскольку слышал, что он был в расцвете сил, славился богатством и властью, сказал: «Сколь трудно править добродетельно при такой вольности!»

Во всяком случае, уверившись в высокой честности и скромности этого государя, он обещал ему свой труд с условием оставить государя, если бы нашел его чуждым своим собственным нравам. Прибыв в Мантую, он, как свидетельствует молва, сказал государю так: «Хотя, о государь, я очень давно решил избегать роскоши и царственных дворов, на мой взгляд, слишком тщеславных и сладострастных, при которых ни я не мог бы переносить изнеженность, ни они мои привычки, однако, надеясь на сходство наших нравов, услышав о тебе много очень хороших вещей, я принимаю приглашение, но на условии: если ты потребуешь от меня вещей, достойных нас обоих, я их сделаю охотно и останусь с тобой, но только до тех пор, пока похвальны твои привычки и твоя доблесть».

3. Его известность

Школяры толпами стекались к нему не только из всех областей Италии, но даже из Греции, Франции и Германии, поскольку молва об этом человеке распространилась в самых дальних странах. Хотя уже и раньше он был достаточно известен, его начали считать самым выдающимся и значительным из всех и ставили гораздо выше обычного человека; и многие с необычайным изумлением почитали его за божественный ум, заслуживающий бессмертия. Поэтому он был окружен всеми высшими почетом и уважением не только за свою образованность, но и за чистоту своей жизни и нравов.

4. Его доброта

Никого он не отталкивает от себя, всем оказывает поддержку. Отовсюду собирает книги, устраивает их чтение. С бедными и богатыми обращается равным образом и первых содержит на деньги, которые получает от вторых. Если он когда-либо предполагал, что на покупку каких-то продуктов питания не хватает средств, он прибегал к щедрости государя, так как прежде всего он желал вещей необходимых для достоинства личности. В некоторых случаях он обращался к богатым горожанам, побуждая их семьи во славу их принять участие в этом деле. Хотя часто он возвращался от них с пустыми руками, были, несмотря на это, и некоторые заработки для дела столь благочестивого; и абсолютно все, что ему дарили или что сам он вырывал у жадных (за ними он специально охотился), или что часто получал взаймы, он использовал с неслыханной щедростью, чтобы поддержать нуждающихся учеников.

5. Методы обучения

Очень часто он обучал и содержал в одно и то же время до 70 учеников, не взимая с них никакой платы; и обучал он их не только одному предмету. Помимо литературы, которой он уделял большое внимание, он держал на жалованье учителей, весьма сведущих в любой дисциплине и упражнении в добрых искусствах, и он усердно пользовался услугами этих учителей в соответствии с их способностями. В самом деле, говорил он обычно, поскольку не все мы годны ко всему, не должно казаться невероятным, что в столь огромной массе людей один рождается лучше другого; однако каждому природа, всеобщая наставница и подруга, определила его задание, никому не выделив всех вещей, немногим назначив многие, каждому человеку нечто. И он сравнивал умственные способности с землями, из которых одна более пригодна для пастбищ и скота, другая для виноградников и пшеницы; никакая земля, однако, не оставалась сама по себе неплодородной. Так он упражнял каждого в том или ином искусстве, к которому, как ему казалось, тот был склонен от природы.

6. Строгость его жизни

Он носил нижнюю тунику из грубой шерсти, чтобы укрывать изнеженное тело, с которым жил даже не как с противником, а как с жестоким врагом; средняя туника была из кожи дикой козы, достаточно дешевая, но более крепкая и долговечная и вполне соответствующая философской серьезности. Он довольствовался только одной одеждой, приспособленной для лета и для зимы, используя ткани лишь для жаркой погоды, а мех

для холодной, пренебрегая всеми другими более роскошными вещами.

Витторино очень заботился о распределении дневных часов так, чтобы каждый час был отведен для определенного упражнения и перерывы не представлялись безделью; и считал, что только в этом распорядке — основание нашей жизни. До сна он был охотник, как ни невозможно в это поверить. Поднимался он обычно на заре и один-одинешенек, удалившись в укромное место, становился обычно голыми коленями на землю, читая усерднейше и в течение длительного времени священные книги и гимны, затем он терзал свое жалкое тело, обессиленное ежедневными трудами, многочисленными ударами. Этот обычай бичевать плоть сохранился у него, по слухам, не вызывающим сомнений, с ранней юности до самой поздней старости...

В еде и выборе пищи он был очень умерен, соблюдая всегда для приема пищи одно и то же время и тот же порядок и, — что кажется еще более трудным, — ту же меру. Друзья иной раз порицали его за излишнее воздержание и умеренность, что, казалось, не соответствует ни его благоразумию, ни его здоровью, когда известно, что летом наши тела более хотят пить, а зимой есть; и потому умоляли его, чтобы он заботился о самосохранении, не причиняя телу своему вреда, и жил долго, если не для себя, то, по крайней мере, для своих учеников. Но услышав, он отвечал им в благодарность с неким изяществом и благородной любезностью: «Как? Разве соблюдать договор — это вред? Имея долгую привычку, я договорился со своим тельцем предоставлять ему определенную порцию еды, обязательство я выполняю; и с другой стороны, я ничуть не лишаю его собственного его права, как послушной вещи, питаться сколько необходимо. Затем я думаю, что вы хорошо поступаете, побуждая меня жить, потому что жизнь дарована для упражнения в добродетели и только мудрый человек должен считаться живым, все другие двигаются наподобие живых».

7. Его веселый и мягкий нрав

Один мой друг, благородный, но обжора, отобедав случайно с сыновьями государя, поблагодарил природу за то, что, создавая ему различные члены тела, она довела их до совершенства, сделав его сильным и крепким и всегда готовым к еде и питью. Витторино, с большим трудом перенося эту прожорливость, сказал ему: «Ошибаешься, добрый человек, ты не лишен достаточно большого естественного недостатка: природа, снабдив тебя очень вместительным животом, должна была также снабдить тебя и многими руками, потому что тебе недостаточно только двух, чтобы в течение стольких часов отправлять пищу в рот, по крайней мере, иногда они могли бы насыщать тебя...»

Упрекаемый недоброжелателем за то, что он гражданин нерадивый и бесполезный для отечества, так как не захотел жениться и родить детей (а наихудшие сынки того недоброжелателя были учениками Витторино), Витторино так ответил ему: «Если бы у меня были собственные дети, я бы так не старался ради твоих; мне показалось полезнее воспитать неудачливых твоих, чем произвести в мир других, может быть, еще хуже; исправлять плохих — верная польза для государства, тогда как неизвестно, каких сыновей дал бы ему я». И так как тот настаивал: «Если бы был хорошим человеком, то и сыновья тоже были бы хорошими», — ответил: «Значит, и ты не имел бы плохих сыновей, если бы сам не был плох».

Он обладал характером, склонным к примирению и мягким от природы, столь чувствительным к слезам из-за мягкости и добросердечия души, что по поводу любой малости, в особенности сказанной или сделанной ребенком и благоухающей как бы ароматом добродетели, он произвольно плакал; и так бывало в любом случае, видел ли он собственными глазами или читал или слушал, как другой рассказывал о каком-нибудь замечательном деле.

8. Любовь к ученикам

Не хочу здесь обходить молчанием безмерную любовь, которую Витторино испытывал к своим ученикам. Хотя он обращал тщательное внимание на общественные обязанности, уделял достаточное время религиозной практике и физическим упражнениям подростков, но в перерывы для отдыха он устраивал им частные занятия. Я вспоминаю и также слышал от многих, что Витторино, уже достигнув старческого возраста, имел обыкновение приходить со светильником и книгой в руке, чтобы пробудить от сна тех учеников, умственным способностям которых он радовался, и, оставив им немного времени, чтобы одеться, очень терпеливо ждал их; затем, дав им для чтения книгу, обстоятельно и серьезно побуждал их к добродетели.

Не подумайте, что он делал это за деньги; ведь каждого из таких учеников он содержал и обучал бесплатно.

9. Его великодушие и скромность

Он достоин еще удивления и потому, что никто в столь большой толпе недоброжелателей не осмеливался осуждать этого человека за какую-нибудь ошибку или считать его достойным сурового общественного осуждения, особенно в отношении тех пороков, которые больше бросаются в глаза — сладострастия, алчности, скарденности; их, по признанию самих противников, он был совершенно лишен. Несмотря на это, многие из зависти жалили его за легкие ежедневные оплошности, [впрочем] все

же ложные; но эти люди, полагал Витторино, не столько заслуживают ненависти, сколько сострадания, потому что они самих себя терзали безрассудно собственной злостью. Поэтому он не только переносил с легким сердцем обиды, но любил их как острую приправу к добродетели, от которой даже добрые делались лучше. Он никогда не снисходил до мести, утверждая, что тот, кто вынужден когда бы то ни было раскаиваться из-за собственной вины, достаточно наказан. Злословящим он отвечал помощью и трудом, гордясь этим (о чем знали немногие), потому что многие могут делать добро друзьям, почти никто — врагам.

Поэтому он был у всех в наивысшем почитании, которое усилил своей скромностью и замечательной серьезностью; он был, не знаю уж как, в самой серьезности веселым и даже в забавных вещах полным достоинства, так что ты мог с трудом различить, в каком случае справедливее похвалить его. И он был настолько чужд жажды славы, что, если слышал, как кто-то говорит или пишет в его похвалу, краснея от стыда, вынуждал его замолчать; утверждал, что глупо хвалить живых, чья жизнь может еще измениться, а умершие не нуждаются в человеческом одобрении; есть в человеке темные тайники, проникая в которые, люди в своих суждениях обычно ошибаются.

10. Обстоятельства его жизни как ученика и как учителя

Пришедший в культуру в силу склонности и живости ума, Витторино да Фельтре, оставив родину, мальчиком отправился в Падую — общий центр наук, и там отдал столько труда и столько усердия, во-первых, красноречию, затем логике, физике и этике и с таким успехом, что по решению всего падуанского академического сената он был причислен к докторам. Страстно увлекшись затем математикой, он сделался учеником Бьяндо Пелакани, который жил тогда в Падуе и считался в Италии самым крупным математиком того времени. Чтобы снискать себе благосклонность Пелакани, он не пренебрегал никакой из обязанностей или никаким из знаков уважения, которые полагают доброму ученику. Но не достигнув в общем никакого результата ни учтивостью, ни просьбами, ни услугами, он возненавидел странный нрав этого человека и без учителя, с исключительным усердием и наивысшим прилежанием изучил Евклида из Мегары и других математиков так, что достиг большой известности также в этой науке.

Говорят, что Пелакани обычно упрекал себя за то, что пренебрег таким талантом и что в лице такого ученика лишил себя преемника, через которого, как он полагал, он мог бы стать прямо-таки бессмертным, если бы оставил ему как бы в виде завещания сокровища науки, которая во славу его пошла бы на пользу потомкам.

Каждой своею добродетелью Витторино вызывал высочайшее всеобщее восхищение. Его никогда не отклоняли от занятий ни тяжелый труд, который он очень хорошо выдерживал, ни бдения, затягивавшиеся почти всегда на большую часть ночи, ни голод, которому он придавал очень мало значения, ни нужда, сильно угнетавшая его. В то время как он искал духовных украшений, он для сохранения здоровья редко прерывал телесные упражнения, разделяя время между обоими занятиями с величайшей заботой. Ему нравилось состязаться в прыжках, играть в мяч, бегать с товарищами. Потому что эти упражнения не только укрепляли тело, но и ум, после перерыва в тяжелых размышлениях он становился более готовым к тому, что его мучило. Он не избег любви, которая чаще всего является самой большой страстью юности, но по природе и по характеру он был столь стыдливым и простодушным, что, движимый этим чувством, он никогда не сделал ничего, из-за чего мог показаться достойным порицания. Он был столь скромнен, что не навлек на себя ненависти или зависти ровесников. Иногда он собирался посвятить себя религиозной жизни, считая ее наиболее подходящей для счастья, но, думая об общественной пользе, ради которой, казалось, был рожден, он в течение нескольких лет публично преподавал в Падуе риторiku, не принимая другого вознаграждения, кроме платы от коммуны; в том, что касалось учеников, он говорил, что ему было достаточно, если они учились хорошо говорить и хорошо жить. При прощании с учениками, стекавшимися в большом количестве в его школу, он воодушевлял их быть настойчивыми в науке со все возрастающим рвением; при этом он говорил учтиво, просто, скромно, избегая словесной помпы, которая обычно возбуждает зависть и ненависть; он чувствовал отвращение к чванству ученых и к порокам, в которые впадали из-за бесстыдства и распушенности юноши, главным образом в публичных школах. Прибыв в Венецию, столь большой город, он принимал к себе только немногих учеников, тех, которые явно были одарены умом и скромностью; тех, которые по своему уму и нравам оставляли желать лучшего, он отправлял обратно к родителям, увещевая их устроить жизнь сыновей по-другому. Он требовал плату только от богатых и от тех, кто мог платить, и на эту плату он содержал бедных, которых держал в доме с тем, чтобы дать им возможность учиться. Обучение многих по этой системе привело к тому, что вскоре имя его стало известным не только в Венеции, но и во всем мире. Со всех сторон собирались лица, которые, предлагая большую плату, просили принять их к нему в обучение и в его дом; но этот благородный человек брал их только в том случае, если ему было ясно, что они свободны от пороков и дурных привычек, как если бы те должны одновременно приходиться в храм. Кроме того, он принимал во внимание собственные возможности в отношении числа учеников, а также умственные

способности, которые обнаруживали юноши, чтобы не тратить зря времени на напрасный труд и не обманывать родителей тщетными надеждами.

11. Похвала ему.

Комментирование ученикам Ливия

Думаю, что сообщаю абсолютно достоверное известие, когда утверждаю, что Витторино да Фельтре первым начал в наши времена проводить публичное чтение ученикам Ливия, вызывая громадное восхищение и всеобщую похвалу. И поскольку господь наш Христос позволил, чтобы этот человек был для меня больше, чем простой учитель... я прошу разрешить мне... немного объяснить тебе то, что касается его нравов. Витторино да Фельтре, Сократ нашего времени, украшение и гордость нашего века, хвала и слава Мантуанской академии, при жизни был всегда почитаем за последовательную жизнь, был удивительным учителем, желанным, когда он отсутствовал, желаннейшим после смерти; хозяин или, вернее, отец бедных студентов, воспитатель человечности, воссоздатель латинской культуры, учитель мудрости, пример честности, образец доброты, человек, презирающий богатство, ценитель талантов, этот Тифий нашего времени первым открыл нам среди других авторов Ливия, как море, которое никогда не избородить, раскрыл нам падуанские сокровища, более скрытые, чем сады Гесперид. Рожденный в венецианском захолустье Италии, он преподавал частично в Падуе, частично в Венеции с большим успехом и славой и, что очень похвально в преподавателе, с большим бескорытием. В то время как благодаря щедрости своих учеников он мог собрать много денег, он ограничивался принятием даров от богатых (он действительно не обучал за плату), так, чтобы иметь возможность разделить то, что получил, между бедными студентами. Он был так далек от любви к деньгам, что, довольствуясь одной одеждой зимой и летом, он каждый год разделял между более нуждающимися студентами, которых содержал и обучал в своем доме, свои одежды. Молва об этих добродетелях побудила известного маркиза Джан Франческо Мантуанского, деда славного и щедрейшего кардинала Мантуанского, пригласить его в Мантую. И прибыв наконец туда, с величайшими почестями и дарами, он стал наставником детей государя. Здесь он стал мне отцом и учителем. Здесь я услышал его комментирование части Декад Ливия.

12. Его честность как преподавателя

Он послал нескольких своих учеников, по большей части на собственные средства, в публичные школы, чтобы они обучались физике и гражданскому и папскому праву; и он не выка-

зывал раздражения или беспокойства, если его ученики переходили учиться к другим учителям. Он не имел ни к кому неприязни; по большей части он порицал учеников только за то, что они плохо распоряжаются вкладом, полученным от природы, и образование, получаемое с благой целью, обращают против самих себя, как случается в гражданских войнах с войсками, направленными на защиту отечества. Он имел такой авторитет и влияние, что многие ученейшие люди, среди которых были тогда Филельфо и Гуарино, послали к Витторино для воспитания и обучения у него своих сыновей. Он был столь серьезным человеком, что в своих делах и словах всегда остерегался всего высокомерного, чрезмерного, смешного или оскорбительного для каждого человека. В беседе, в собраниях, иногда в чтении во время отдыха он показывал остроумие настолько осмотрительное и скромное, что оно развлекало, никого не оскорбляя, и не было в нем ничего отличного от образа жизни Витторино, ничего грубого или того, что давало повод уловить в обороте речи или жесте примеры, мало приличные. В литературных спорах, даже если вначале он и воодушевлялся, однако последнее слово по теме спора он предпочитал скорее оставить за своими противниками, чем дать оглушить себя пустой и упрямой болтовней, между тем как сам он приводил свои доводы серьезно и скромно, а не бестолково и легкомысленно, как диалектики наших времен. Он не делал ничего из ненависти, угодливости, из-за денег или даров, за что его могли бы заслуженно порицать.

13. Метод и школа Витторино

Он заставлял юнцов прежде всего изучать Вергилия, Гомера, Цицерона и Демосфена; и когда они насыщались ими, как чистым и цельным молоком, и немного укрепляли таким образом свой желудок, только тогда он считал возможным предложить им историков и других поэтов, которые являются более жесткой пищей. Так, используя этих четырех авторов, он объяснял с величайшим старанием элементы грамматики.

И поскольку все искусство речи делится на диалектику и риторику, он считал, что сначала нужно изучить искусство и науку диспута, толкователя и вожатого всех остальных искусств. Поэтому он упражнял юнцов самым тщательным образом в диалектике, не приучая их, однако, к каверзным вопросам, к ложным и извилистым заключениям, изучение чего сегодня столь широко распространено, по крайней мере, прежде чем ученики научатся определять [понятия], различать роды, добавлять термины, какие следует, делать совершенные заключения. Он направлял их затем к софистам не для того, чтобы они становились софистами, врагами истины, но чтобы лучше могли отличить истину от лжи.

Далее следовала риторика, которая, согласно мнению перипатетиков, связана с диалектикой; и Витторино заставлял молодых людей выполнять по ее известным правилам постоянные упражнения в произнесении речей, предлагая вымышленные речи перед народом или сенатом...

Затем шли математические дисциплины, арифметика, геометрия, астрономия, музыка...

Витторино считал необходимым приглашать юношей с величайшей щедростью и радостью в приятнейший и полезнейший приют квадривия и удерживал их там без какой-либо строгости, но, напротив, со всяческой приятностью, одобряя безусловно обычаем мудрейших египтян, которые с помощью игры упражняли своих сыновей в арифметике... Потому что если юноши будут упражняться на свободе, легче можно будет заметить, к чему каждый имеет от рождения особые склонности.

Наконец, тех, кто заканчивал это обучение, Витторино считал способными к философии и направлял их в академический Лицей к вершинам — Платону и Аристотелю. И он не позволял никому уходить из своей школы прежде, чем изучат с величайшим старанием всю их философию. Только тогда он давал возможность юношам удалиться, утверждая, что какой бы дисциплине они себя ни посвятили — медицине, праву или теологии, они достигнут того совершенства, которого намеревались достигнуть.

* * *

14. Никого он не порицал более сурово, чем клявшихся и хуливших Бога и святых. Поэтому он сына государя Карло, уже взрослого и очень сильного, игравшего в зале в мяч, поскольку тот, как бывает в гневе, неблагочестиво высказался о Боге и святых, призвав к себе, на глазах у присутствовавших так сильно побил, как если бы тот был одним из самых ничтожных плембеев. И юноша, отличавшийся великодушием и физической крепостью, не пытался из-за этого отразить силу силой, но, чтя выше всего авторитет учителя, он, припав к его коленям, попросил прощения, если в чем провинился. Ученикам Витторино прежде всего рассказывал о религии и культе, поскольку говорил, что образованность и знание даны людям от Бога, тем, кто устремляется к столь высокому и столь божественному делу, надлежит быть свободными от всякого порока и нечестивости. Он часто посещал храмы, более всего во время богослужения, приводя с собой детей государя, чтобы тех, кого он побуждал к религии словами, подвигнуть также примером. Молясь, он оставался, преклонив колени, столько времени, сколь долго сам возносил молитву Пресвятой Деве, никогда не прерываемую, или когда священник выносил святые дары. Кроме того, он заставлял сыновей государя, а равно и остальных учеников каж-

дый день воздавать Богу заслуженную хвалу или молить о собственном спасении, о спасении города, родителей и граждан. Ибо никакая вещь, говорил он, не умножает больше учености, чем религия и благочестие, которыми, по его словам, надлежит проникаться наилучшим и благонравным юношам: благодаря этому приуготовляется наилучший путь к образованию, так как юноша, отличающийся такими свойствами и таким правилом поведения, будет иметь милость и покровительство со стороны Бога и людей.

Витторино говорил, что три вещи необходимы детям: природные способности, наука и упражнения. Природные способности он сравнивал с полем, упражнение — с его возделыванием, что приводит к плодородию, а науке предоставлял делать людей с помощью добродетели лучше и давать им, пока живы, убежище от несчастной и счастливой судьбы. Юноше, который спрашивал его, что необходимо ему, чтобы посвятить себя науке, он ответил: забыть все, что плохо и неправильно выучил, и, очистив душу от всего позорного и порочного, отдать всего себя наилучшему и глубоко почитаемому наставнику, который будет тебе вместо отца и которому равным образом ты должен повиноваться, как подобает сыну.

Читал Витторино просто, не пользуясь прикрасами и показным блеском, что часто делают, чтобы похвастаться умом и ученостью. Однако он был разнообразен в речи, ясен, сжат и краток, исходя из способностей слушателей и содержания лекции. Вся его речь была целомудренна и проста; ни в шутку, ни всерьез никогда не слышали от него никакого неприличного слова. Если же при чтении случалось выразить что-то непристойное, низкое, вульгарное, что встречается у поэтов, он это или пропускал, или излагал в достойном пересказе скромными словами, порицая поэтов за то, что, подражая последователям Диогена, изгнали данный природой стыд бесстыдной вольностью. Голосом неизменным и звучным он удовлетворял сколь угодно большое количество учеников. Лицом и словами он внушал в высшей степени доверие, когда так объяснял отрывки из ораторов, поэтов, философов, как если бы оракул Аполлона Пифия подсказывал ему с необходимостью слово из сокровенных глубин храма.

Он очень заботился о том, чтобы юноши упражнялись в постоянном чтении поэтов и ораторов, и нередко приходил сам, спрашивая и проверяя, обнаруживают ли они при чтении какие-то признаки понимания, различая окончания периодов, делая остановки, повышая или понижая голос, отмечая богатство слов, разнообразие фигур. Окончания периодов он даже сам порой объяснял нарочно неправильно, чтобы проверить понимание учеников, а его можно получить только с помощью образования и длительного приучения. Он очень радовался, если видел, что кто-то осмеливался опровергнуть неправильное объяс-

нение, утверждал, что это признак замечательных способностей и понимания; но чтобы такие ученики не впали в порок самонадеянности, поскольку трудно в слабом возрасте соблюдать меру, он их часто поддевал, чтобы, возгордившись и став чванливыми, они не низверглись в дальнейшем вниз от дутого авторитета. Унылых же и следующих всецело за его мнением он, напротив, возвышал, с тем чтобы они, получив одобрение, возвращались к занятиям более веселыми. Он был до такой степени страстным педагогом и служил всеобщей пользе, что хотя и был весьма ученым, однако при чтении снисходил до азов и повторял с учетом способности и возраста детей также то, что вызвало раздражение у учеников, даже умеренно образованных.

Он радовался способностям юношей и плакал от радости, если они говорили изящно прозой или стихами. У кого язык был сух и бесцветен, того он побуждал к обильной речи, многословных не порицал, так как с возрастом, говорил он, природные способности легче обуздать, чем усилить. Он часто хотел слушать, как юноши читают и декламируют, чтобы сразу же исправить порок, если замечал его при произношении. Запрещал им произносить также горлом, что делало голос жирным и грубым, или краями губ, что приводило к свисту и раздражало слушателей. Он также предлагал юношам разные занятия одновременно, говоря, что как тело укрепляется разнообразной пищей, так душа чередованием видов занятий. Он хвалил то, что греки называют «энциклопедией», так как ученость и эрудиция, говорил он, проистекают из многих и разных дисциплин; утверждал, что совершенный муж должен уметь рассуждать в зависимости от времени и пользы для людей о природе, о нравах, о движении звезд, о геометрических формах, о гармонии и созвучии, об исчислении и измерении вещей.

На тех юношей, которые, как бывает, в споре ничего не искали, он сердился, повторяя часто, что это признак пустоты или небрежения к учению; тех же, которые искали чего-то ради познания, он охотно слушал. Немного сердился на тех, кто искушает и настаивает упрямее обычного, так как говорил, что это отнюдь не признак свободного и доброго ума.

ФРАГМЕНТ АНОНИМНОЙ БИОГРАФИИ Л.Б.АЛЬБЕРТИ*

...Всему, что подобает знать благородному и свободно воспитанному человеку, он был так обучен с детства, что никоим образом не мог считаться на последнем месте среди своих юных сверстников. Ибо он с чрезвычайным усердием занимался не только военными упражнениями, верховой ездой и искусством игры на музыкальных инструментах, но и всякими изящными искусствами, а также изучением самых необычайных и труднейших предметов. И, наконец, он с чрезвычайным вниманием изучал все достойное похвалы. Между прочим, он с таким старанием добивался прославиться в ваяния и живописи, что не пропускал ничего, чем бы мог заслужить похвалу у почтенных людей. Благодаря своему живому дарованию он, можно сказать, в совершенстве усваивал любую отрасль изящных искусств. Здесь ему не мешали ни стремление к досугу, ни лень, ни пресыщение занятиями. Он часто говаривал, что и при занятиях наукою он не замечал у себя того, что обычно называется пресыщением: что науки, которыми он так наслаждался, представлялись ему порою цветущими и благоуханными почками, так что его не могли оторвать от книг ни голод, ни сон; но все же иногда самые буквы начинали извиваться перед его глазами подобно скорпионам, так как ничто его так не утомляло, как чтение книг. Поэтому, когда науки становились для него утомительны, он переходил к занятию музыкой и живописью или же начинал заниматься физическими упражнениями. Он занимался игрою в мяч, метанием копья, бегом, прыжками, борьбой, а главным образом ему доставляло удовольствие восхождение на крутые горы; все это он делал больше для укрепления здоровья, чем ради забавы или наслаждения. В военных упражнениях он с юности отличался: прыжком сразу с обеих ног он перепрыгивал через плечи стоявших людей; в прыжках с копьем не было, пожалуй, никого ему равного; пущенным рукой дротиком он пробивал крепчайший железный нагрудник; поднявши от земли левую ногу и опершись ею о стену собора, он закидывал вверх

* Печатается по: *Леон Батиста Альберти. Десять книг о зодчестве: В 2-х т. Том 1 /Перевод Ф.А.Петровского.*

яблоко с такою силой, что оно залетало гораздо выше верхнего края крыши; он так далеко выбрасывал из руки серебряную монету, что присутствующие в храме ясно слышали, как она звенела, ударяясь о высокие своды потолка; сидя на коне и поставив длинную трость одним концом на носок ноги, а рукою придерживая другой конец трости, он поворачивал коня во все стороны, в то время как трость по целым часам оставалась у него неподвижной. Удивительным и исключительным у него было то, что дикие и совершенно не выносившие седоков лошади, как только он садился на них верхом, начинали под ним дрожать и трястись как бы в ужасе. Музыке он обучился без всяких руководителей, и его собственные музыкальные произведения одобрили ученые музыканты. Пением он занимался в течение всей своей жизни, но пел только у себя дома один или, по большей части, в деревне с братом или родными; он увлекался игрой на органе и считался в этом искусстве наравне с лучшими музыкантами; благодаря его указаниям многие сделали значительные успехи в музыке.

С приближением возмужалости он, оставив все другие занятия, всецело отдался занятиям литературным; он изучал в продолжение нескольких лет как церковное, так и гражданское право, и последнее с таким неусыпным усердием и прилежанием, что сильно подорвал этим свое здоровье; во время болезни он постоянно страдал от бессовестности и бессердечия своих родственников. Поэтому для своего собственного утешения он (в возрасте не более двадцати лет) написал комедию «Филодоксеос», а как только ему позволило здоровье, снова принялся за занятия и вновь обратился к изучению законов.

В течение всего этого времени он жил в тяжелом труде и в величайшей бедности и снова очень серьезно заболел. Все тело его ослабло, он исхудал, всякие силы и бодрость исчезли, здоровье было надорвано и сокрушено, и болезнь достигла такой степени, что, казалось, во время чтения пропадало зрение от внезапных припадков головокружения и колик, а в ушах к тому же раздавался сильный шум и свист. Все это, по мнению врачей, приключилось от переутомления. На этом основании они настойчиво убеждали его прекратить столь усердные занятия. Он не послушался и, истощая себя своим страстным стремлением к знанию и работою по ночам, начал болеть желудком, а затем захворал таким недугом, который обращал на себя внимание: он порою забывал имена своих близких членов семьи, когда ему нужно бывало к ним обратиться, тогда как с совершенно изумительной точностью сохранял память о виденных им предметах. Наконец, по мнению врачей, он оставил эти занятия, требовавшие крайнего напряжения памяти, несмотря на то, что достиг в них почти полного совершенства. Но, не будучи в силах совсем забросить научные занятия, он, в возрасте двадцати четырех лет, обратился к изучению физики и математики,

будучи уверен, что вполне может заниматься этими науками, так как понимал, что они требуют скорее сообразительности, чем памяти. За это время он написал посвященное брату небольшое сочинение «О преимуществах и недостатках науки», в котором на основании личного опыта рассуждал о том, как следует относиться к науке. В это же время он для собственного удовольствия написал несколько небольших произведений, а именно: «Эфебия», «О религии», «Деифира» и ряд других подобных им сочинений в прозе; в стихах же — «Элегии» и «Эпиграмы»; он написал несколько «Речей» и любовных произведений в этом же роде, имевших целью внедрить в читателей добрые нравы и душевное спокойствие. Кроме того, на тридцатом году жизни он для своих близких, ввиду их незнакомства с латинским языком, написал на тосканском наречии первую, вторую и третью книги «О семье», закончив их в Риме в течение трех месяцев; но эти книги были не отделаны и шероховаты, и тосканское наречие не было в них выдержано, ибо он не был тверд в родном языке, будучи воспитан на чужбине, где семья Альберти долгое время жила в изгнании, и ему вначале было трудно выражаться изящно и легко на языке, на котором он не привык писать. Но за короткое время благодаря своему большому усердию и старанию он достиг таких успехов, что его сограждане, стремившиеся добиться в Совете славы хороших ораторов, признавались, что почерпнули из его сочинений много прекрасных выражений для придания красоты своей речи. Помимо упомянутых сочинений, он, не достигши тридцатилетнего возраста, написал несколько «Застольных», в частности шуточные — «Вдову» и «Мертвеца» и другие в этом же роде; но так как эти произведения казались ему слишком незрелыми для опубликования, несмотря на их забавность и смехотворность, он многие из них сжег, опасаясь нареканий и упреков в легкомыслии. Порицавших его сочинения, если они делали это открыто, он благодарил и радовался тому, что, принимая во внимание указания критиков, достигал большего изящества. Он был того мнения, что может легко убедить всех и каждого относиться с величайшим одобрением к его писаниям: если же они нравятся меньше, чем он бы того хотел, то все-таки за это не должно его упрекать, так как он не допускал к себе иного отношения, чем к другим авторам, говоря, что всякому самой природой поставлены преграды в достижении совершенства сверх его сил и возможностей: следует считать вполне достаточным, если каждый делал столько, сколько он может, и в меру своего дарования.

В продолжение всей своей жизни он чрезвычайно внимательно следил за своим поведением, чтобы никто не мог даже заподозрить его в чем-либо неблагоприятном, и утверждал, что наихудшее зло в человеческой жизни — это клеветники, ибо они умеют уязвлять доброе имя насмешкой или зубоскальством

так же, как раздражением или злобой; а рану, нанесенную их коварством, никакими средствами нельзя заставить зарубцеваться. Поэтому он старался и быть, и казаться достойным благоволения людей, почтенных всем своим поведением, всем обхождением и всем разговором, и говорил, что надо применять все свое умение как и в прочих отношениях, так главным образом в этих трех. Но это умение должно быть применено так искусно, чтобы ничто не казалось неестественным, гуляешь ли ты по городу, едешь ли верхом или говоришь; во всем этом надо проявлять крайнюю осмотрительность, чтобы всем угодить в полной мере. И тем не менее, несмотря на то, что он был обходителен, вежлив и никому не вредил, он чувствовал ненависть недоброжелателей и затаенную вражду, очень для него докучную и чрезвычайно тягостную. Особенно выдержку проявлял он в перенесении жесточайших обид и невыносимых оскорблений от собственной родни. Он обращался со своими завистниками и злейшими недругами с такой скромностью и терпением, что даже самые злостные из его противников и соперников не решались в присутствии почтенных и достойных людей отзываться о нем иначе, как с полным уважением. Да и при личных встречах с ним почтительно обращались даже его завистники. Но там, где случались подобные им и легкомысленные слушатели, эти люди, прикидывавшиеся в других случаях любящими, за глаза старались очернить его всяческой клеветой: настолько было для них невыносимо, что тот, положение которого они всеми силами и средствами старались ухудшить, превосходит их доблестью и славой.

Мало того (не говоря уже о прочем), были такие среди его близких, которые, зная по опыту его гуманность, благожелательность и щедрость, замыслили против него несказанные преступления, забывая о всякой благодарности, и составляли чудовищные заговоры в его собственном доме, подстрекая наглых слуг варварским образом резать его, ни в чем неповинного. Подобные оскорбления со стороны близких он сносил с невозмутимостью и молчанием, не поддаваясь негодованию и жажде мести и не допуская как-нибудь обесчестить и публично опозорить своих родственников. Он даже слишком бережно относился к репутации и чести своих близких, и раз полюбит кого-нибудь, уже не способен был его возненавидеть, несмотря ни на какие оскорбления с его стороны, говоря, что к злодеяниям против людей достойных чрезвычайно склонны люди бессовестные; ибо он сознавал, что гораздо достойнее сносить, чем наносить оскорбления; поэтому состязание не желающих наносить оскорбление с теми, кто готов его наносить, не может происходить на равных условиях. И так он сокрушал нападки наглцов терпением и защищался от невзгод единственно непоколебимой доблестью. Он пользовался расположением достойных и серьезных людей и был в милости у многих высоких особ; но так как

для него были невыносимы всякое искательство и лесть, то он нравился гораздо меньшему числу людей, чем мог бы нравиться, если завел бы больше приятелей. Однако среди владетельных особ Италии и среди иноземных государей были не один и не два признававшие и превозносившие его доблесть; тем не менее он не злоупотреблял их милостью ни для какой мести, хотя он подвергался с течением времени всё новым оскорблениям и вполне мог за них отомстить. Кроме того, когда ему представлялся случай и он мог, располагая своим собственным состоянием, воздать по заслугам своим оскорбителям, он предпочел оказать им благодеяния и всяческие снисхождения, чем их покарать; благодаря этому злодеи почувствовали угрызения совести в том, что подвергали оскорблениям такого замечательного человека. Когда он дал своим родственникам прочесть первую, вторую и третью книги «О семье», то для него было очень тягостно, что среди всех членов семейства Альберти, имевших сколько угодно досуга для других занятий, не нашлось почти никого, кто бы удостоился прочесть хотя бы заглавия этих книг, несмотря на то, что ими интересовались даже за границей; не мог он также и воздержаться от негодования, видя, как некоторые из его родных открыто издевались над всем этим сочинением, а заодно и над замыслом автора, называя его нелепейшим. В досаде на это он решил было, если бы не вмешательство некоторых высоких особ, предать сожжению все эти три законченные тогда книги.

Чувство долга, однако, одержало верх, и по истечении трех лет со времени издания первых книг он преподнес неблагодарным четвертую книгу, говоря: «Теперь, если вы порядочные люди, вы меня полюбите, а если непорядочные, собственная ваша непорядочность внушит вам отвращение».

Заинтересовавшись этими книгами, многие из его сограждан, мало образованных, обратились в любознательнейших людей; их, как и многих других, жадно стремившихся к знанию, он почитал за братьев. С ними он охотно делился своими познаниями. Интересующихся он знакомил со своими замечательными и крупными изобретениями. Услыхав о прибытии какого-нибудь ученого, он тотчас же стремился завязать с ним близкое знакомство и у всякого обучался всему, что ему не было известно.

У кузнецов, архитекторов, корабельщиков, даже у сапожников он разузнавал, нет ли у них каких-нибудь особых секретов, применяющихся исключительно в данном мастерстве, и тотчас же делился этим с любознательными согражданами. Он делал вид, что многого не знает, чтобы использовать чужие навыки и опытность. Поэтому он был неутомимым исследователем всего того, в чем проявлялись природное дарование и искусство.

К деньгам и наживе он всегда относился с полнейшим пренебрежением. Свои деньги и добро он давал на сохранение и

пользование друзьям; а с теми, кто, как он предполагал, любили его, он доходил до полной неосмотрительности и в отношении своих дел и замыслов, и в отношении своих тайн. Чужих тайн он ни в коем случае не выдавал, но всегда молчал о них, как немой. Он не захотел обнародовать писем некоего хулителя, которыми мог совершенно уничтожить своего самого отвратительнейшего врага; когда же этот презреннейший хулитель, автор писем, не прекратил своих язвительных нападок, он удовольствовался только тем, что сказал ему с усмешкой: «Что же ты, милейший, неужели ты и письма писать не забываешь?»

К одному из назойливых клеветников он, улыбаясь, обратился с такими словами: «Я, пожалуй, очень доволен, что ты своей ложью показываешь, каков каждый из нас: подобными разглагольствованиями ты добиваешься того, что твои слушатели скорее сочтут тебя бесстыжим, чем поверят твоей наглой клевете против меня. Мне смешны все твои нелепости, и ты ничего иного тут не добьешься, кроме того, что отстанешь от меня одураченным и раздосадованным».

Хотя от природы был раздражителен и вспыльчив, но умел разумно тотчас же сдерживать накипевшее негодование и сознательно старался избегать сплетников и наглецов, так как в их обществе не мог не распалиться гневом. Но порой он нарочно искал встречи с людьми дерзкими, чтобы приучаться к сдержанности. Собирая у себя своих друзей, он постоянно беседовал с ними на литературные и научные темы, диктовал им разные мелкие сочинения и в то время, как они их записывали, рисовал или лепил из воска их портреты. Живя в Венеции, он писал портреты своих флорентийских друзей по прошествии целого года или нескольких месяцев, что он их не видел. Он обычно спрашивал у подручных мальчиков, узнают ли они, кого он изобразил, и считал портрет неудачным, если они тотчас не узнавали, кто это. Он постарался написать вылепить и свой собственный портрет, чтобы по этим изображениям его легче могли узнавать посещавшие его незнакомцы.

Он написал в нескольких книгах небольшое сочинение о живописи и устроил при помощи живописи нечто неслыханное и невиданное для зрителей: через крошечное отверстие в небольшом ящике можно было видеть огромные горы, обширные области, пространный морской залив, а на заднем плане — такие отдаленные земли, что едва можно было их рассмотреть. Это он называл «демонстрациями», и они были так сделаны, что и знающие и несведущие утверждали, что видят не написанные, а самые подлинные вещи. Демонстрации были двух родов: одни назывались дневными, другие ночными. На ночных демонстрациях показывались Арктур, Плеяды, Орион и другие мерцающие созвездия, над вершинами скал и холмов появлялась восходящая луна и сверкали предрассветные звезды. Во время дневных демонстраций все было залито светом и широко

сияло все необъятное пространство земли, блистающее, как говорит Гомер, после восхода рожденной утром зари.

Нескольких знатных греков, прекрасно знакомых с морем, он привел в совершенный восторг; показав им через крошечное отверстие эту искусственную громаду мира, он спросил, что же они видят.

«О, — воскликнули они, — мы видим посреди моря целую флотилию кораблей! Они придут сюда до полудня, если только не потерпят крушения из-за тучи, поднимающейся с востока и грозящей вот-вот разразиться свирепой бурей. Мы видим, как море начинает волноваться, и признаком опасности служит то, что оно слишком ярко отражает солнечные лучи».

Подобного рода вещами он занимался больше ради исследования, чем ради их обнаружения, следуя скорее своему природному влечению, чем стремлению к славе. Ум его непрестанно был занят размышлениями и соображениями. Редко он возвращался откуда-нибудь домой, не придумав чего-нибудь, изобретая даже во время обеда. Этим объясняются его молчаливость и склонность к уединению и его несколько угрюмый вид, но нрав у него был несколько не тяжелый, и, даже рассуждая о серьезных предметах, он всегда был приятен в общении со своими друзьями и радушен, сохраняя вместе с тем достоинство.

Некоторые собрали множество его изречений как серьезных, так и забавных, которые он произносил экспромтом, моментально и быстрее, чем мог их обдумать. Мы приведем для примера несколько из множества этих изречений.

На вопрос, какого он мнения об одном спорщике, который, чтобы похвалиться своей памятью, без умолку и без толку говорил о всевозможных вещах, он ответил: «Это мешок, набитый разодранными и разрозненными томами».

Заглянув в ветхий, темный и плохо построенный дом, он сказал: «Это пращур всех зданий и тем более почтенный, что совсем ослеп и сторбился».

На вопрос одного приезжего, спрашивавшего дорогу ко Дворцу Правосудия, он ответил: «Право, не знаю, друг мой». Тогда бывшие тут его сограждане воскликнули: «Неужели ты не знаешь Суда?» — «Право, граждане, — ответил он, — я совершенно забыл, что это жилище Правосудия».

Один тщеславный человек спросил, к лицу ли ему пурпур. «Чрезвычайно, — сказал он, — только бы он закрыл твое сердце».

Браня одного бездельника и болтливового шута, он воскликнул: «Смотрите, как ловко на гнилом пне уселась крикливая лягушка!»

Убеждая одного из своих друзей бросить дурные привычки, он говорил ему: «Не надо за пазуху класть углей».

Одному математику, упрекавшему его за то, что он приютил у себя двуличного лицемера, он возразил: «Разве ты не знаешь, что шар касается плоскости только в одной точке?»

Он утверждал, что легкомыслие и непостоянство даны женщинам природой, как противоядие против их коварства и распутства, потому что если бы женщина упорствовала в своих начинаниях, она бы вконец разрушила благосостояние людей постыдными поступками.

Увидев, что один его друг поступает необдуманно и опрометчиво, он сказал ему: «Берегись, как бы в своей стремительности не полететь стремглав».

Он говорил, что зависть — это слепая и коварнейшая язва, ибо она пробирается в душу через уши, ноздри, рот и, наконец, даже через ногти и жжет душу невидимым огнем так, что даже считающие себя здоровыми совершенно изводятся этой самой чумой.

«Золото, — говорил он, — душа труда, а труд — раб удовольствия». Советуя соблюдать во всем умеренность, он делал исключение для одного лишь терпения, которое, как он утверждал, надо соблюдать до конца или же ничего не предпринимать, и говорил, что терпением чаще можно преодолеть гораздо большие трудности, чем те, которые мы в состоянии выдержать напряжением всех своих сил.

«Достаточно знает, — говорил он, — тот, кто знает, что он знает; достаточно силен тот, кто может сделать то, что он может, и достаточно имеет тот, кто имеет то, что он имеет».

Про одного вероломного законника, который был уродом, ибо одно плечо было у него ниже другого, он сказал: «Понятно, почему правда становится кривдой там, где коромысло весов покривилось...» Он говорил, что всякий блеск обладает огненной сущностью: поэтому не надо удивляться, если слишком блестящие граждане в душе людей зажигают зависть.

На вопрос, какие же из людей самые худшие, он ответил: «Те, которые, будучи негодяями, хотят казаться наилучшими». А на вопрос, заданный вслед за этим, кто наилучший из граждан, ответил: «Тот, кто ни при каких обстоятельствах не лжет».

Он утверждал, что самое отличное, основное и врожденное свойство женщин — это немедленное раскаяние во всех своих поступках и словах.

Приваливающее богатство напоминало ему широкое кольцо, легко спадающее с пальца, если не сузить его, обвязав тряпочкой.

На вопрос, что самое существенное для людей, он отвечал: надежда. Что самое незначительное: разница между человеком и трупом. Самое приятное: быть любимым. Самое щедрое: время.

«Бедность в человеческой жизни, — говорил он, — подобна хождению голыми ногами по негладкой дороге, ибо от постоянной ходьбы натираются мозоли, и потому день от дня она делается все менее колкой».

Услыхав, что один наглый и всем досаждавший гражданин отправлен в ссылку, он сказал: «Разве я не предупреждал его,

что тому, кто, забыв о достоинстве, непрестанно услаждается запахом дыма, следует опасаться на что-нибудь натолкнуться, споткнуться и опрокинуться?»

Людей богатых он сравнивал с теми, кто плывет по мелководной реке: ибо если они, облегчив судно, не будут работать шестами, то сядут на мель.

Обратившись к одному зловредному согражданину, когда тот хвалился выбором его в магистрат, он сказал: «Помни, что когда-нибудь тебе опять придется стать частным человеком или же умереть в твоей должности».

У некоего хвастуна, кичившегося тем, что он занимает высшую административную должность в государстве, он спросил: «Кого больше: тех ли, кто поднимается по лестнице Дворца, или тех, кто по ней спускается?» А когда тот ответил, что, по его мнению, число и тех и других одинаково, он снова спросил: «Кого больше: входящих в окна или выходящих?»

Про одного человека, тратившего все время на всякие мальчишества и пустяки, он сказал: «Этот на много лет переживет Нестора». А когда его спросили, почему это, он ответил: «Потому что я вижу перед собой сорокалетнего мальчика».

«Настоящим надо пользоваться как настоящим».

Тонкий слух друзей он называл писательским подпилком.

«Лживых завистников, двуличных и вообще всех обманщиков надо судить как святотатцев и разбойников, раз они открыто грабят самое священное и ценное — правду и суд». Поддерживая всякими благодеяниями и услугами добрые отношения с недостойными родственниками, он обыкновенно говорил, что несмотря на это помнит, что гнилой бочки не свяжешь никаким обручем.

Он советовал держаться подалеже от домов всяких толстосумов и богачей, говоря, что из переполненного сосуда все выливается.

Видя, как люди легкомысленные и тщеславные, выдающие себя за философов, разгуливают по городу и красуются перед глазами толпы, он говаривал: «Вот они, наши смоковницы, влюбленные в бесплоднейшую и надменнейшую пустыню — в общество».

Приглашенный рассудить спор между упрямыми и наглыми людьми, он отказался от этого приглашения, а на вопрос друзей, почему он поступает вопреки своей всегдашней услужливости и любезности, ответил: «Разбитую и расстроенную лиру надо выбросить мальчишкам и дуракам».

Говоря об одном деревенском жителе, он сказал: «Люди могли бы легко обогатиться, если бы добровольно исполняли требования бедности и преодолели ее, уступив ей».

Взглянув на дом тщеславного человека, он сказал: «Этот надутый дом не сегодня-завтра выдует своего хозяина», что и случилось: богач, хозяин этого дворца, принужден был из-за долгов отправиться в изгнание.

Долгое время не отвечая на дерзости одного расточителя и наглеца, он сказал ему наконец: «Я, почтеннейший, не стану препираться с тобой, тебе окажет гостеприимство государство». Об этих словах дерзкий человек вспомнил, когда попал в тюрьму.

Стоя перед зданием, где тиран Николай д'Эсте впоследствии умертвил большую часть феррарской молодежи, он сказал феррарцам: «Друзья мои, какими скользкими в скором времени станут эти плиты, когда под этой крышей прольется обильный дождь». В предсказаниях о грядущих событиях он соединял в себе и предусмотрительность с ученостью, и талант с искусством прорицания.

Существуют его «Письма к врачу Паоло», где он предсказал будущие события на своей родине за целые годы вперед; кроме того, его друзья и близкие засвидетельствовали его предсказания, сделанные им за двенадцать лет вперед, как о судьбе пап, так и о событиях во многих других городах и о сменах владетельных особ. Он обладал даром предвиденья, благодаря которому предугадывал расположение и ненависть к нему окружающих. Только лишь взглянув на любого из присутствующих, он уже знал насквозь все его пороки. Несмотря на всевозможные доводы и все усилия, он напрасно старался расположить к себе тех, кто, как он чувствовал с первого взгляда, будут с ним враждовать. Однако их неприязнь он сносил терпеливо, считая ее роковой, и при всяком споре заставлял себя быть сдержанным даже сверх меры, чего никогда не делал, отплачивая за оказанные ему благодеяния. Он не мог потерпеть, чтобы кто-либо превзошел его в доброхотстве, но тщеславие было ему до такой степени чуждо, что даже свои достойные оглашения поступки он приписал в сочинении «О семье» своим предкам. Да и в мелких своих сочинениях он приводил имена других людей и неустанно заботился о прославлении своих друзей.

Он терпеливо выносил и боль, и стужу, и жару. Когда он, не достигши еще и пятнадцати лет, был тяжело ранен в ногу и ему, по правилам врачебной науки, стягивали и зашивали рану, прокалывая кожу иглой, он не издал ни единого стога. Мало того, несмотря на сильную боль и жестокую лихорадку, он собственноручно помогал врачу, следя за лечением раны; все время обливаясь холодным потом от боли в боку, позвал музыкантов и в течение почти двух часов преодолевал ужасную и мучительную боль, слушая пенью. Он от природы легко простужался и совершенно не выносил сквозняков. Однако постепенно, начиная с лета, он приучился к тому, что и зимой и при каком угодно ветре скакал верхом с не покрытой ничем головой. По какому-то природному недостатку он до такой степени не переносил чеснока и особенно меда, что, даже когда они случайно попадались ему на глаза, его начинало тошнить. Он поборол в себе это свойство тем, что заставлял себя смотреть на эти невыносимые

ему предметы и прикасаться к ним, и достиг того, что они перестали его беспокоить, чем доказал, что люди могут приучить себя к чему угодно.

Выходя для отдыха на прогулку по улицам и видя, как все ремесленники без усталости работают в своих мастерских, он, как будто по приказанию строгого судьи, часто немедленно возвращался домой, говоря: «Надо и нам продолжать начатую работу». С наступлением весны, глядя на расцветающие поля и холмы и считая, что все деревья и растения непременно надеются принести плоды, он с глубоким сокрушением начинал укорять себя, говоря: «Ведь и тебе, Баттиста, следует подумать, чтобы твои занятия принесли какой-нибудь плод».

Когда же он осенью смотрел на отягченные созревшими колосьями нивы и на деревья, усеянные плодами, он впадал в такое глубокое уныние, что случалось видеть его иной раз горько плачущим и слышать, как он шептал про себя: «Вот, Леон, сколько со всех сторон свидетелей и обвинителей нашего нерадения! И где же есть что-нибудь, что за целый год не принесло великой пользы смертным? А у тебя есть ли хоть что-либо завершенное, что ты должен был бы принести на пользу общую?»

Особенное и исключительное удовольствие доставляло ему смотреть на что-нибудь выдающееся своим совершенным видом и красотой. Он непрестанно восторгался почтенным обликом бодрых и здоровых старцев и повторял, что преклоняется перед очарованием природы. Он говорил, что кони, овцы и другие прекрасные животные достойны самого внимательного отношения, потому что сама природа удостоила наделить их совершенной прелестью.

На смерть своей исключительно красивой собаки он написал надгробную речь.

Всякое проявление изящества путем человеческих дарований он считал прямо божественным и так во всем ценил эти дарования, что даже и плохих писателей считал достойными похвалы. Смотря на почки, цветы и особенно на приятные виды, он нередко выздоравливал от болезни...

КОММЕНТАРИИ

Пикколомини Энео Сильвио (1405—1464) — писатель и гуманист раннего Возрождения. Родился в Сиене в знатной семье. Получив хорошее классическое и юридическое образование, он сделал церковную карьеру, был епископом, затем кардиналом. В бытность свою епископом в Триесте написал трактат «О воспитании детей», адресованный подростку Владиславу, будущему королю Богемии и Венгрии. В 1458 г. стал папой под именем Пия II. С его именем связана булла папы о защите памятников Древнего Рима от разрушения. С его точки зрения, образование должно строиться на античных авторах, раннехристианских писателях и Библии.

Леон Баттиста Альберти (1414—1472) — крупная фигура раннего итальянского Возрождения, художник, зодчий, писатель, педагог, ученый, математик, музыкант. Выходец из богатой и знатной семьи флорентийских изгнанников, Альберти провел свое детство в Генуе, Венеции, учился в Падуе, окончил университет в Болонье, став магистром гражданского права. Большую часть своей жизни Альберти провел в Риме, где служил при папской курии, но главные творческие импульсы своего духовного развития как гуманиста он, несомненно, почерпнул во Флоренции, куда ему разрешено было городскими властями приехать.

Имя его в первую очередь связано с развитием новой классической архитектуры. Возведенные по его проектам палатцо Ручиллаи и фасад церкви Санта Мария Новелла во Флоренции, церкви Санта Франческо в Римини, Санта Себастьяно и Санта Андреа в Мантуе определили целое направление в итальянской архитектуре XV века, оказавшее влияние на формирование стиля Высокого Возрождения. Занимался также живописью и скульптурой.

Альберти стоял в центре культурной жизни Италии XV века. Он был другом всех крупнейших гуманистов и художников, архитекторов его времени, ученых и представителей папской и княжеской власти. Среди них папа Николай V, Пьеро и Лоренцо Медичи, Лодовико Гонзага. Прекрасно владея латинским

языком, но учитывая непригодность латыни для выражения новых духовных и практических запросов современного ему общества, Альберти много сил тратил на совершенствование народного итальянского языка, который приобрел в его писаниях гибкость, ясность и лексическое богатство. Разнообразие интересов и мастерства Альберти поражало его современников. Он был первым, кого они называли «*homo universale*».

Джованни Пико дела Мирандола (1463—1494) — ярчайшая личность среди итальянских гуманистов, молодой гений, в 31 год ушедший из жизни из-за внезапной и тяжелой болезни. Учился в университетах Болоньи, Феррары, Падуи, Парижа, ученик знаменитого гуманиста Марсилио Фичино и участник его платоновской Академии во Флоренции. Греческому языку его учил эмигрант из Византии, будущий святой православной церкви Максим Грек. Первым среди гуманистов Джованни Пико изучил древнееврейский и арабский языки, штудировал в оригинале Ветхий завет, Каббалу и Коран. В 23 года задумал провести в Риме публичную дискуссию с учеными христианского мира, для чего обнародовал «900 тезисов по философии, кабалистике и теологии», быстро разошедшихся по итальянским университетам. В качестве предисловия к ним он написал «Речь о достоинстве человека». Назначенная папой комиссия рассмотрела «Тезисы» и нашла их еретическими. Диспут был запрещен, а сам философ оказался под угрозой ареста. От суда его спасло заступничество флорентийского герцога, мецената и философа Лоренцо Медичи.

Основной путь для совершенствования человека, согласно Пико дела Мирандола, — познание. Причем познание с использованием всех имеющихся в арсенале средств: теологии, философии, мистики, науки. Характерно, что именно философию Мирандола считал первой и важнейшей ступенью познания, ибо философия готовит человека к высшему знанию, очищает его разум, смиряет страсти, успокаивает душу. Итальянский гуманист утверждал, что философия, как и познание вообще, не является достоянием избранных, наоборот, философией должны заниматься все люди. «Без философии нет человека», — утверждал он.

Леонардо да Винчи (1452—1519) — центральная фигура Возрождения, гений итальянской культуры, универсальная личность, повернувшая развитие европейского искусства в сторону индивидуализации творческого процесса, ответственности Мастера перед лицом эстетического и художественного идеала, принадлежащего Творцу Творения.

Уроженец гор Тосканы, сын романтической связи красивой крестьянки и молодого успешного нотариуса из городка Винчи,

мальчик рос в семье отца и воспитывался в основном дедом и бабушкой, на лоне природы. Учился он шутя, и в доме его обожали все без исключения. После смерти первой жены отец Леонардо со всем семейством переезжает во Флоренцию. Будущему художнику шел четырнадцатый год. Показавший успехи в рисовании, в 1466 г. Леонардо-подросток был отдан в ученики к знаменитому флорентийскому художнику и скульптору Андреа Верроккио.

Юность Леонардо совпала с первыми годами правления во Флоренции братьев Медичи — Лоренцо (названного современниками Великолепным) и Джулиано — известных меценатов, любителей и знатоков искусства и гуманистической науки. Годы ученичества Леонардо (1466—1476) стали также периодом расцвета целой плеяды живописцев, его товарищей по мастерской Верроккио, составивших позже славу итальянского искусства — Пьетро Перуджино, Сандро Боттичелли, Доменико Гирландайо, Лоренцо ди Креди, Пьеро ди Козимо. До 1482 г. наряду с живописью Леонардо активно занимается научными изысканиями.

В 1482 г. Леонардо перебирается на службу к Лодовико Моро, фактическому правителю Милана. Здесь со всей силой проявляется его талант математика, изобретателя и инженера, по ирригационным системам в частности. Для главного собора он пишет свою знаменитую фреску «Тайная вечеря». После завоевания французами Миланского герцогства Леонардо возвращается в 1500 г. во Флоренцию. И хотя слава его как художника достигла апогея, он и здесь предпочитает заниматься инженерными и градостроительными проектами. Здесь он знакомится с другим молодым гением итальянского Возрождения — Микеланджело, делая с ним заказ очередного правителя Флоренции на роспись стен залы Большого совета на тему «Битва при Ангиари». Фреска не была закончена, зато достойной памятью об этом периоде стал написанный Леонардо портрет Моны Лизы Джоконды.

Пребывание Леонардо во Флоренции было прервано в 1503 г. приглашением в Милан, полученным от французского губернатора Миланского герцогства и подтвержденным самим королем Франции Людовиком XII. Леонардо прожил в Милане до момента освобождения города от французского присутствия. Художник перебирается в Рим, где в это время (1513 г.) папой становится Джованни Медичи, Лев X, сын Лоренцо Великолепного. Туда же потянулись со всех концов Италии многие художники и артисты в надежде получить интересные заказы. В это время Леонардо, наряду с живописными работами, увлекается исследованиями по анатомии и готовит целое учебное пособие, полезное не только для медиков, но и, как он думал, для художников.

В 1515 г. вновь начались осложнения на севере Италии в связи с приближением войск короля Франциска I. Папа едет на переговоры с ним в Болонью, где в свите военачальников над церковными силами оказывается и Леонардо. Знакомство с Франциском повело к тому, что художник получил приглашение переселиться во Францию и работать там для короля. Леонардо согласился и последние три года жизни вместе с любимым учеником Франческо Мельци провел в замке Клу близ Амбуаза. Здесь он написал несколько картин, занимался работами по орошению окрестностей Амбуаза, приводил в порядок свои записи. Здесь Леонардо да Винчи был похоронен. Благодарные потомки над его могилой возвели часовню, стоящую и поныне.

Томмазо Кампанелла (1568—1639) — итальянский мыслитель, поэт, политический деятель. Уроженец Юга Италии (Калабрия), в 15 лет он стал монахом доминиканского монастыря с именем Томмазо. Участвовал в заговоре против испанского владычества и в 1599 г. попал в застенки инквизиции (Неаполь), где провел свыше 27 лет, осужденный на пожизненное заключение. В 1626 г. по распоряжению очередного папы римского был выпущен из тюрьмы и переведен в Рим, в 1629 г. — оправдан. В 1634 г. бежал в Париж в связи с угрозой выдачи его испанским властям.

В заточении Кампанелла написал немало трактатов, в том числе поэтический диалог «Город Солнца». Он написал его на итальянском языке в 1604 г., в 1613 г. перевел на латынь и тайно передал на волю. Впервые диалог был опубликован в 1623 г. во Франкфурте, когда автор еще находился в заточении. В 1637 г. Кампанелла включил эту работу во второй том своих сочинений, которые вышли вскоре после его смерти.

Витторино да Фельтре (1378—1446) — известный педагог Италии раннего Возрождения. В 1423 г. был приглашен маркизом Гонзаго в Мантую и стал воспитателем его детей. В Мантуе Витторино создал школу для подростков и юношей — «Дом радости» и руководил ею на протяжении 22 лет. В «Доме радости» наряду с детьми маркиза обучались наследники других знатных фамилий, а также дети горожан Мантуи, а позднее дети и из других городов Италии, Греции, Франции, Германии. Выходцы из богатых семей обучались за плату, бедняки — бесплатно.

Витторино в своей школе заложил основы гуманистического образования: бережное отношение к личности ученика, гармоническое соединение умственного, нравственного и физического воспитания, неразрывную связь обучения и воспитания, воспитание религиозного благочестия, освоение античного на-

следования, энциклопедический характер образования, позволявший впоследствии избрать любую университетскую специализацию — право, медицину, теологию. Для обучения Витторино считал необходимым для детей иметь природные задатки, использовать упражнения, которые развивали эти задатки и науку. Все это должно было делать людей лучше и создавать у них качества, полезные на все случаи жизни.

ЛИТЕРАТУРА

Алтаев А. Впереди веков. Повесть о Леонардо да Винчи. — М., 1959.

Альберти Л.-Б. Десять книг о зодчестве в двух томах / Пер. В.П.Зубова. — М.: Изд. Всесоюзной академии архитектуры, 1935.

Альберти Леон-Баттиста: Сб. ст. / Отв. ред. В.Н.Лазарев. — М.: Наука, 1977.

Антология философии средних веков и эпохи Возрождения / Сост. С.В.Перевезенцев. — М.: Олма-Пресс, 2001. — (Сер. Мировая философия).

Богат Е.М. Мир Леонардо: Философский очерк: В 2-х кн. — М., 1989.

Гелб М.Дж. Как мыслить подобно Леонардо да Винчи: Упражнения, рабочая тетрадь / Пер. с англ. — Минск, 2000.

Дживелегов А. Леонардо да Винчи. — М.: Искусство, 1974. — (Сер. Жизнь в искусстве).

Зубов В.П. Леонардо да Винчи. — М.-Л.: Наука, 1962.

Лазарев В.Н. Леонардо да Винчи — художник. — М., 1952.

Идеи эстетического воспитания. Антология: В 2-х тт. / Сост. В.П.Шестаков; Общ. вступит. ст. Мих. Лившица. — М.: Искусство, 1973.

Искусство итальянского Ренессанса. Архитектура, скульптура, живопись, рисунок / Под ред. Рольфа Томана; Пер. с нем. — М., 2000.

Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: Сб. текстов. Часть 1 / Пер. Н.В.Ревякиной и др.; Вступ.ст. и ред. С.М.Стама. — Саратов: изд. Саратовского ун-та, 1984.

Кампанелла Т. Город Солнца. — М., 1954.

Корнетов Г.Б. История образования и педагогической мысли. Ч.1. // Труды кафедры педагогики, истории образования и педагогической антропологии УРАО. — Вып. 14. — М., 2002.

Леонардо да Винчи. Избранные произведения в двух томах / Ред. А.К.Дживелегов, А.М.Эфрос. — М.-Л.: Academia, 1935. — (Репринт издания — М.: Ладомир, 1995).

Леонардо да Винчи. Избранное / Пер. и коммент. А.А.Губера и др.; Сост. и ред. А.К.Дживелегов; Вступ. ст. Г.А.Недошивина. — М.: Гослитиздат, 1952.

Леонардо да Винчи. Сказки. Легенды. Притчи. — Л.: Детская литература, 1983.

Мастера искусства об искусстве. — Т. II. Эпоха Возрождения / Под ред. А.А. Губера, В.Н. Гращенкова. — М.: Искусство, 1966.

Образ человека в зеркале гуманизма: Мыслители эпохи Возрождения о воспитании и образовании / Сост., авторы вступ. статей и коммент. Н.В. Ревякина, О.Ф. Кудрявцев. — М.: Изд-во УРАО, 1999.

Ревякина Н.В. Гуманистическое воспитание в Италии XIV—XV вв. — Иваново, 1993.

Уоллэйс Р. Мир Леонардо. 1452—1519. — М.: «Терра» — «Terra», 1997.

СОДЕРЖАНИЕ

Леонардо да Винчи: гуманисты Возрождения о воспитании человека-творца. <i>И.А.Бирич и Н.Н.Фоминой</i>	5
Энео Сильвио Пикколомини (1405—1464)	23
О воспитании детей	23
Леон Баттиста Альберти (1414—1472)	32
О семье	32
О зодчестве (Книга шестая)	63
О живописи (Фрагменты)	74
Джованни Пико делла Мирандола (1463—1494)	78
Речь о достоинстве человека	78
Леонардо да Винчи (1452—1519)	
Избранные произведения	85
О своих талантах и своем уменьи	85
Том I. Наука	
О природе, жизни и смерти	88
О строении человека и животных	90
Том II. Искусство	
Спор живописца с поэтом, музыкантом и скульптором	92
О живописи в прошлом и о недостатках современных живописцев	109
Каким должен быть живописец	112
Обучение живописца	121
О живописи и перспективе	125
О том, как изображать лицо, фигуру и одежды	135
О композиции	149
Пейзажи	154
Сказки, басни и притчи	159
Томмазо Кампанелла (1568—1639)	173
Город Солнца, или Идеальная республика.	
Поэтический диалог	173
<i>Приложения</i>	
Воспоминания учеников и современников о Витторино да Фельтре	193
Фрагмент анонимной биографии Л.Б.Альберти	205
<i>Комментарии</i>	216
<i>Литература</i>	221

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

ЛЕОНАРДО

Составители и авторы предисловия
Инна Алексеевна Бирич, Наталия Николаевна Фомина

Первый читатель
Александр Александрович Мелик-Пашаев

Автор идеи комплекта и редактор тома
Инна Алексеевна Бирич

Редакционно-издательская подготовка,
оформление и макет
Издательского Дома Шалвы Амонашвили

Лицензия ИД № 02878 от 20.10.2001 г.
Подписано к печати 20.04.2005. Формат 60 × 90^{1/16}.
Усл. печ. л. 14. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Тираж 5000. Заказ № 5069.

Издательский Дом Шалвы Амонашвили
МГПУ, Лаборатория гуманной педагогики
113184, Россия, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 16
тел.: (095) 207-19-82

Отпечатано с готовых диапозитивов на ФГУП ордена «Знак Почета»
Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова.
214000, г. Смоленск, проспект им. Ю. Гагарина, 2

ISBN 5-89147-051-9



9 785891 470514

АНТОЛОГИЯ ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКИ

В «Антологии»

используется ранее
не применявшийся
в практике Российского
учебного книгоиздания
прием фокусирования
на страницах книги
не всегда совпадающих
позиций —

автора классического
наследия;

составителя тома, ученого,
излагающего свои взгляды
во вступительной статье
и комментариях,

и первого читателя.

учителя, сегодня смотрящего
в глаза своим ученикам,
призванного сегодня
реализовывать **идеи**
гуманной педагогики.

...Чтобы творить жизнь, нужна
сердечная теплота.

...Чтобы беречь красоту, не надо
пасть в грязь...

...Чтобы завоевать почет и
уважение, нужна не сила, а
великодушие...

...Чтобы заново родиться, нужно
лететь навстречу Солнцу...

Утверждает гениальный
Леонардо, гуманизм которого
пронизал всю человеческую
жизнь, науки, искусство, в том
числе и сложнейшее искусство
воспитания.



Шалва Амонашвили